

БАКУНИН



Валерий
Делин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ЖИЗНЬ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1209

(1009)

Валерий Деллин

БАКУНИН

1838-1896

Валерий Деллин
1838-1896

*Существует только один-единственный догмат,
один-единственный закон, одна-единственная
мораль — СВОБОДА.*

Михаил Бакунин

Я думаю, что Бакунин родился под кометой.

Александр Герцен

Зайдем огня у Бакунина!

Александр Блок

ТИТАН (вместо пролога)

Его громогласный рык слышали Россия и Германия, Чехия и Италия, Швейцария и Франция, Швеция и Нидерланды, Бельгия и Япония, даже Панама. Его львиная грива мелькала в Москве и Петербурге, Твери и Томске, Иркутске и Николаевске-на-Амуре, в Кяхте на границе Китая и в японской Йокогаме, в Берлине и Брюсселе, Флоренции и Неаполе, Сан-Франциско и Нью-Йорке, Лондоне и Ливерпуле, в Париже, Копенгагене, Женеве, Цюрихе, Берне, Болонье, других больших и малых городах. Его исполинский силуэт Ильи Муромца видели штабы восстания и баррикады в Праге и Дрездене, Лионе и Болонье, его могучее тело едва вмещали одиночные камеры Алексеевского рavelина и Шлиссельбургской крепости. Перед его железной логикой и утонченной диалектикой склоняли головы профессиональные политики и выдающиеся философы. Его вдохновенная убежденность, страстные воззвания и речи, которые он произносил на восьми языках, магически действовали на людей, превращая их в бойцов, готовых идти на смерть ради идеалов революции. Ему рукоплескали рабочие и повстанцы, ремесленники и студенты, музыканты и рыбаки.

На разных этапах богатой потрясениями жизни его любили Белинский и Тургенев, Герцен и Огарев, Рихард Вагнер, Виктор Гюго, Джузеппе Гарибальди, Джузеппе Мадзини, властительница женских дум Жорж Санд и знаменитый географ Элизе Реклю (хотя не во всех случаях эта любовь выдержала испытание временем). Его считали своим славянофилом и западником. Константин Аксаков посвятил ему балладу, Тургенев писал с него Рудина, Вагнер — Зигфрида,

Достоевский — Ставрогина (так во всяком случае полагают многие литературоведы). Александр Блок в статье, посвященной 30-летию со дня смерти «отца анархии», назвал Бакунина «одним из замечательнейших распутий русской жизни» и еще сказал: «О Бакунине можно писать сказку»; «...сидела в нем какая-то пьяная бесшабашность русских кабаков. Мощная фигура Бакунина попросту не вписывалась в строгие рамки чопорной Европы».

Блоку вторил Николай Бердяев: своего знаменитого соотечественника, ставшего «гражданином мира», «русского барина, объявившего бунт», он считал ярчайшим представителем славяно-русского мессианизма, сравнивал Бакунина с античным богом Дионисом, а русский анархизм в целом с дионисийским оргиастическим культом (более того, назвал анархию «революционным дионисийством»). Наконец политический антипод антигосударственника Бакунина (хотя бы потому, что стал первым президентом первого независимого Чехословацкого государства) — Томаш Масарик в своем трехтомном труде «Россия и Европа» назвал русского бунтаря и анархического идеолога мировой революции гением. Когда же в 1895 году появилась горьковская «Песня о Соколе», кто-то из проницательных критиков сразу и верно подметил, что первым, к кому следует отнести знаменитый рефрен «Безумству храбрых поем мы песню», должен быть Бакунин. Позже Максимилиан Волошин скажет о «конгениальном родстве» Бакунина с протопопом Аввакумом и назовет «провозвестника мирового пожара» символом революционной России: «<...> Бакунин / Наш истый лик отобразил вполне. / В анархии все творчество России: Европа шла культурою огня, / А мы в себе несем культуру взрыва».

Он стал предтечей «философии бунта», расцвет которой пришелся на XX столетие и которая выразилась в отчаянных акциях протеста студентов против государственных устоев на улицах Парижа и других городов, а также в террористических акциях «красных бригад» против «лакеев и прихвостней буржуазии» по всей Европе. Идейное и философское кредо Михаила Бакунина было доведено до логического конца французским экзистенциалистом Альбером Камю, в соответствующем духе перефразировавшим известный афоризм Декарта: «Бунтую — следовательно существую». Сегодня идеи Бакунина питают «антиглобалистов».

С Бакуниным не смогли совладать вожди Первого интернационала — Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Его боялись русские цари Николай I и Александр II, австрийский император Франц Иосиф, короли Пруссии и Саксонии, палач

Парижской коммуны Адольф Тьер, ставший президентом Франции, другие правители тогдашней Европы. Судьба человека титанического склада всегда трагична. Человек-титан не похож на обычных людей — он выше их, по крайней мере, на две головы и опережает всех, двигаясь вопреки всему только вперед семимильными шагами. Основная масса обывателей считает таких подвижников в лучшем случае людьми «не от мира сего», как правило же — одержимыми и ненормальными.

При жизни Бакунина называли «отцом анархии», хотя корни анархизма как такового уходят в глубокую древность (в числе первых «анархистов» называют китайских даосов, в частности Лао-цзы, древнегреческих философов Сократа, Диогена и других античных киников), а крупные теоретики анархизма были известны и до Бакунина (например, англичанин Годвин, француз Прудон и немец Штирнер). Однако еще чаще его именовали «апостолом свободы». В историю же человечества он вошел как великий *Революционер* (один из немногих, чье звание действительно с большой буквы). В XX веке он мог бы вполне стать всеевропейским Панчо Вильей или русским Че Геварой.

Многочисленные недруги и оппоненты Бакунина в своей запелляционной критике акцентировали обычно внимание на его антигосударственной позиции (уводя тем самым обсуждение проблемы в иную плоскость или, как говорят логики, совершая подмену тезиса). В действительности ключевым понятием философии Бакунина было единственно священное для него слово «СВОБОДА» (а уже отсюда вытекало все остальное). Безусловно, многие из его идей оказались утопичными, почти ни одну из них не удалось довести до положительного результата. Тем не менее Бакунин стал звездой первой величины в истории мирового революционно-освободительного движения и несостоявшегося объединения славянства. Без его идей история мировой мысли и философии была бы менее интересной. Без его мощной, колоритной фигуры картина европейской жизни XIX века выглядела бы намного бледнее. Он привнес в нее то, что не мог привнести никто другой, — славянскую отзывчивость и широту русской души...

Глава 1
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

Предки Бакуниных были родом из Венгрии, точнее из Трансильвании (ныне части Румынии со значительной долей венгерского населения). В XVI веке прибыли ко двору великого князя московского Василия III — отца Иоанна Грозного — три брата из древнего венгерского рода Баториев (из коих в европейской истории наиболее знаменит Стефан Баторий, избранный польским королем и безуспешно осаждавший во времена Ливонской войны Псков). Звали их Зенислав, Батугерд и Анципитр. Поступив на русскую службу, Батории приняли православие. От старшего — Зенислава — пошли Бакунины, а от Батугерда (в православном крещении Дмитрия) пошли Батурины. О судьбе Анципитра ничего не известно. На дворянском гербе Бакуниных изображены эти два храбрых венгерца, стоящие у щита, на котором — дуб и серебряные волчьи зубы. К началу XIX века старинный бакунинский род был уже достаточно разветвленным. К нему, например, принадлежал один из лицейских товарищей Пушкина — Александр Бакунин, а его старшая сестра Екатерина стала первой любовью и музой будущего великого русского поэта.

Что касается нашего героя, Михаила Бакунина, он провел детство и юность в родовом дворянском гнезде — усадьбе Прямухино*, расположенной на древней Тверской земле, в тридцати верстах от достославного города Торжка. Имение раскинулось на берегу живописной речки Осуги, притока Тверцы, в свою очередь, впадающей в Волгу. В 1779 году Прямухино приобрел дед будущего пламенного революционера — екатерининский вельможа Михаил Васильевич Баку-

* Современное написание — Прямухино — утвердилось сравнительно недавно. Ранее название имения и села писалось через «е» — Премухино. Такое написание фигурирует во всех письмах и документах М. А. Бакунина.

нин (1730—1803), в честь которого впоследствии и был назван внук Мишель, как его всегда именовали родные и друзья. (В Прямухине до сих пор сохранилась искусственная «дедушкина горка», сложенная по приказу первого хозяина из разновеликих валунов.)

Отец Мишеля, Александр Михайлович Бакунин (1765/68—1854), переселился сюда на постоянное жительство в начале 90-х годов XVIII века. Русская аристократия эпохи Просвещения любила не только блеск Санкт-Петербурга, Москвы и европейских столиц, но и уединение в тиши родовых имений, среди необозримых русских просторов. За плечами Александра Михайловича к тому времени уже была насыщенная событиями жизнь. Еще совсем молодым, фактически отроком, Александр Бакунин отправился в Италию — по протекции влиятельного родича, служившего в Коллегии иностранных дел, он получил должность в российском посольстве в Турине. Должность у юного дипломата была необременительная: сейчас бы сказали — секретарь канцелярии, тогда говорили — актуариус (то есть человек, ведавший актами). По Табели о рангах это был самый низший чин — XIV класса. Относительная свобода позволила Бакунину поступить в Падуанский университет. Он окончил его блестяще в 1789 году, ознаменовавшемся началом Великой французской революции, более того, защитил на философском факультете диссертацию по гельминтологии — науке о глистах, стал доктором философии (такие вот перипетии научной карьеры!) и даже был избран членом-корреспондентом Туринской академии наук.

В годы учебы и службы Александр побывал и в других европейских странах. По семейным преданиям, в столице Франции он оказался как раз в день взятия Бастилии. Увиденное потрясло юношу, и с тех пор любые революционные идеи вызывали у него полное неприятие. «Не лучше ли, при свете зарева от пожара всей Европы найти в самой России прочные материалы будущего ее благосостояния», — писал впоследствии Александр Михайлович.

Весной 1790 года полный надежд и планов молодой человек вернулся в Россию и уже в следующем году вышел в отставку. Но прежде чем уединиться в родовом имении, Александр Бакунин некоторое время жил в Петербурге и был членом литературного кружка своего друга и родственника Николая Александровича Львова (1753—1803): они познакомились еще в Италии.

Членами и гостями этого высокоинтеллектуального сообщества в разное время являлись поэты Г. Р. Державин,

И. И. Дмитриев, И. И. Хемницер, В. В. Капнист, А. С. Хвостов, будущий историк Н. М. Карамзин, художники Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский (написавшие портреты многих членов кружка или их близких), а также А. Н. Оленин, М. Н. Муравьев (отец будущего декабриста Никиты Муравьева) и другие. Глава кружка Н. А. Львов, получивший от современников эпитеты «гений вкуса» и «любимое дитя всех художеств», был подлинным сыном эпохи Просвещения — ученым-энциклопедистом, поэтом, фольклористом, музыкантом, композитором, создавшим несколько опер, выдающимся архитектором, автором 87 проектов классицистских шедевров в Санкт-Петербурге и других городах России и одним из основоположников русского садово-паркового искусства. По заданию императрицы Львов обследовал на Кавказе источники минеральных вод, открыл месторождение каменного угля на Валдае, изобрел новый строительный материал для кровель (так называемый «каменный картон» типа современного рубероида), разработал простой и экономичный способ возведения глинобитных домов, сконструировал бумагоделательную машину, занимался проблемами отопления и вентиляции (написал на эту тему трактат «Пиростатика воздушных печей»). Он сделал несколько открытий — среди них знаменитый Тмутараканский камень и летопись, включавшая единственную сохранившуюся рукопись «Хождения за три моря» Афанасия Никитина (впоследствии летопись получила название Львовская). Один из первых сборников русских народных песен был составлен и опубликован тоже им.

Дружба А. М. Бакунина и Н. А. Львова продолжалась до самой смерти последнего. Родственниками они были дальними. Львов женился на двоюродной сестре Александра Михайловича, с коей обвенчался тайно — ее родителям претендент на руку дочери казался недостаточно родовитым. У обер-прокурора Сената А. А. Дьякова было три дочери — Мария, Александра и Дарья. Первая вышла замуж за Н. А. Львова, вторая стала женой В. В. Капниста, третья — второй женой Г. Р. Державина. Имена Бакуниных и Львовых соседствовали в Новоторжском уезде Тверской губернии. Представители обеих семей часто наезжали друг к другу в гости. В 1820-е годы, уже после смерти Николая Александровича, в Прямухине по его проекту была воздвигнута двухъярусная Троицкая церковь — великолепный образец классицистской архитектуры, который и сегодня поражает своим изяществом.

Жизнь Александра Михайловича Бакунина в Прямухине достойна отдельной книги. Сам же владелец имения оставил

потомкам летопись бакунинской семьи, облаченную в стихотворную форму. Это поэма «Осуга». Она не предназначалась для публикации, но однажды Александр Михайлович все-таки согласился ее издать. И уговорил его не кто иной, как Белинский во время одного из посещений Прямухина. Однако вскоре редактируемый «неистовым Виссарионом» журнал «Московский наблюдатель» был закрыт цензурой и публикация поэмы «Осуга» «задержалась» почти на полтора века*. За много лет бакунинская поэтическая реликвия была зачитана, что называется, до дыр, и ее пришлось переписывать заново. Поэма — довольно большая, изобилует многочисленными «лирическими отступлениями», но и сейчас читается с интересом:

Красуйся, тихая Осуга,
Душа прямухинских полей
И верная моя подруга,
Кормилица моих детей. <...>

За несколько лет А. М. Бакунин превратил свое имение в образцовое хозяйство. Здесь постоянно что-то строилось, благоустраивалось — разбивались сады, цветники и оранжереи, появлялись разного рода ландшафтные диковинки — гроты, каскады, водоемы, мостики. В Прямухине работали винный завод, лесопильная мельница, позже вошла в строй ткацкая фабрика и было налажено бумагоделательное производство. Крестьян, коих насчитывалось около тысячи мужского полу (женщины и дети в расчет не брались), держали в строгости, для них даже была написана особая «конституция», но народ не понял и не принял нововведений. Просвещенный хозяин продолжал заниматься наукой, сочинял стихи, переписывался с великомудрыми друзьями, общался с соседями. Авторитет А. М. Бакунина был так высок, что в 1806 году его избрали предводителем дворянства Тверской губернии.

Плоды своих раздумий А. М. Бакунин изложил в ряде трактатов и эссе. Среди них — «О народном характере», «О садах», «О климате», «Опыт мифологии русской» и др. Дошедшие до нас рукописи пестрят именами Вольтера, Фенелона, Монтескье, Руссо, Гельвеция, Кондильяка, Бентама и других деятелей эпохи Просвещения. Кредо их тверского последователя: «Не просвещение от наук бывает, а успехи наук от просвещения». Много работ, еще ждущих своего

* Поэма была опубликована в 1994 году в журнале «Наше наследие» (№ 29—30); затем вошла в Собрание стихотворений А. М. Бакунина (Тверь, 2001).

опубликования, посвящены русской истории. Среди них — скрупулезный разбор Несторовой летописи. Позиция Александра Михайловича по поводу происхождения государства Российского коренным образом отличалась от взглядов его приятеля по львовскому кружку Николая Михайловича Карамзина (1766—1826), быстро превратившихся в официозную точку зрения русского самодержавия.

В отличие от Карамзина, утверждавшего, что русская история началась с призвания варяжских князей (их к тому же знаменитый историк называл скандинавами), Бакунин считал варягов славяно-русским племенем. В написанной им на склоне лет (в 1832 году) поэме «О, слепота, — порок большой» (к тому времени автор полностью ослеп) есть такие строки: «Прочти внимательней бумаги, / И ясно ты увидишь сам, / Что в совокупности *варяги* / Отдельный *русь* была народ...» О Рюрике же говорится, что он «был природный русс», читвший «руссов древние уставы». Довелось Бакунину отстаивать свое мнение и в прямой дискуссии с Карамзиным. Во время одного из приездов в Тверь дворянский предводитель вступил в полемику со знаменитым историографом по поводу происхождения слова «русь» в присутствии великой княгини Екатерины Павловны, любимой сестры Александра I, чей двор тогда находился в этом городе, в царском путевом дворце. Согласно дневниковым записям А. М. Бакунина, Карамзин упрямо и необидительно доказывал скандинавское происхождение древнерусской народности, а относительно «руси» заявлял, что это шведы. Великая княгиня по достоинству оценила эрудицию Александра Михайловича и в качестве поощрения позволила ему пользоваться своей обширной библиотекой, где ему по присланным запискам незамедлительно выдавали нужные книги.

Свои взгляды на древнюю историю Руси Александр Михайлович изложил в небольшом трактате, отправленном из Прямухина в Петербург своему другу, родственнику и единомышленнику А. Н. Оленину и лишь недавно извлеченном из архива и опубликованном. По мнению А. М. Бакунина, история России начинается с незапамятных времен: Геродотовы скифы — это, по существу, прапредки русского народа, издревле имевшего высокую культуру и письменность, а призвание князей в давным-давно процветавший Великий Новгород произошло спустя тысячелетия после других, не менее значительных событий. Удивительно по-современному звучат некоторые мысли, доверенные бумаге еще в начале XIX века:

«Древние предания о скифах-гиперборейцах свидетельств-

вуют нам о просвещении славян. Оно созидало их благополучие, а не развращало нравов. Письмена необходимы были их торговле, и славяне заимствовали их у финикиан, буде не в наследие получили от славян гиперборейских. Утрата древних рукописей не есть доказательство их невежества. Греки, всех опричь себя варварами нарицающие, присвоили славян, называя их греко-скифами, но славяне еще до греков имели богов, героев и мудрецов своих».

В упомянутой же выше незавершенной поэме развернуты панорамные сцены с участием языческих богов Перуна и Велеса (Волоса), а также угро-финского верховного божества Юмила. Вот, к примеру, описание шествия Перуна:

Перун на вороном коне
И бело-бархатной попоне,
Из туч в истканном балахоне,
С огромным тулом на спине
И страшным пуком стрел громовых,
Разить и жечь всегда готовых.
Стопудовая булава
Была хлыстом, и голова
С пивной котел, и шлем пернатый —
Как пламенем овин объятый... <...>

Свои исторические антикарамзинские взгляды Александр Михайлович, естественно, излагал своим детям, стараясь расширить их кругозор. Впоследствии его знаменитый старший сын вспоминал об отце:

«Это был человек большого ума, очень образованный, даже ученый, очень либеральный и большой филантроп. Он был деистом, не был атеистом, но был свободомыслящим и находился в сношении со всеми знаменитостями тогдашней европейской науки и философии. Таким образом, он представлял полный контраст настроению, господствующему в тогдашней России. <...> Отец очень много путешествовал и много рассказывал нам о своих путешествиях. Одним из самых любимых наших чтений было описание путешествий, и эти книги мы всегда читали вместе с ним. Мой отец был очень образованным натуралистом. Он обожал природу и внушил нам эту любовь, эту пламенную любознательность относительно всех явлений природы, не дав нам, однако, ни малейшего научного понятия о них. Путешествовать, видеть новые страны стало заветной мечтой всех нас — детей. Эта мечта — постоянная, упорная — развила мою фантазию. В минуты досуга я измышлял всевозможные истории, в которых я всегда воображал себя убегающим из отцовского дома за тридевять земель в поисках приключений. Вместе с тем я

очень любил своих братьев и сестер, сестер в особенности, и благоговел перед отцом как перед святыней».

И все же был один важный вопрос, по которому позиции отца и сына оказались непримиримыми. Александр Михайлович был твердокаменным государственным человеком, приверженцем абсолютной монархии и помещиком-крепостником, уверенным, что сильная и процветающая Россия может существовать на основе крепостного права и полной (рабской по сути) зависимости крестьян от «благодетельных» хозяев-феодалов. Он полагал: трехдневная барщина, чередуемая с тремя днями работы на себя, — это и есть подлинная социальная гармония между крестьянским и дворянским сословиями. Мысль эту Александр Михайлович даже попытался выразить в простодушных стихах:

Разделом дней наполовину
Полусвободный селянин,
Три дня давая господину,
Другие три — свой господин.

На сей незыблемой основе
Покоится святая Русь.
И в ненавистном рабстве слове
Взаимный кроется союз. <...>

Другие свои идеи на сей счет он обстоятельно излагал на бумаге: «В странах теплых, богато и густо населенных, обильных множеством образованных и праздных людей, ограниченные монархии еще могут существовать без особого неудобства; но при наших просторах, суровом климате и ввиду неустанной европейской вражды мы не можем переносить атрибуты верховной власти в руки другого сословия, не только не подготовленного к политической жизни, но и, по своему младенчеству, и не научившегося еще уважению к законам, если только закон не подкреплён механической силой. Поэтому самодержавие представляется у нас не столько необходимым или нужным для интересов династических, сколько потребностью для народа и безопасностью государственной. <...>

Для всякого честного и просвещенного человека существует один путь — посильное поддержание власти и существующих законов. Как бы ни была плоха по временам эта власть, *но до последней капли крови следует за нее стоять и умирать. Не путем анархии (!), насилия и заговоров против правительства* мы можем достигнуть благоденствия, но распространяя в народе любовь к труду, трезвости, порядку, чистоплотности и честности, ознакомляя его с ремеслами и искусствами и раз-

вивая просвещение, мы получим возможность исторгнуть его из нищеты и с тем вместе создать дорогие учреждения, существующие на Западе вследствие громадного перевеса общественного богатства (выделено мной. — В. Д.)».

Пройдет не так уж много времени, и его знаменитый на весь мир сын использует эти рассуждения отца: они послужат потрясателю государственных основ исходными точками для формулировок, сделанных как бы «от противного», и построения собственной анархической теории, отбрасывающей не только любые формы монархии, но и государства вообще...

* * *

Однако продолжим повествование о жизни Александра Михайловича Бакунина. Уже давно пора было ему устроить свою семейную жизнь. Ведь сорок лет исполнилось, а он все холостяковал. Не то чтобы женщин избегал, — просто никак не мог найти ту единственную, которой безбоязненно предложил бы руку и сердце. Наконец приглядел неподалеку, в соседском имении Баховкино, очаровательную, восемнадцатилетнюю веселую Вареньку Муравьеву! Несмотря на юный возраст, она уже успела прослыть светской львицей, вскружив голову не одному воздыхателю. Но Варенька оказалась девушкой сколь очаровательной, столь и неприступной. Сорокапятилетний претендент на ее руку и сердце не произвел на девушку впечатления, вокруг было много достойных женихов и помоложе.

Участившиеся визиты Бакунина в соседское имение теплоты в их отношениях не прибавили. И кончилось все тем, что Александр Михайлович, несмотря на свою рассудительность и положение, впал в меланхолию и отчаяние, как бы сегодня сказали, — в депрессию. Да в такую тяжелую, что принял роковое решение — застрелиться. Трудно сказать, решился бы он нажать на спусковой крючок, разделив тем самым вместе со многими другими жертвами безответной любви участь гётевского юного Вертера, если бы не поделился своим несчастьем с родной сестрой Татьяной, в замужестве Полторацкой.

Варенька Муравьева рано лишилась отца, благодаря которому она стала родственницей всех будущих декабристов Муравьевых. Овдовев, ее мать — тоже Варвара, но Михайловна — вскоре вторично вышла замуж за соседа Бакунина Павла Марковича Полторацкого. Татьяна Бакунина, став женой его брата — Александра Марковича, таким образом

породнилась со всем семейством Полторацких и пользовалась особым расположением Вареньки Муравьевой. Она-то и рассказала ничего не подозревавшей девушке о безвыходном положении родного брата и принятом им роковом решении. После нескольких доверительных бесед на правах почти что тетушки Татьяна уговорила Вареньку согласиться на брак с Александром Михайловичем.

Венчание состоялось 16 октября 1810 года в прямухинской домово́й церкви. Дальнейшая совместная сорокачетырехлетняя семейная жизнь Александра Михайловича и Варвары Александровны Бакуниных могла бы послужить сюжетом для классического романа со счастливым концом. У них родилось одиннадцать детей — пятеро сыновей и шестеро дочерей. Правда, одного ребенка они потеряли — в двухлетнем возрасте умерла младшая дочь Софья. После рождения каждого ребенка счастливый отец сажал в парке липу, так что спустя тринадцать лет после венчания Александра Михайловича и Варвары Александровны появилась новая аллея. И у каждого дерева было свое имя, данное в честь детей: Любовь (1811), Варвара (1812), Михаил (1814), Татьяна (1815), Александра (1816), Николай (1818), Илья (1819), Павел (1820), Александр (1821), Алексей (1823), Софья (1824)*.

Лишь однажды размеренное дворянское житье-бытье и безмятежная сельская идиллия были прерваны — вторжением Наполеона в Россию в 1812 году. После падения Смоленска открылась прямая дорога не только на Москву, но и на Петербург — через Ржев и Вышний Волочёк. Бакунинские земли оказались на их пути. В Твери, как и в других российских городах, формировалось ополчение — по одному человеку мужского полу от двадцати пяти крепостных душ. Александр Михайлович на свои деньги купил пороха, свинца, раздал крестьянам и дворовым тридцать ружей, шестьдесят сабель и несколько сот пик. Дворяне с домочадцами и скарбом собрались в Торжке, запрудив город возами и каретами, готовые при первой команде эвакуироваться в Великий Новгород и далее — в Петербург. Но французы двинулись на Москву. Остальное известно...

Существовала, правда, красивая семейная легенда, не подтвержденная документально, что Кутузов, являвшийся дальним родственником Бакуниных, останавливался ненадолго в Прямухине, когда ехал из Петербурга в действую-

* Эта аллея существует и по сей день. Правда, в XX веке засохло, а затем и совсем рухнуло дерево, посаженное в честь Михаила...

щую армию. Впоследствии два возвышения на Красивом холме в прямухинском парке были названы «кутузовскими горками», а на их вершинах водружены памятные камни. Рассказывали, что вплоть до изгнания Наполеона из России хозяин имения каждый день посылал на «кутузовские горки», с коих видно было далеко окрест, мужиков следить за дорогой: не покажется вдали коляска в сопровождении отряда верховых и не заглянет ли еще раз в Прямухино Михаил Илларионович — победитель ненавистного супостата...

После войны у Александра Михайловича и Варвары Александровны Бакуниных родился первый сын, названный Михаилом. В семейных заметках отца записано: «Года тысяча восемьсот четырнадцатого, мая осьмнадцатого, в Духов день, в пять часов с половиною родился наш Миша». Рожденные в Духов день считались отмеченными особой печатью судьбы. Для Михаила Бакунина это поверье сбылось в полной мере.

О детских годах Михаила сведений сохранилось очень мало. Его жизнь как бы растворилась в жизни всей семьи, которая протекала по раз и навсегда заведенному распорядку, где авторитет родителей считался непререкаемым, а установленные ими правила поведения не подлежали обсуждению.

Говоря словами Александра Блока, в Прямухине, как и в тысяче других дворянских гнезд, «звучала музыка старых русских семей». «<...> Я наслаждался бессознательно чудною прямухинскою жизнью, — рассказывал юный Мишель, — наслаждался бессознательной любовью окружающих меня; я не понимал смысла разлуки. <...> Мне становилось холодно, видя себя окруженным людьми мне совершенно чуждыми, когда я не находил возле себя ни одного из тех родных и милых образов людей, которых я любил, сам не зная, что я их любил. Прямухино сделалось для меня с тех пор Меккою, к которой стремились все мои желания, все мои движения, все мои помышления. <...>». Он будет вспоминать «прямухинский рай» и в пору своего безоблачного и безмятежного детства, и в мятежной юности, и в беспокойной зрелости, и в рано подкравшейся старости.

Для воплощения главного принципа эпохи Просвещения — «ближе к природе» — прямухинское раздолье представляло почти что идеальные условия. Вырастившие десятых детей Александр Михайлович и Варвара Александровна выработали простой, но действенный воспитательный кодекс. В изложении главы семейства он выглядел следующим образом:

«1. Приобретать ласковым, дружеским и снисходительным обращением искренность и любовь детей своих.

2. Не оскорблять их несогласием не только с моими прихотями, но и со мнениями, и когда нужно вывести их из заблуждения, убеждать их в истине советами, примерами, рассудком, а не отеческою властью.

3. Отнюдь не требовать, чтобы они меня исключительно любили, но радоваться новым связям их, лишь бы непорочны были, как залогом будущего их и, по смерти моей, благополучия.

4. Стремиться, чтобы они праздными никогда не были и жили по возможности нашей весело и приятно.

5. Как скоро достигнут совершенного возраста, сделать их соучастниками нашего имущества...

6. Не требовать, чтобы дети мои волею или неволею богомольничали, а внушать им, что религия единственное основание всех добродетелей и всего нашего благополучия...»

Дети прекрасно осознавали ведущую (и можно сказать — выдающуюся) роль отца в собственном воспитании. Позже в одном из писем к родителю Михаил писал: «Вы были для нас всех чем-то великим, выходящим из ряда обыкновенных людей. Вы редко бранили и, кажется, ни разу не наказывали нас... Я помню, с какой любовью, с какой снисходительностью и с каким горячим вниманием вы слушали нашу детскую болтовню... Я никогда не забуду этих вечерних прогулок... где вы рассказывали какой-нибудь исторический анекдот или сказку, где вы заставляли нас отыскивать редкое у нас растение... Помню еще один лунный вечер: небо было чисто и усеяно звездами, мы шли в Мытницкую рощу, и вы рассказывали нам историю солнца, месяца, туч, грома, молнии и т. д. Наконец, я помню зимние вечера, в которые мы всегда читали “Robinson Crusoe” [роман Д. Дефо «Робинзон Крузо»], и это было для нас таким великим, таким неограниченным наслаждением. <...>».

А своим братьям и сестрам Мишель писал об отце следующее: «<...> В детстве нашем он был нашим благодетелем, он воспитал в нас любовь к природе и чувство прекрасного, он положил основание той дружбе, которая нас всех связывает; без него мать погубила бы и развратила бы нас. Он был нашим ангелом-хранителем в нашем детстве».

Отношения с матерью у всех (и у Михаила в особенности) было более сложным. Занимаясь в первую очередь очередным родившимся младенцем, она как бы забывала о старших детях, но вместе с тем была с ними властной и даже деспотичной. На фоне мягкого и деликатного отца такое

отношение матери приводило в отчаяние дочерей и сыновей, а у Михаила вызывало возмущение и протест. Постепенно это привело к чуть ли не полному отчуждению между матерью и старшим сыном. Варвара Александровна безосновательно считала, что Мишель лишил ее любви и доверия дочерей. Действительно, Любенька (именно так звали ее все окружающие), Варя, Таня и Саша предпочитали делиться своими секретами со старшим братом, но не с матерью, однако виновата в этом, скорее всего, была она сама.

Судя по более поздней переписке и туманным намекам Михаила, можно предположить, что в пору его отрочества или юности в семье случилось какое-то из ряда вон выходящее событие, связанное именно с матерью, и которое ей старший сын очень долго не мог простить. Но что это было за событие — неизвестно. (Нормальные отношения между матерью и сыном установились лишь незадолго до ее смерти, когда она несколько раз навестила Мишеля, находившегося в пожизненном заключении в Петропавловской крепости, и добилась аудиенции у царя, чтобы вручить прошение о смягчении участи сына.) Тем не менее уже при жизни Бакунина сопровождала легенда о том, что якобы любовь к свободе и ненависть к притеснениям зародились у него в раннем детстве как естественная реакция на деспотизм матери. Подобное убеждение существовало в среде русской революционной молодежи и после смерти Бакунина (о чем можно прочесть в опубликованных мемуарах).

Детей в Прямухине обучали как порознь, так и всех вместе. Отец преподавал натуральную историю (естественные науки, по современной терминологии), включая физику, зоологию, ботанику, а также географию, космографию и конечно же мировую и отечественную историю. Мать помогала гувернанткам там, где считала себя в наибольшей степени сведущей, — в иностранных языках, рисовании, музыке, сольном и хоровом пении. В доме общались на пяти языках — русском, немецком, французском, английском и итальянском. Отличная домашняя библиотека, собранная Александром Михайловичем, постоянно пополнялась новинками отечественной и зарубежной литературы, свежими столичными газетами и журналами. Семья любила собираться в гостиной для музицирования, пения и чтения вслух. Среди любимых авторов были Ломоносов, Жуковский, Крылов, Грибоедов, Пушкин, Гоголь. В поэме «Осуга» бессмертная гоголевская комедия «Ревизор» названа «осьмым чудом света». Здесь же воссоздаются эмоциональная атмосфера, царившая в доме, и торжественное настроение автора стихов:

Когда вечернею порою
Сберется вместе вся семья,
Пчелиному подобна рою,
То я счастливее царя.
<...>

Кто с книгою, кто с рукодельем,
Беседуя в кругу стола,
Мешаючи дела с бездельем —
Чтоб не сойти от дел с ума.

В беседе, где, нахмутив брови,
Молчат, закупорив уста,
Поверьте мне, что нет любви
И, верно, совесть нечиста.

Можно представить также регулярные (в духе Руссо и Песталоцци) познавательные прогулки по парку и лесу, когда Александр Михайлович — натуралист до мозга костей — прививал детям любовь к русской природе, учил их различать птичьи голоса, разбираться в травах и цветах. Особое удовольствие доставляли весенняя посадка плодовых деревьев и кустарников, осенний сбор урожая. Девочки помогали матери разбивать цветники и, как было принято в те времена, прилежно составляли гербарий. Мальчики учились ориентироваться по компасу и определять по солнцу стороны света. И на солнечных лужайках, и в гостиной нередко звучали народные песни, любовь к которым Александру Михайловичу Бакунину привил любезный друг Николай Александрович Львов — один из первых собирателей и систематизаторов песенного фольклора.

Спустя много лет Михаил Бакунин в письме к сестре Варваре вспоминал об этом замечательном времени: «Помнишь, как мы вставали рано по утрам перед заутреней и гуляли по нашему милому прямухинскому саду и любовались паутинами, расстилавшимися по листьям и между деревьями, и ходили на мельницу смотреть, как мельник вынимал рыбу; помнишь, как по вечерам при лунном сиянии мы прохаживались гуртом подле сараев и пели. <...> Помнишь, как по зимним вечерам с папенькою мы читали *Robinson Susse* [роман Й.-Д. Висса «Швейцарский Робинзон»], и ты была влюблена в Фрица, — помнишь, как ты редела, задавив своего ручного воробья, и как мы его торжественно хоронили. <...> Не знаю, помнишь ли ты все это, но я ничего не позабыл, и когда я вспоминаю время нашего детства, мне становится свежо на душе».

Популярный романист того времени, не забытый и поныне Иван Иванович Лажечников (1790—1869), запечатлел жизнь семьи Бакуниных в Прямухине в своих заметках. Во

время Отечественной войны Лажечников дошел до Парижа и написал блестящие мемуары. После войны вышел в отставку и со временем обосновался в Твери, где занимал должность директора гимназии. Здесь же расцвело и его литературное дарование. Лажечников дружил с Александром Михайловичем, неоднократно приезжал погостить в его имение, а в тверской гимназии учились четверо сыновей Бакунина (все, кроме Мишеля, получившего исключительно домашнее воспитание). К тому времени Бакунины обзавелись домом и в Твери, его, впрочем, они не слишком жаловали. О Прямухине и его обитателях Лажечников писал:

«В одном из уездов Тверской губернии есть уголок, на котором природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсив его всеми лучшими дарами своими, какие могла только собрать в стране семимесячных снегов. Кажется, на этой живописной местности река течет игривее, цветы и деревья растут роскошнее, и более тепла, чем в других соседних местностях.

Да и семейство, живущее в этом уголке, как-то особенно награждено душевными дарами. Как тепло в нем сердцу, как ум и талант в нем разыгрывались, как было в нем привольно всему доброму и благородному! Художник, музыкант, писатель, учитель, студент или просто добрый и честный человек были в нем обласканы ровно, несмотря на состояние и рождение. Казалось мне, бедности-то и отдавали в нем первое место. Посетители его, всегда многочисленные, считали себя в нем не гостями, а принадлежащими к семейству.

Душою дома был глава его, патриарх округа. Как хорош был этот величавый, с лишком семидесятилетний старец, с не покидающей его улыбкой, с белыми падающими на плечи волосами, с голубыми глазами, невидящими, как у Гомера, но с душою глубоко зрячего, среди молодых людей, в кругу которых он особенно любил находиться и которых не тревожил своим присутствием. Ни одна свободная речь не останавливалась от его прихода. В нем забывали года, свкнувшись только с его добротой и умом. Он учился в одном из знаменитых в свое время итальянских университетов, служил недолго, не гонялся за почестями, доступными ему по рождению и связям его, дослужился до неважного чина и с молодых лет поселился в деревне, под сень посаженных его собственною рукою кедров.

Только два раза вырывали его из сельского убежища обязанности губернского предводителя дворянства и почетного попечителя гимназии. Он любил все прекрасное, природу, особенно цветы, литературу, музыку и лепет младенца в ко-

лыбели, и пожатие нежной руки женщины, и красноречивую тишину могилы. Что любил он, то любила его жена и приятная женщина, любили дети, сыновья и дочери. Никогда семейство не жило гармоничнее. Откуда, с каких концов России ни стекались к нему посетители!»*

* * *

Всеобщий любимец Мишель рано проявил незаурядные интеллектуальные способности, глубоко разбирался в искусстве, особенно в музыке, прекрасно играл на скрипке и почти что профессионально рисовал (сохранилось два его замечательных автопортрета, выполненных в юношеском возрасте**). В нем так же рано проявились задатки лидера, и со временем его авторитет среди братьев и сестер стал почти непререкаем.

* После смерти А. М. Бакунина усадьба Прямухино еще долго процветала. Однако после революционных событий 1917 года произошла подлинная трагедия. Во время Гражданской войны усадьба Бакуниных была разграблена. Кровлю растащили окрестные жители для собственных хозяйственных нужд. Дом стал быстро разрушаться и вскоре пришел в негодность. Его центральная деревянная часть и один из флигелей тогда же сгорели. На сохранившемся фундаменте построили школу, которая впоследствии тоже сгорела. В итоге к концу 70-х годов XX века от жемчужины русской усадебной культуры остались одни руины. Не лучшая судьба постигла Троицкую церковь и находившийся при ней некрополь семьи Бакуниных. В годы Гражданской войны могилы и усыпальница А. М. Бакунина были разорены и разграблены, прах и останки трех поколений бакунинского рода смешали с землей — мародеры из числа местных жителей искали в дворянских захоронениях золото и другие ценности. Сама церковь была закрыта в 1937 году, в ее верхней части разместился клуб, а в нижней — молокозавод. С 1990 года началось постепенное возрождение усадебно-паркового комплекса. Еще раньше была отреставрирована церковь; весной 1991 года она была заново освящена и там стали проходить службы. В 1999 году для помощи в возрождении усадьбы был создан Бакунинский фонд. К 2005 году удалось более-менее привести в порядок уникальный прямухинский парк, расчистить родники и некоторые из прудов, начать восстановление левого каменного флигеля бакунинского дома с сохранившимися дорическими колоннами. Каждое лето на родину «отца анархии» съезжаются молодые российские анархисты, чтобы поучаствовать в возрождении парка и усадьбы. В конце XX века в Прямухине в здании школы усилиями энтузиастов был открыт музей Бакуниных. Здесь представлены подлинные вещи и чудом сохранившаяся мебель, редкие фотографии и книги.

** Самый ранний из них — незавершенный — он подарил в 1838 году сестрам Беер с надписью «Как я не dokonчен, так и портрет мой не окончен». На листке, что держит в руках молодой философ, легко прочтываются по-немецки знаменитые слова Фауста: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Девиз, вполне достойный всей жизни Михаила Бакунина!

Брожение в дворянских кругах, в конечном счете вылившееся в восстание 14 декабря 1825 года, не обошло стороной и гостеприимное родовое гнездо Бакуниных. Пятеро братьев Муравьевых (трое из них участвовали в декабристском движении) приходились кузенами Варваре Александровне и, следовательно, двоюродными дядьями ее детям. Все они неоднократно приезжали в Прямухино. В 1816 году братья Муравьевы посадили перед домом Бакуниных дубок, который вырос и простоял там почти сто лет, получив прозвание «дуба декабристов». Родственные отношения связывали Варвару Александровну Бакунину и с другой ветвью муравьевского рода: казненный в числе пяти декабристов Сергей Иванович Муравьев-Апостол (как и его братья Матвей и Ипполит) приходился ей троюродным братом, но в Прямухине никогда не бывал.

В феврале 1816 года полковник Генерального штаба Александр Николаевич Муравьев (1792—1863) стал одним из основателей «Союза спасения», преобразованного в 1818 году в «Союз благоденствия». В деятельности обоих «союзов» принимал участие и другой брат — Михаил Николаевич Муравьев (1796—1866), впрочем, быстро отошедший от тайного общества. В ходе следственного дознания он был оправдан по всем статьям и впоследствии, уже в 1860-е годы, «прославился» жестоким подавлением очередного польского восстания, за что получил приставку к своей фамилии — Виленский, а в народе был прозван Вешателем. Он и сам без тени смущения говорил: «Я не принадлежу к тем Муравьевым, которых вешают, а к тем, которые вешают».

Лидер декабристского движения Никита Михайлович Муравьев (1775—1843) в сентябре 1817 года также посещал Прямухино и оставил письменные свидетельства о своей встрече с кузиной Варей и ее мужем. В семье Бакуниных жило предание, что Александр Михайлович вместе с братьями Муравьевыми обсуждал документы тайного общества, демократические перспективы развития России и размежевания с заговорщицким, по их мнению, крылом Павла Пестеля. В этом был, в частности, убежден и его сын Михаил, ставший спустя двадцать лет ультрарадикальным революционером. В своих незавершенных воспоминаниях он высказался на сей счет более чем определенно. Судя по всему, именно в таком виде легенда передавалась из уст в уста в семействе Бакуниных:

«<...> Среди просвещенных людей, живших в то время в России, он (отец. — В. Д.) пользовался такой известностью, что его деревенский дом был всегда полон гостей. С 1817 по

1825 г. он состоял членом тайного “Северного общества”, того самого, которое в декабре 1825 г. сделало несчастную попытку поднять военное восстание в С.-Петербурге. Нескольким раз ему предлагали быть председателем этого общества. Но он был большим скептиком, а с течением времени усвоил слишком большую осторожность, чтобы принять это предложение. Это-то избавило его от трагической, но славной участи многих его друзей и родственников, из которых иные были повешены в Петербурге в 1826 г., а другие были приговорены к каторжным работам или ссылке в Сибирь на поселение».

Документы же и письма, относившиеся к тому периоду, были уничтожены после подавления восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Считалось, что, повзрослев, Михаил стал очень похож на своих родичей из рода Муравьевых. Так в один голос утверждали те, кто знал их лично. Александр Иванович Герцен (1812—1870) в письме к известному французскому историку и литератору Жюлю Мишле писал, что на своих дядьев Муравьевых Бакунин «сильно походил своей высокой сутуловатой фигурой, светло-голубыми глазами, широким и квадратным лбом и даже довольно большим ртом». В этом же письме приводит и другое сравнение: «<...> Чтобы дать вам хоть какое-нибудь представление о внешности Бакунина, рекомендую вам старые портреты Спинозы, которые можно найти в нескольких немецких изданиях его произведений; между обоими этими лицами большое сходство».

* * *

Когда Михаилу Бакунину исполнилось четырнадцать лет, он был зачислен в Петербургское артиллерийское училище. Уютный мир чадолюбивой барской усадьбы в одночасье сменился суровыми буднями николаевской казармы, порядки в которой оказались чуждыми новоиспеченному юнкеру. Вот его впечатления, собственноручно изложенные спустя несколько лет:

«Из родного прямухинского мира я вдруг попал в новый, совершенно чуждый мне мир. Здесь начинается новая эра в моей жизни. До сих пор душа и воображение мои были чисты и девственны, они ничем не были замараны. В артиллерийском училище я вдруг узнал всю черную, грязную, мерзкую сторону жизни. И если даже я не впал в пороки, которых был свидетель, то, по крайней мере, привык к ним до такой степени, что они не только не приводили меня в

смущение, но даже не удивляли. Сам же я привык лгать, потому что искусная ложь в нашем юнкерском обществе не только не считалась пороком, но единогласно одобрялась. Во мне не было прежде сознательного религиозного чувства, но было религиозное чувство, тесно связанное с прямухинской жизнью, а в артиллерийском училище оно совершенно во мне исчезло, потому что в мое время во всех моих товарищах было самое холодное равнодушие ко всему святому, великому и благородному. Во мне заснула всякая духовность: я лгал, выпрашивал у Княжевича денег под благовидным выдуманым предлогом. <...> В это время один из юнкеров заставил меня сделать два векселя, я сам сделал несколько долгов. В продолжение трех лет моего юнкерства я почти ничего не делал и работал только в последние месяцы года, чтобы выдержать экзамен».

А вот и более широкие обобщения, сделанные спустя срок с лишним лет: «<...> Огромная масса нашего офицерства осталась тем же, чем была и прежде — грубой, невежественной и почти во всех отношениях вполне бессознательной, — ученье, кутеж, карты, пьянство и когда есть чем поживиться, именно в высших чинах, начиная с ротного или эскадронного или батареинного командира, правильное чуть ли не узаконенное воровство — составляют до сих пор ежедневную поблажку офицерской жизни в России. Это мир чрезвычайно пустой и дикий, даже когда говорят по-французски, но в этом мире, среди грубой и нелепой безалаберщины, его наполняющей, можно найти человеческое сердце, способность инстинктивно полюбить и понять все человеческое и при счастливой обстановке, при добром влиянии, способность сделаться совершенно сознательным другом народа».

Писатель Александр Валентинович Амфитеатров (1862—1938) в одном из своих эссе проводит на первый взгляд парадоксальную параллель между Бакуниным и Лермонтовым. В самом деле, они были одногодками, учились фактически в одно и то же время в Петербурге, обоим было уготовано военное поприще, оба с ненавистью относились к военной муштре и казарменным порядкам. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841) поступил в 1832 году в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где провел, по его собственным словам, «два страшных года». Он окончил школу в 1834 году в звании корнета. Следовательно, Бакунин и Лермонтов, вполне возможно, встречались либо сталкивались на маневрах, парадах, балах или светских приемах. Но не в этом главное. Амфитеатров сравнивает судьбу обоих:

«Одна и та же эпоха выработала для мира наиболее европейского из русских поэтов и наиболее европейского из русских политических деятелей. Между ними много личной разницы и еще больше типического сходства. Если хотите, Бакунин — живое и замечательно полное воплощение той положительной половины Лермонтова, которой определяется его творческое, разрушающее создающее революционное значение. В Бакунине не было ничего байронического — тем более на тон и лад русско-гвардейского разочарования тридцатых годов. У него не найдется ни одной черты, общей с тем Лермонтовым, который отразился в Печорине и “Демоне”, но зато он всю жизнь прожил тем Лермонтовым, который создал пламя и вихрь “Мцыри”. Если позволите так выразиться, он — Лермонтов без эгоистического неудачничества и без субъективных тормозов, Лермонтов, обращенный лицом вперед, к будущему, без грустных оглядок на прошлое, без “насмешек горьких обманутого сына над промотавшимся отцом”, Лермонтов, взятый вне современной действительности и весь устремленный в грядущие поколения, которые расцветают для него яркими красными розами бессмертной свободы.

Он знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть...

По всей вероятности, Лермонтов, если бы дожил до лет политической зрелости, оказался бы силою революционной и, быть может, гораздо более мощною и эффективною, — даже, главное, эффективною, — чем сам Бакунин».

Какие замечательные слова и какой знаменательный вывод! Другую, более обобщенную, картину военного образования в Николаевскую эпоху рисует Герцен: «Военные училища в России ужасны, именно там, на глазах у самого императора, выращивают офицеров для его армии. Именно там “сокрушают душу” детям и приучают их к беспрекословному повиновению. Мощный дух и могучее тело Бакунина счастливо прошли через это суровое испытание. <...>».

Единственной ниточкой, которая связывала новоиспеченного юнкера с призрачным прошлым, оставались письма. Мишель писал часто — родителям и сестрам, всем вместе и каждому отдельно. Почти вся переписка уцелела. Благодаря ей мы знаем о многих интимных подробностях его жизни, интересах и формировании мировоззрения. Об избытке чувств и накале страстей молодого Бакунина можно судить, например, по его письму к сестрам от 2 марта 1830 года:

«Дорогие сестры! Как мне благодарить вас за вашу дружбу, которую я так дорожу? Будьте уверены, что я сумею стать достойным ее. <...> Да, дорогие сестры, вы не ошибаетесь, я люблю вас всею душою. Вы слишком дороги мне для того, чтобы я мог вас позабыть. Не бойтесь, дорогие сестры, надоест мне вашими советами, которые свидетельствуют только о вашей дружбе, и ни один совет не действует так сильно на мое сердце, как ваши и советы моих родителей. Как мне благодарить вас, дорогие сестры, за то, что вы просили отца и мать написать мне? Их письма доставили мне столько радости! Я был вчера так рад, что вы не можете себе этого представить. Ах, дорогие сестры, как бы мне хотелось вас повидать! Вы так добры! Как бы мне хотелось сжать вас в своих объятиях. Все, кто вас видит, говорят так много хорошего о вас, что я люблю слушать разговоры на ваш счет.

Когда же мы снова увидимся? Я жду этого момента с таким нетерпением! Я вас так люблю. Еще два года — как неприятно звучат эти слова для слуха. Вы правы, дорогая Любенька, письма лишь в слишком слабой форме выражают наши чувства, и я всегда опасаюсь, чтобы мои письма не заставили вас усумниться в моей дружбе, которая, уверяю вас, вполне искренна. Как это мило с вашей стороны, дорогие сестры, что вы занимаетесь моими братьями, которые должны быть вам весьма признательны. Я уверен, что они вполне чувствуют то, что вы делаете для них, и что они сумеют оказаться достойными вашей дружбы. Николай и Павел уже составляют для вас утешение. Другие не замедлят стать таковыми же. Да, дорогие сестры, я уверен, что величайшая дружба будет царить между всеми нами. Мы будем вашею опорой, вы будете нашими подругами, и мы не сможем быть несчастными. Мне предстоит побороть еще много недостатков как, например, нерадивость, чревоугодие, даже лень, которая иногда меня посещает, и многое другое. Но с помощью терпения и доброй воли я надеюсь отделаться от них. Мысль о том, что это доставит удовольствие моим родителям и вам, поможет мне в этом».

Он спешит поделиться впечатлениями о прочитанных книгах и отечественных журналах. Читает все подряд. Очередной роман Михаила Загоскина сменяется настольной книгой каждого просвещенного российского или европейского читателя — «Исследованием о природе и причинах богатства народов» Адама Смита. Его потрясает до глубины души стихотворение Пушкина «Клеветникам России», и он полностью цитирует его в одном из писем. Братьям совету-

ет читать античных историков — Геродота, Тацита, Тита Ливия, Диодора Сицилийского. Книги эти имелись в семейной библиотеке, и сам он конечно же давно их проштудировал.

Но только сестрам он рассказывает о своей первой любви. Предметом его юношеского обожания (как это вообще нередко случалось в роду Бакуниных и их окружения) стала кузина — Машенька Воейкова, внучка Николая Александровича Львова, женатого, как мы помним, на двоюродной сестре Александра Михайловича Бакунина Марии Дьяковой. Мишель впервые увидел ее, когда по приезде в Петербург нанес визит Львовым. Машенька была младше Михаила на неполных два года. Они сразу же подружились, читали вместе, гуляли. Но Машу вскоре увезли. Вернулась она в Петербург через три года шестнадцатилетней прелестницей. Михаила только что произвели в офицеры. Былая симпатия вспыхнула с новой силой и быстро переросла в настоящую любовь. В письме к сестрам, от которых у Мишеля не было тайн, он так характеризовал предмет своего обожания — «чрезвычайно проста, любезна, остроумна и сверх того очень красива».

Они встречались практически каждый день, участвовали в музыкальных и танцевальных вечерах, говорили о живописи. Впоследствии кузина Маша получит известность как художница (и заодно — детская писательница), а выйдя замуж за известного дипломата, историка и археолога Дмитрия Васильевича Поленова, станет матерью великого русского живописца Василия Дмитриевича Поленова (1844—1927) и замечательной художницы-сказочницы Елены Дмитриевны Поленовой (1850—1898). И любовь к рисованию и живописи привила им именно мать — Мария Алексеевна Поленова, урожденная Воейкова (1816—1895). Бурный же ее и совершенно платонический роман с Мишелем Бакуниным окончился ничем. Маша вскоре уехала в Москву, подарив офицеру-артиллеристу на память сувенир и позволив поцеловать на прощание ручку. Михаил Бакунин долго бежал за возком через весь Петербург, пока силы не оставили его...

Увлечение кузиной вышло ему боком. Он подзапустил учебу, практически провалился на экзамене, к тому же, замеченный в городе в гражданской одежде (что запрещалось уставом), надерзил кому-то из начальства и был признан недостойным продолжать учение в старшем офицерском классе, а посему раньше времени был отправлен служить в войска — в самое захолустье, да еще с предписанием, чтобы в течение трех лет его обходили чином и ни отставки, ни отпуска не давали. После краткосрочной побывки в Пряму-

хине прапорщик Бакунин отбыл в Западный край — сначала в Минскую, а затем в Гродненскую губернию. Место службы, где началась и вскоре завершилась его военная карьера, называлось странно — Картуз-Березка. О настроении Михаила можно судить по его письму к приятелю, написанному уже после отставки. «Вы можете вообразить, каково было мое положение: в глуши, в кругу скотов, а не людей, без одной книги и без надежды когда-нибудь вырваться из этого ада».

Книги, впрочем, позже появились. Дабы не тратить времени попусту, Михаил занялся совершенствованием своего знания немецкого языка, а польский начал изучать с нуля. Также всерьез занялся всемирной и отечественной историей, обращая внимание не на хронологический поток событий, а на закономерности исторического процесса. Составил для себя памятку, призванную помочь осмыслению исторических сочинений: «Что замечать при чтении истории? Законы, суды, налоги, правление, королевская власть, королевское влияние в духовных делах, народное собрание, нравы, разврат, суеверие, понятия века, дух христианства, религия вообще, сила ее и влияние на политические происшествия, духовенство, его власть и нравы, раздоры церкви, распространение христианства, народное право, договоры, степень жестокости войны, дворянство, степень его власти, среднее состояние, рабство, освобождение рабов, сила мнения, действие слов на понятия».

Бакунин даже организовал офицерский кружок для изучения очень модной в ту пору философии Шеллинга. Философия в широком смысле данного понятия постепенно полностью овладеет им. Именно она помогла будущему диссиденту осмыслить суть закономерности бытия. Одновременно в его душе зарождаются протест против окружающей действительности и жажда свободы, которая только и позволяет преодолеть невзгоды и изменить жизнь к лучшему. Михаилу во многом импонировала *шеллингианская концепция свободы*, облаченная в предельно абстрактную форму. Шеллинг полагал, что истинно свободным может быть только тот индивид, в коем уживаются, непрерывно борясь друг с другом, противоположности (например, добро и зло). А чья душа, как не бакунинская, была сплошь соткана из мучительных противоречий? Теперь они будут сопровождать новообращенного любомудра до конца его дней.

Отныне он намерен штурмовать и завоевывать вершины научной истины только под флагом немецкого идеализма, олицетворением которого на данном этапе и стал Шеллинг.

Но он уже знал и другие имена — Канта, Фихте, Гегеля. Их философские системы еще предстояло освоить. Они помогут ему понять противоречивую сущность окружающего мира и предназначение человека. Но поможет ли их философия сделать этот мир более совершенным, улучшить жизнь людей? Между тем для постижения проблемы свободы во всей ее полноте как минимум необходимо самому быть свободным. Следовательно, нужно побыстрее выбираться из провинциального захолустья и избавляться от мундира прапорщика.

Отец был категорически против выхода сына в отставку. Тот впервые не подчинился родительской воле, положив тем самым начало отчуждению. В начале 1835 года Михаила Бакунина направили в командировку в Тверь по интендантским делам артиллерийской бригады. Однако строптивый офицер незамедлительно проследовал в родное Прямухино, там сказался больным и подал прошение об отставке по состоянию здоровья. Ходили слухи, что его через комендатуру пытались предать суду за самовольную отлучку, но Михаил сумел вовремя представить все необходимые медицинские документы, полностью его оправдывающие.

Отставку он получил после длительных хлопот и содействия влиятельных покровителей в Петербурге. Наконец все было позади, и отставной прапорщик (так он теперь до конца жизни будет именоваться во всех официальных документах) засобирался в Москву, полный сил, энергии и планов. Отец пытался устроить его чиновником по особым поручениям при тверском губернаторе, но сын наотрез отказался от ненавистной чиновничьей карьеры. Он объявил, что отныне намерен посвятить себя философии, журналистике и науке, в недалеком будущем стать профессором Московского университета, а пока что добывать деньги для собственного содержания с помощью «математических уроков» для дворянских недорослей.

К тому времени Михаил вполне сформировался таким, каким его знали и помнили друзья и враги на протяжении последующих этапов его жизни: порывистый, вспыльчивый, способный кого угодно заразить своей увлеченностью, вместе с тем по-детски наивный и доверчивый, добрый и щедрый, готовый всегда прийти на помощь и отдать нуждающемуся последние деньги, постоянно вторгающийся в чужую жизнь, даже когда его об этом никто не просил. Последнее проявилось, в частности, в его постоянном вмешательстве в сердечные дела сестер, у которых, впрочем, никогда не было тайн от обожаемого Мишеля, как и у него от них. Враче-

вать же «сердечные недуги» он все больше предпочитал философскими рассуждениями. В письмах к сестрам совсем не редкостью, к примеру, стали такие пассажи: «Вы слишком много рассуждаете о себе и браните себя. Это нехорошо, это признак прекраснодушия. Помните, что в вас живут два “я”. Одно бессознательно истинное, бесконечное, — это ваша субстанция. И другое, ваше сознательное, конечное “я”, — это ваше субъективное определение. Вся жизнь состоит в том, чтобы сделать субъективным то, что в вас субстанционально, то есть возвысить свою субъективность до своей субстанциональности и сделать ее бесконечностью. Вы славные девочки, в вас бесконечность, и потому не бойтесь за себя, а верьте, любите, мыслите и идите вперед». Самое замечательное, что сестры — все четыре — прекрасно понимали философские откровения Михаила, внимали каждому его слову и были готовы, не колеблясь, последовать за братом «из царства субъективности в бесконечность»...

Глава 2
КОГОРТА ЛЮБОМУДРОВ

Ожидая решения об отставке, Михаил Бакунин успел несколько раз наведаться в Первопрестольную. В январе 1836 года он поселился здесь окончательно, избрав первоначально местом жительства флигель в городской усадьбе Левашевых на Новой Басманной улице. Герцен называл владелицу усадьбы Екатерину Гавриловну Левашеву (1800?—1839) «святой женщиной» и считал, что для Бакунина знакомство с ней — дар судьбы, повлиявший на всю его дальнейшую жизнь (в чем, однако, можно и усомниться):

«То было одно из тех чистых, самоотверженных, полных возвышенных стремлений и душевной теплоты существ, которые излучают вокруг себя любовь и дружбу, которые согревают и утешают все, что к ним приближается. В гостиных г-жи Левашевой можно было встретить самых выдающихся людей России — Пушкина, Михаила Орлова (не министра полиции, а его брата, заговорщика), наконец, Чаадаева, ее самого задушевного друга, адресовавшего ей свои знаменитые письма о России. Г-жа Левашева разгадала своей прозорливой интуицией, свойственной женщинам, наделенным великим сердцем, непоколебимый характер и необыкновенные способности бывшего артиллериста. Она ввела его в круг своих друзей. Тогда-то он и встретил Станкевича и Белинского и тесно сблизился с ними. <...>».

Соседом Бакунина по флигелю как раз и оказался известный всей Москве философ Петр Яковлевич Чаадаев (1794—1856), бывший на двадцать лет старше Михаила. Вскоре они сошлись накоротке, но близкими так и не стали. Оба бывшие военные, они разительно отличались характером, темпераментом, привычками. Утонченный шеголь и франт, Чаадаев даже в пору абсолютного безденежья (которое постепенно превращалось в постоянную величину) продолжал пачками заказывать в модных магазинах лайковые перчатки. Бакунин же, тоже страдавший от безденежья, напротив, никог-

да не придавал особого значения своему внешнему виду и одежде.

Как-то в доме Левашевой Михаил спросил Чаадаева, какое впечатление на него произвел Шеллинг, с коим тот встречался лет десять тому назад и имел продолжительный разговор, а теперь состоял в переписке.

«Возвышенная натура! Гений — каких свет не видывал! — отвечивал Петр Яковлевич. — Глаза глубокие, как утренний небосклон, кажется, что в них отражаются отблески божественного огня. Да, я писал ему сравнительно недавно. Ответ пришел почти через год. Там и про вас есть (в глазах Чаадаева появились хитроватые проблески) — про молодое поколение, бедное настоящим и богатое будущим, жадное к просвещению, но имеющее мало средств для удовлетворения своего научного пыла». — «Это уж точно, — уцепился за последнюю фразу Михаил. — Так бы хотелось поехать в Берлин, послушать лекции по “философии откровения”. О них столько сейчас толков в России, а живьем из наших пока что никто не слышал». — «Зачем же дело стало?» — «Все за тем же самым — за “презренным металлом”. Математические уроки больших доходов не приносят. Страсть к любопытству — и подавно...»

От Новой Басманной до Красных Ворот рукой подать. Там в тупиковом переулке у церкви Трех Святителей находилась уютная городская усадьба, где приветливо встречала гостей Авдотья Петровна Елагина (1789—1877) — мать (по первому браку) двух пламенных славянофилов — Ивана и Петра Киреевских. Двери елагинского интеллектуального и литературного салона, пожалуй, самого знаменитого в Москве, были открыты для всех — консерваторов и либералов, славянофилов и западников, монархистов и республиканцев. Никто не чувствовал себя лишним или чужаком. Здесь царил атмосфера интеллектуального пиршества, в которую окунался и стар и млад. А. П. Елагина приходилась племянницей Василию Андреевичу Жуковскому, и, уж конечно, родной дядя, навещаясь в Первопрестольную из Северной столицы, где как воспитатель царских детей проживал постоянно, непременно посещал салон любимой племянницы.

Но и кроме Василия Андреевича, — кто только тут не был! Пушкин, Лермонтов, Мицкевич, Веневитинов, Одоевский, Вяземский, Баратынский, Кюхельбекер, Языков, Хомяков, Тютчев, Чаадаев, Герцен, Огарев, Полевой, Погодин, Шевырев, Тургенев, братья Аксаковы и их именитый отец — писатель Сергей Тимофеевич, великий актер Михаил Семенович Щепкин, заядлый спорщик и остро слов — вот далеко

не полный перечень тогдашней интеллектуальной и культурной элиты России. Особо следует отметить, что Гоголь, не имевший собственной семьи, нашел в доме близ церкви Трех Святителей тепло и заботу. Не со всеми здесь удалось встретиться Михаилу, но многие подивились эрудиции и напористому витийству молодого любомудра.

* * *

Традиция *любомудрия* в России восходит к московскому кружку с тем же названием, председателем которого был Владимир Федорович Одоевский (1804—1869), а секретарем — Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805—1827). Члены кружка занимались главным образом тем, что углубленно изучали философию Шеллинга и обсуждали свои литературные и философские творения. После восстания декабристов, опасаясь преследования и репрессий, кружок самораспустился, а все его документы были уничтожены. Само слово «любомудрие» является русской калькой греческого понятия «философия», соответственно, любомудры — это философы. Поэтому не будет прегрешением против истины и других русских философов той эпохи именовать *любомудрами*.

Чаадаев давно уже завершил свои «Философические письма». Они негласно распространялись в списках и хорошо были известны российским интеллектуалам. Теперь первое из них было предложено в журнал «Телескоп» (оно будет опубликовано и прогремит на всю Россию осенью того же 1836 года).

Чаадаевских «Философических писем» Михаил еще не читал, но слышал о них от своих новых друзей-любомудров, собиравшихся по вечерам у Николая Станкевича. С ним Михаил познакомился в Москве в 1835 году у общих знакомых — Бееров, прямухинских соседей Бакуниных. В семье Бееров верховодила мать, экзальтированная вдова с деспотическими замашками, но молодежь, естественно, притягивали ее взрослые дети — двое сыновей и две дочери. С последними Михаил на протяжении ряда лет состоял в переписке. Когда знакомишься с ней, диву даешься, какой интеллектуальный напор со стороны молодого человека пришлось выдержать юным девицам: по письмам, полученным ими от Бакунина, можно изучать целые разделы классической немецкой философии.

Николай Станкевич снимал квартиру на Большой Дмитровке, в частном пансионате, организованном для студентов Московского университета профессором-шеллингианцем

Михаилом Григорьевичем Павловым (1793—1840). Но, случилось, любомудры собирались в более просторной квартире Бееров, так как один из братьев Бееров — Алексей — являлся активным членом кружка, а с его сестрой Натальей у Станкевича был вялотекущий роман. Молодые люди проводили вечера, чередуя беседы на философские и другие темы с традиционным московским чаепитием.

Николай Владимирович Станкевич (1813—1840) — фигура знаковая в истории отечественной философской мысли. Его кружок стал флагманом в освоении немецкой философии мысли и обогащении русской интеллектуальной жизни гегелевской диалектикой. Состав кружка со временем менялся. Увлечение философией вовсе не означало, что его члены были единомышленниками. Более того, некоторые из них впоследствии стали непримиримыми идейными противниками. В разные годы членами кружка Станкевича были В. Г. Белинский, А. И. Кошелев (посещавший когда-то кружок Веневитинова — Одоевского, славянофил и меценат, на деньги которого был издан «Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля»), В. П. Боткин (один из представителей западничества), известный историк Т. Н. Грановский, М. Н. Катков (консервативный публицист и философ, редактор газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник», пустивший в оборот понятие «нигилизм» и постоянно полемизировавший с журналом «Современник» и с одним из его руководителей Н. Г. Чернышевским).

Однако, как писал Виссарион Григорьевич Белинский (1811—1848), «Станкевич никогда и ни на кого не накладывал авторитета, а всегда для всех был авторитетом, потому что все добровольно и невольно признавали превосходство его натуры над своей». Авторитет Станкевича признавали все — и друзья, и идейные противники. Мнение славянофила Константина Аксакова — тому подтверждение: «Станкевич сам был человек совершенно простой, без претензии, и даже несколько боявшийся претензии, человек необыкновенного и глубокого ума; главный интерес его была чистая мысль. Не бывши собственно диалектиком, он в спорах так строго, логически и ясно говорил, что самые щегольские диалектики, как Надеждин и Бакунин, должны были ему уступать. В существе его не было односторонности; искусство, красота, изящество много для него значили. Он имел сильное значение в своем кругу, но это значение было вполне свободно и законно, и отношение друзей к Станкевичу, невольно признававших его превосходство, было проникнуто

свободною любовью, без всякого чувства зависимости. Скажу еще, что Бакунин не доходил при Станкевиче до крайне безжизненных и бездушных выводов мысли, а Белинский еще воздерживал при нем свои буйные хулы».

Перед обаянием Николая Станкевича, помноженным на убежденность, диалектику и железную логику, не мог устоять никто. Не избежал влияния нового друга и Бакунин. Николай был всего на год старше Михаила. Сохранившаяся, хотя и не полностью, переписка двух молодых философов (в основном это письма Станкевича) свидетельствует, как быстро произошло их сближение. Они писали друг другу, когда Бакунин уезжал в Прямухино. Поначалу тон писем был несколько официальным. 22 апреля 1835 года Николай Станкевич пишет: «Милостивый государь, Михаил Александрович! <...> Письмо Ваше доставило мне большое удовольствие, обрадовало меня. Если Вы, приняв добрые, может быть, бессильные, желания за настоящие достоинства, цените сколько-нибудь мое знакомство, то поймете, как мне дорого Ваше. Кроме очень натурального желания сблизиться с человеком, которого образ мыслей вполне разделяешь, желания быть в своей сфере, слушать и говорить, что хочется — я имею причины считать подобные сближения долгом для себя. Они поддерживают мою деятельность, сохраняют во мне энергию. <...>».

Но уже через полгода тон переписки меняется: «Вечер. Друг Мишель! Часа три тому назад я получил письмо твое. <...> Благодарю тебя, друг мой, и прошу писать почаще. Как ты ни молод, но у тебя часто бывают грустные мысли; отдавай же половину мне — нам обоим будет легче». (15 ноября 1835 года.) Разумеется, главная тема их писем — высокие эмпирии и философские материи. В частности, Станкевич сообщает: «<...> Друг Мишель! Вчера и сегодня я получил от тебя по письму. <...> Я не думаю, что философия окончательно может решить все наши важнейшие вопросы, но она приближает к их решению, она зиждет огромное здание, она показывает человеку цель жизни и путь к этой цели, расширяет ум его. Я хочу знать, до какой степени человек развил свое разумение, потом, узнав это, хочу указать людям их достоинства и назначение, хочу призвать их к добру, хочу все другие науки одушевить единою мыслию. Философия не должна быть исключительным занятием, но основным. Занимайся равно и историею и латинским языком, не отдавайся пустым формам, но верь в могущество ума, одушевленного добрым чувством». (24 ноября 1835 года.)

Михаил Бакунин зарабатывал на жизнь частными уроками по математике (по восемь в неделю), так что мог посвящать достаточно времени увлечению любознательным. Бывало, он и Станкевич уединялись где-нибудь и упивались обуждением философии Иммануила Канта (1724—1804). Весь мир мгновенно превращался для них в конструкцию из трансцендентальных категорий, порожденных гениальным кенигсбергским мыслителем. Знаменитую «Критику чистого разума» Бакунин прочел (причем неоднократно) раньше Станкевича и раньше Николая постиг ее головокружительную глубину. Особенно привлекательным представлялось то, что Кант уравнивал людей в границах общего для всех познавательного процесса. Хотя он и ограничивал человеческий рассудок и разум их собственной несовершенной природой, все же интеллектуальные потенции людей, согласно кантианской критической метафизике, становились целенаправленным, управляемым творческим инструментом для теоретического постижения мира, совершенствования нравственных законов и человеческого бытия в целом.

Столь драгоценное для Михаила *право на свободу* Кант признавал только в интеллектуальной сфере, отрицая саму ее возможность в материальном мире (и, следовательно, считал некорректными такие устойчивые понятия, как «свободное пространство» или «свободное падение тел»). Подобный подход не удовлетворял Бакунина. Содержательность и ценность духовной деятельности он видел прежде всего в ее практической направленности и реальной результативности. В противном случае философия превращается в обычную схоластику. Вот почему философский настрой двух русских кантианцев постепенно менялся, что видно из письма Станкевича от 15 декабря 1835 года:

«<...> Исполать тебе, Мишенька! Ты опередил меня! Я давно уж не читаю Канта, потому что, по приезде, намерен поговорить об нем подробно с некоторыми людьми, которых мне здесь рекомендовали. На каждое его положение у меня тысяча возражений в запасе; я думал об нем столько, что голову ломило — но посредством своего мышления не доходил до его результатов и заключил, что я дурно понимаю мысль его или не логически мыслю. В том и другом случае мне нужна чужая помощь. Между тем ты меня подзадорил. Я беру Канта с собою и в деревне прочту что-нибудь из него. <...> Есть потребности, незаглушаемые в душе человека, и нет нелепее предрассудка, как тот, что человек

не без чувства не может с успехом заниматься философией. Напротив, до тех пор она и делала мало успеха, пока ею занимались скопцы, с сухим умом, с холодной душой. А Кант нужен как введение к новым системам. <...>».

Под новыми системами подразумевались учения все тех же немецких философов — прежде всего Иоганна Готлиба Фихте (1762—1814) и Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770—1831). В философии Фихте Бакунина привлекала концепция *свободы*. Лозунг Фихте «Действовать, действовать — вот для чего мы существуем!» как нельзя лучше отвечал представлениям молодого Бакунина. В одном из писем ко всем четверым своим сестрам он перефразирует эту крылатую фразу немецкого мыслителя: «Действие... <...> — вот единственное осуществление жизни». С восторгом цитирует уже в другом письме — к Татьяне и Варваре — слова Фихте из трактата «Наставление к блаженной жизни, или Учение о религии»: «Жизнь — это любовь, а вся форма и сила жизни заключается в любви и вытекает из любви. Открой мне, что ты действительно любишь, чего ты ищешь и к чему стремишься со всей страстью, когда надеешься найти истинное самоуслаждение, — и этим ты откроешь мне свою жизнь. Что ты любишь, тем ты и живешь».

Своей увлеченностью философией Фихте Бакунин сумел заразить не только сестер и своих корреспонденток Наталью и Александрину Беер, но и впечатлительного Виссариона Белинского. По прошествии нескольких лет тот писал Бакунину: «Жизнь идеальная и жизнь действительная всегда двоились в моих понятиях: прямухинская гармония и знакомство с идеями Фихте, благодаря тебе, в первый раз убедили меня, что идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная, положительная, конкретная, а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота. И я узнал о существовании этой конкретной жизни для того, чтобы узнать свое бессилие усвоить ее себе; я узнал рай, для того чтобы удостовериться, что только приближение к его воротам — не наслаждение, но только предощущение его гармонии и его ароматов — есть естественно возможная моя жизнь. Но самые лютые мои минуты были, когда ты читал с нами по-немецки: тут уже не лихорадку, но целый ад ощущал я в себе, особенно, когда ты имел армейскую неделикатность еще подтрунивать надо мною при всех, нимало не догадываясь о состоянии моей души».

Учение Фихте о свободе, связанной прежде всего с преодолением произвола, совпало со многими интуитивными догадками Михаила. Ему не могла не импонировать фраза

немецкого мыслителя: «Я научу вас истине, а истина научит вас свободе». Как известно, Фихте считал, что главная, если не единственная, цель государства — воспитание человека в духе свободы. Пройдет не так уж много времени, и Бакунин не только разочаруется в данном положении, но и придет к парадоксальному выводу: для полноценной свободы государство вообще не нужно. Оно нисколько не стимулирует свободное развитие личности, напротив — мешает ему. Чем меньше вмешательства государства, тем больше свободы. Хорошо, если никакого государства не будет вообще. Следовательно, его надо упразднить, и чем скорее, тем лучше...

В 1836 году Михаил Бакунин перевел четыре из пяти лекций немецкого мыслителя, прочитанных им в Йенском университете во время летнего семестра 1794 года и опубликованных под названием «О назначении ученого». Бакунинский перевод лекций Фихте был напечатан в журнале «Телескоп», до закрытия которого за публикацию «Философических писем» Чаадаева и расправы над редактором Н. И. Надежным оставалось совсем немного. А в 1838 году в издаваемом при участии Белинского «Московском наблюдателе» появились «Гимназические речи» Гегеля — также в переводе (и с предисловием) Бакунина. Тогда же Бакунин перерисовал с немецкой литографии портрет Гегеля в профессорской мантии, он до сих пор встречается в изданиях произведений Гегеля на русском языке, в частности, открывает его Собрание сочинений в 14 томах (М.; Л., 1930—1959). Таким образом, именно благодаря будущему «разрушителю всех устоев» широкая читающая публика России познакомилась с произведениями двух великих немецких философов.

* * *

Между тем в личной жизни Станкевича произошли заметные подвижки. Наталья Беер устала от безответных воздыханий и решила на акт самопожертвования — толкнула в объятия Николая свою ближайшую подругу, старшую из сестер Бакуниных Любеньку, появившуюся в гостеприимном московском доме Бееров весной 1835 года...

Несмотря на аналитический ум, романтически настроенный Станкевич просто не мог не оценить достоинства этой девушки, которая благодаря брату Мишелю довольно хорошо разбиралась в философии Канта, Фихте и Шеллинга и способна была поддержать разговор на любую тему — о музыке, искусстве, литературе... После нескольких эпизодических встреч в Москве и отъезда Любеньки в Пряму-

хино Николай почувствовал, что симпатия и бессознательное влечение к ней перерастают в его сердце в нечто большее. Чего же говорить тогда о провинциальной барышне, для которой пришло время выходить замуж. К ней уже однажды сватался кавалерийский офицер, и они были помолвлены, но в конце концов офицер был отвергнут семьей (причем решающую роль в расстройстве намечавшейся свадьбы сыграл Михаил). К тому же и невеста не испытывала к жениху особой симпатии. И вдруг такая партия — Станкевич!

Однако любовь на расстоянии хороша для романов, сочиненных за письменным столом. Разлука молодых людей мало способствовала укреплению их взаимного чувства. Станкевич решил переломить ситуацию и в октябре 1835 года приехал в Прямухино. Обжегшись на предыдущей помолвке, Любенька на людях вела себя сдержанно. Стеснительный Станкевич никак не мог решиться на предложение руки и сердца и вскоре вынужден был уехать ни с чем. Неопределенность затянулась на целый год. Только 23 ноября 1836 года, получив разрешение на брак от родителей, Николай и Любенька были объявлены женихом и невестой. Но со свадьбой решили не торопиться.

Михаил, посвященный во все перипетии этой любви и огорченный возникшими осложнениями, вынужден был снова вмешаться. В последний день 1836 года, накануне Нового года и рокового января 37-го (гибель Пушкина), он писал сестрам: «Напрасно вы осуждаете Станкевича. Его любовь — это настоящая любовь, это — любовь святая, возвышенная! Она ныне заполняет все его существование, она согрела и осветила всю его нравственную и умственную жизнь. Нужно послушать его! В нем горит нечто священное, нечто сверхчеловеческое. Во время одной из наших бесед он сказал мне, что тот, кто любит, гораздо лучше того, кто не любит. И я поверил ему, ибо он произнес эти слова с таким святым и возвышенным убеждением и такую простотой! Эта любовь делает его совершенно счастливым. Он нашел в ней личное выражение своей внутренней жизни вовне. <...>».

Однако не все было столь безоблачно и радужно. Время шло, а помолвленные по-прежнему оставались в разлуке, общаясь друг с другом только посредством писем. Этих писем сохранилось предостаточно, но в них нет и намека на ту страсть, о которой писал сестрам Михаил. Весной 1837 года Станкевич написал невесте, что по настоянию врачей вынужден срочно уехать за границу на лечение. Любеньку мучили плохие предчувствия — оба они были серьезно больны:

прогрессирующая чахотка; у невесты она к тому же усугублялась еще и нервным расстройством. Но были у девушки и подозрения, о которых она боялась даже думать, не то что говорить. Да что поделаешь?..

Брак ее родной сестры Варвары, по мужу Дьяковой, по мнению всей семьи Бакуниных, оказался несчастливый (Михаил впоследствии тщетно пытался помочь его расторжению). Варвара была всего на год младше Любеньки — такая же эрудитка. На фоне ничем не блиставшего и к тому же нелюбимого мужа Николай Станкевич представлялся ей настоящим титаном мысли (что, впрочем, вполне соответствовало истинному положению дел). Его обаяние притягивало как магнит. В свою очередь более самостоятельная по сравнению с остальными сестрами, более живая, более практичная и опытная Варвара не могла не привлечь внимания Николая. С ней всем и всегда было интересно. Безусловно, чувство долга для Николая и Варвары было выше всяких симпатий и влечений. О сокровенных же мыслях никто не говорил. Но сердце не обманешь, и Любенька первой почувствовала: что-то не так. А когда, наконец, осознала правду, стала чахнуть на глазах...

Варвара мучилась не меньше старшей сестры. Она мечтала соединиться со Станкевичем за границей, но, не видя выхода из положения, стала подумывать о самоубийстве. Сказался, должно быть, характер отца: в свое время, не найдя взаимности у будущей жены, он тоже намеревался застрелиться. Тупиковая ситуация подробно обсуждалась в переписке Михаила и Николая. В конце концов Станкевич выслал на имя друга две тысячи рублей для передачи Варваре, дабы та смогла незамедлительно выехать к нему. В мае 1838 года Варвара вместе с малолетним сыном и гувернанткой пересекла российско-германскую границу. Лето она провела в Швейцарии, на зиму перебралась в Италию, а затем вновь вернулась в Швейцарию. Между тем дни Любеньки были сочтены. Усилия лучшего специалиста по туберкулезу, привезенного Белинским, не увенчались успехом. 6 августа 1838 года в возрасте двадцати семи лет Любовь Бакунина скончалась.

Безвременная кончина девушки, так и не познавшей счастья взаимной любви, повергла в шок всех, кто ее знал. Получив скорбное известие, Белинский написал Бакунину многостраничное (на целую тетрадку) письмо. В ожидании оказии послать его он возвращался к письму четыре раза — с 13 по 15 августа 1838 года:

«Друг, Мишель, предчувствия не обманывают: они тайный голос души нашей. Когда я уезжал из Прямухина, мне

сильно, очень сильно захотелось в последний раз взглянуть на нее. “Скоро ли мы увидимся?” — спросила она меня, и я потерялся при этом вопросе; грудь моя сжалась, а на глазах чуть не показались слезы. Нынешний день я отослал к тебе мое письмо, вместе с письмом Василья [так в оригинале]; после обеда поехал с Катковым к нему. Душа моя перенеслась в Прямухино и глубоко страдала. С Катковым я поехал к Левашевым, от них пришел в половине одиннадцатого; увидел на столе твое письмо. Почему-то я не бросился распечатывать его, хотя давно и жадно ждал от тебя письма. Я раздевался, ходил по комнате, придумывал себе разные дела, которыми надо заняться прежде прочтения письма. Наконец, распечатал, прочел — в глазах у меня потемнело, закапали слезы... Я побежал наверх, к моему доброму князю; для меня было счастьем, что подле меня был человек, к которому я мог побежать. “Умерла!” — вскричал я, бросив ему твое письмо; “письмо из Прямухина! она умерла”, — повторил я. На лице князя изобразилось умиление; он набожно перекрестился и сказал: “Царство небесное!” Друг, я верю твоей вере в бессмертие, верю, что ты теперь находишься в состоянии глубокого созерцания истины. Отчаиваться, мучиться от ее смерти было бы грехом: тихо грустить, молиться — вот что надо делать. На этой земле она была вестницей другого мира, и смерть ее есть не отрицание, но доказательство этой другой жизни. Смерть знакомого человека всегда наводит на меня суеверный ужас, так что я вечером и ночью боюсь быть один.

Да, ее смерть — это откровение таинства жизни и смерти. Зачем не был я свидетелем ее последних минут? Нет, не напрасна была моя последняя поездка в Прямухино: я вижу в этом волю неба, доказательство, что и я имею отца, который печется обо мне. Мне надо было усвоить себе это бледное, кроткое, святое, прекрасное лицо, с выражением страдания, не победившего силы духа, силы любви благодатной, этот голос, которого нельзя лучше назвать, как голосом с того света... Да, благодарность небу! я знал, я видел ее, — я знал великое таинство жизни, не как предчувствие, но как дивное, гармоническое явление. Нет, если несчастье когда-нибудь одолеет меня и я паду под его бременем, я, который некогда видел ее, еще здоровую, прекрасную, гармоническую, полную веры в блаженство жизни, в осуществление лучших, святейших мечтаний души своей, а потом, бледную, больную, и всё прекрасную, всё гармоническую, — что я тогда буду? Мишель, слова не клеятся, хоть душа и полна; кладу перо. Скоро полночь. Буду ходить по комнате и

мечтать о жизни и смерти. Завтра воскресенье, письма посылать нельзя. Может быть, завтра и еще что-нибудь напишу тебе... <...>

Нет, Мишель, не хочу спать, не хочу ходить — хочу беседовать с тобою, с твоим духом, который невидимо присутствует при мне. Я плачу — слезы льются беспрерывно, — и они святы, эти слезы. Душа моя расширилась, и я причастился таинству жизни. Не страдаю я, а болею, и не за нее — это было бы грешно, это значило бы оскорблять ее святую тень; нет, мне представляется этот святой старик (отец. — В. Д.), тихо плачущий, кротко несущий тяжкий крест ужасного испытания. О, в эту минуту я стал бы перед ним на колена, как ты пишешь ко мне, я поцеловал бы его руку, обнял бы его колена и пролил бы на них мои слезы. Мне представляется эта бедная мать, которая была чужда для всего остального и не выходила из комнаты своей милой, утасаживающей надежды, любимейшего дитяти своего сердца. Я не сомневаюсь, что Варвара Александровна любит горячо всех своих детей, но в то же время понимаю возможность этой исключительной, субъективной любви к одной из всех. Любовь есть связь из тысячи явных, открытых нитей и миллиона тайных, невидимых. Надо каким бы то ни было образом лишиться для себя любимого человека, чтобы самому для себя узнать силу своей любви к нему. Половина сердца оторвана с кровью, лучшая мечта, самый благоуханный цвет жизни исчез навсегда. Какая потеря — бедная мать! Передай ей, Мишель, мои слезы, мои рыдания, которые задушают меня... <...>».

Пытаясь хоть как-то помочь Любеньке в последние дни ее жизни, Белинский заручился рекомендательными письмами и помчался на перекладных в Венёв Тульской губернии за врачом Петром Петровичем Ключниковым, братом Ивана Петровича Ключникова, посещавшего кружок Станкевича. Петр Ключников считался одним из лучших специалистов по туберкулезу. Пробыв несколько дней в бакунинском семействе и надеясь, что больная поправится, Белинский возвратился в Москву. Тем сильнее было его потрясение после получения подробного описания похорон Любви Бакуниной.

«Поутру отослал я свое большое письмо на почту, — писал он Михаилу, — а теперь, вечером, принимаюсь за другое к тебе, любезный Мишель. Друг, я ничего не могу делать, как только думать о ней или писать к тебе. Душа рвется к тебе, к вам. Ведь я твой, ваш, родной всем вам? — Да, те-

перь я узнал это очень ясно. Ваша потеря — моя потеря. Я разорван; не могу ничего делать; все интересы замерли в душе. Письмо Ефремова от мертвой оборотило меня к живым. Я вижу все твое семейство. Отец тихо плачет, — слезы старца — это что-то рвущее душу и вместе умиляющее ее. Святой старик! Мать смеялась — это победа горести над духом, высшее страдание, какое только может быть. А сестры? — одна несколько дней не принимала пищи, была в каком-то обмороке; другая удивляла своею твердостью. Друг, я понимаю, вполне понимаю, глубоко понимаю то и другое явление. Это одна и та же сила — только в различных проявлениях. Сила страдания происходит от силы любви, и от той же любви происходит и сила терпения. Здесь и слабость, с одной стороны, и сила, с другой, — были одно и то же явление. Страшно подумать, что это может иметь влияние на их здоровье, и без того слабое и расстроенное. Вот теперь-то, Мишель, употреби все силы, всё свое влияние на них. Не верь уверениям в спокойствии. Для них долго не будет спокойствия. Боже, какой день, какая картина! И мне жаль, что я не был там, мне кажется, что я бы должен был у вас быть эти дни. О, как бы я упился страданием и с какою бы ненасытимою жаждою пил его! <...>».

Смерть Любенки потрясла и находившихся за границей Николая Станкевича и Варвару Дьякову. Встретились они лишь в апреле 1840 года, в Риме. Михаил, содействовавший их соединению, писал Станкевичу: «Я давно желал вашего свидания с сестрою, и вот наконец мое желание исполнилось. Я знаю, вам обоим необходимо было встретиться, и вам хорошо будет вместе. Скажи ей только, чтоб она взяла все нужные предосторожности... <...>». Последняя фраза касалась отца: Александр Михайлович всячески пытался воспрепятствовать воссоединению Варвары с «разрушителем женских сердец» и даже написал приятелю-дипломату в Италию, чтобы тот принял меры, препятствующие свободному передвижению дочери по Европе.

К тому времени Николай был уже совсем плох. Но рядом с Варварой он почувствовал прилив сил. «Я только спрашиваю себя день и ночь: за что? за что это счастье? — писал он Михаилу. — Она окружает меня самую сильною, самую святою братскою любовью; она распространила вокруг меня сферу блаженства, я дышу свободнее, у меня поднялось и здоровье, и сердце». Увы, ни сухой климат, ни солнце Италии, ни заботы лучших врачей не помогали Станкевичу. По дороге в больницу, куда его сопровождала Варвара с сыном, в ночь с 24 на 25 июня 1840 года Николай Станкевич умер

в придорожной гостинице. Сразу после смерти любимого человека безутешная Варвара записала:

«О нет, нет, мой возлюбленный, я не забыла твои слова, мы свиделись, мы узнали друг друга! Мы соединены навеки — разлука коротка, и это новое отечество, которое тебе уже открылось, будет и моим: там бесконечна Любовь, бесконечно могущество Духа!.. Эта вера была твоя! — Она также и моя. Брат, ты узнаёшь меня, голос сестры доходит до тебя в вечность? Я узнаю тебя в твоей новой силе, в твоей красоте... и ты узнаёшь тоже, ты угадываешь ее — твою далекую, оставленную сестру!.. Материя сама по себе — ничто, но лишь через... внутреннее объединение ее с духом мое существо, мое Я получило свою действительность. Лишь при этом непонятном для меня соединении бесконечного с конечным Я становится Я — живым, самостоятельным существом. Когда я говорю Я, — тогда я сознаю себя, я становлюсь известной себе. Через обратное впадение в Общее я должна это сознание самой себя утратить — моя индивидуальность исчезает; Я уже не Я, остается лишь общее, Дух для себя. Таким образом, я ничто! Так вот что такое смерть? Это малоутешительно».

Такова трагическая развязка этой удивительной истории любви.

Смерть Станкевича потрясла не только его ближайших друзей, но и всю передовую Россию. Из груди И. С. Тургенева, находившегося в Германии, вырвался настоящий вопль. Он писал Грановскому: «Нас постигло великое несчастье, Грановский. Едва могу я собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой... 24-го июня, в Нови — скончался Станкевич. Я бы мог, я бы должен здесь кончить письмо... Что остается мне сказать — к чему Вам теперь мои слова? Не для Вас, более для меня продолжаю я письмо: я сблизился с ним в Риме: я его видел каждый день — и начал ценить его светлый ум, теплое сердце, всю прелесть его души... тень близкой смерти уже тогда лежала на нем... Мы часто говорили о смерти: он признавал в ней границу мысли и, мне казалось, тайно содрогался. Смерть имеет глубокое значение, если она выступает — как последнее — из сердца полной, развившейся жизни: старцу — она примирение; но нам, но ему — веление судьбы. Ему ли умереть? Он так глубоко, так искренно признавал и любил святость жизни, несмотря на свою болезнь он наслаждался блаженством мыслить, действовать, любить: он готовился посвятить себя труду, необходимому для России... Холодная рука смерти пала на его голову, и целый мир погиб».

Философия Гегеля стала в России не менее популярной, чем в Германии. Афанасий Фет (Шеншин), учившийся в то время в Московском университете вместе с другим будущим поэтом — Аполлоном Григорьевым — и квартировавший в его доме на Полянке, в своих воспоминаниях рассказывает, что имя Гегеля было на устах у всех студентов и профессоров, и даже у простолюдинов, коим образованные господа постоянными разговорами о своем кумире буквально заморочили головы. Однажды слуга, сопровождавший друзей в театр, так задумался, что после спектакля, подзывая экипаж своего хозяина, вместо «Коляску Григорьева!» выкрикнул: «Коляску Гегеля!»

Один из современников Фета не без ехидства свидетельствовал: увлечение это доходило до того, что у русских гегельянцев отношение к жизни, к действительности сделалось совершенно школьное и книжное. Скажем, человек, который шел гулять в Сокольники, не просто гулял, а отдавался пантеистическому чувству единства с космосом, и если ему попался по дороге солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народности в ее непосредственном и случайном проявлении. Слеза, навертывавшаяся на глаза, также относилась к своей категории — к трагическому в сердце.

Сам Бакунин на склоне жизни с ностальгической германфильской ноткой вспоминал состояние своей свободлюбивой души в молодые годы: «<...> В течение 30 лет рабства, терпеливо переносившегося нами под железным скипетром императора Николая, наука, философия, поэзия и музыка Германии были нашим прибежищем и нашим единственным утешением. Мы замкнулись в этом волшебном мире прекраснейших грез человеческих и жили больше в нем, нежели в окружающей нас ужасной действительности, выше которой мы старались себя поставить, согласно предписаниям наших великих немецких учителей. Я, пишущий эти строки, еще помню то время, когда, фанатик-гегельянец, — я думал, что ношу “Абсолют” в кармане, и с пренебрежением взирал на весь мир с высоты этой мнимо-высшей истины».

Для всякого пронизательного ума в ту эпоху диалектика Гегеля становилась ключом, открывавшим самые сокровенные тайны бытия и духа, а в опытных руках превратилась в неотразимое оружие, способное разрушить любую твердыню. Недаром Александр Герцен назвал диалектику «алгеброй революции». Откроем «Былое и думы», послушаем са-

мого автора. Его рассказ о гегельянском периоде развития отечественной мысли давно стал хрестоматийным и вошел (полностью или в изложении) во многие учебные пособия:

«Станкевич ... был первый последователь Гегеля в кругу московской молодежи. Он изучил немецкую философию глубоко и эстетически; одаренный необыкновенными способностями, он увлек большой круг друзей в свое любимое занятие. Круг этот чрезвычайно замечателен, из него вышла целая фаланга ученых, литераторов и профессоров, в числе которых были Белинский, Бакунин, Грановский. <...> Блезненный, тихий по характеру, поэт и мечтатель, Станкевич, естественно, должен был больше любить созерцание и отвлеченное мышление, чем вопросы жизненные и чисто практические; его артистический идеализм ему шел, это был “победный венок”, выступавший на его бледном, предсмертном челе юноши. Другие были слишком здоровы и слишком мало поэты, чтоб надолго остаться в спекулятивном мышлении без перехода в жизнь. <...>

Толковали же они об них беспрестанно, нет параграфа во всех трех частях “Логики”, в двух “Эстетики”, “Энциклопедии” и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей. Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении “перехватывающего духа”, принимали за обиды мнения об “абсолютной личности и о ее по себе бытии”. Все ничтожнейшие брошюры, выходявшие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней.

Никто в те времена не отрекся бы от подобной фразы: “Конкретирование абстрактных идей в сфере пластики представляет ту фазу самоищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенцируется из естественной имманентности в гармоническую сферу образного сознания в красоте”. <...> Гегель во время своего профессората в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить и на которые надобно было отвечать положительно. Насколько этот насильственный и неоткровенный дуализм был вопиющ в науке, которая отправляется от снятия дуализма, легко понятно. Настоящий Гегель был тот скромный профессор в

Йене, друг Гельдерлина, который спас под полой своєю “Феноменологию”, когда Наполеон входил в город».

Среди русских гегельянцев Бакунин, Станкевич и Герцен были звездами первой величины и безусловными авторитетами. Однако Герцен пальму первенства отдавал Михаилу. «Из молодежи гегельской [так!], конечно, № 1 Бакунин...» — подчеркивал он в одном из писем 1840-х годов. Все трое придерживались «западнической» ориентации. Но Герцен возглавлял революционное крыло, Станкевич — чисто просветительское, а Бакунина притягивало то и другое.

Писатель Иван Иванович Панаев (1812—1862) в своих воспоминаниях о Белинском нарисовал достаточно правдивый портрет Бакунина: «Бакунин был в своем кружке пропагандистом немецкой философии вообще и Гегеля в особенности. Ум в высшей степени спекулятивный, способный проникать во все философские тонкости и отвлечения, Бакунин владел при этом удивительною памятью и диалектическим даром. Перед силой его диалектики все склонялись невольно. Вооруженный ею, он самовластно действовал на свой кружок и безусловно царил над ним. Его атлетическая фигура, большая львиная голова с густыми и вьющимися волосами, взгляд смелый, пытливый и в то же время беспокойный — все это поражало в нем с первого раза. Бакунин с каким-то ожесточением бросался на каждое новое лицо и сейчас же посвящал его в философские тайны. В этом было много комического, потому что он не разбирал, приготовлено или нет это лицо к восприятию проповедуемых им отвлеченностей.

Вскоре после моего знакомства с ним он пришел ко мне и целое утро толковал мне о примирении и о прекраснодушии на совершенно непонятном для меня философском языке. Утро было жаркое, пот лился с меня градом, я усиливался понять хоть что-нибудь, но, к моему отчаянию, не понимал ничего, стыдясь, впрочем, признаться в этом. Белинский, уже освоившийся с философской терминологией, схватывал на лету намеки на мысли Гегеля, бросаемые Бакуниным, и развивал их впоследствии плодотворною силою своего ума в своих критических статьях.

Все принадлежавшие к кружку Белинского были в то время свежи, молоды, полны энергии, любознательности, все с жаждою наслаждения погружались или пробовали погружаться в философские отвлеченности: один разбирал не без труда Гегелеву “Логику”, другой читал не без усилия его “Эстетику”, третий изучал его “Феноменологию духа”, — все сходились почти ежедневно и сообщали друг другу свои

открытия, толковали, спорили до усталости и расходились далеко за полночь. Над этим кружком невидимо парила тень Станкевича... <...>».

А вот какую характеристику Бакунину дает Герцен: «Бакунин обладал великолепной способностью развивать самые абстрактные понятия с ясностью, делавшей их доступными каждому, причем они нисколько не теряли в своей идеалистической глубине. Именно эта роль предназначена, по моему мнению, славянскому гению в отношении философии; мы питаем глубокое сочувствие к немецкой умозрительности, но еще более влечет нас к себе французская ясность. Бакунин мог говорить целыми часами, спорить без усталости с вечера до утра, не теряя ни диалектической нити разговора, ни страстной силы убеждения. И он всегда готов был разъяснять, объяснять, повторять, без малейшего догматизма. Этот человек рожден был миссионером, пропагандистом, священнослужителем. Независимость, автономия разума — вот что было тогда его знаменем, и для освобождения мысли он вел войну с религией, войну со всеми авторитетами. А так как в нем пыл пропаганды сочетался с огромным личным мужеством, то можно было уже тогда предвидеть, что в такую эпоху, как наша, он станет революционером, пылким, страстным, героическим. <...> Он был молод, красив, он любил создавать себе прозелитов среди женщин, многие были в восторге от него, и однако ни одна женщина не сыграла большой роли в жизни этого революционного аскета; его любовь, его страсть были устремлены к иному».

С Герценом Бакунин познакомился в 1839 году. Опальный диссидент жил тогда в ссылке во Владимире, но изредка ему позволялось наведываться в Москву. По признанию самого Герцена, именно Бакунин побудил его к изучению гегелевской диалектики. Несмотря на частые разногласия, их дружба продолжалась всю жизнь.

Бакунин одинаково уверенно чувствовал себя и среди единомышленников, и в разношерстных московских салонах, где в философских дискуссиях схлестывались западники и славянофилы. Никто лучше Герцена не описал эти теоретические баталии:

«Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались, — а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А. П. Елагинной. Сверх участников в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники, даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтоб посмотреть, кто из матадо-

ров кого отделяет и как отделяют его самого; приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр, что за Рогожской заставой.

Ильей Муромцем, разившим всех со стороны православия и славянизма, был Алексей Степанович Хомяков, “Горгиас, совопросник мира сего”, по выражению полуповрежденного Морошкина. Ум сильный, подвижный, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, он горячо и неутомимо проспорил всю свою жизнь. Боец без усталости и отдыха, он бил и колот, нападал и преследовал, осыпал островами и цитатами, пугал и заводил в лес, откуда без молитвы выйти нельзя, — словом, кого за убеждение — убеждение прочь, кого за логику — логика прочь.

Хомяков был действительно опасный противник; закалившийся старый брестер диалектики, он пользовался малейшим рассеянием, малейшей уступкой. Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженный. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете — от казуистики византийских богословов до тонкостей изворотливого легиста. Возражения его, часто мнимые, всегда ослепляли и сбивали с толку».

Вот с этим-то бесстрашным рыцарем философии и схлестывался в диалектическом споре на квартире Чаадаева Михаил Бакунин. Жаркие дискуссии продолжались до утра. Герцен называл их «всенощными бдениями». По словам Хомякова, «Бакунин мог ... спорить без усталости ... не теряя ни диалектической силы разговора, ни страстной силы убеждения». Стоит ли говорить, что во время этих споров в уютных московских гостиных рождалась и мужала русская философия.

Несмотря на диаметрально противоположные позиции, славянофилы и западники испытывали друг к другу симпатию и уважение, более того — бессознательное влечение. Герцен сравнивал своих друзей и оппонентов с двуликим Янусом, имея в виду древнеримское божество с двумя лицами, смотрящими в противоположные стороны — вперед и назад: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая (так в оригинале! — В. Д.). У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы — за пророчество:

чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».

Позже Николай Александрович Бердяев (1874—1948) выразится еще более определенно: «Россия — самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ — самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты — все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм — явление русского духа, он по-разному был присущ и нашим крайним левым, и нашим крайним правым. Славянофилы и Достоевский — такие же в сущности анархисты, как и Михаил Бакунин или Кропоткин. Эта анархическая русская природа нашла себе типическое выражение в религиозном анархизме Льва Толстого. Русская интеллигенция, хотя и зараженная поверхностными позитивистическими идеями, была чисто русской в своей безгосударственности. В лучшей, героической своей части она стремилась к абсолютной свободе и правде, не востимой ни в какую государственность».

В рецензии на 7-й том «Истории России» С. М. Соловьева Константин Аксаков писал: «Как бы широко и, по-видимому, либерально ни развивалось государство, хотя бы достигло самых крайних демократических форм, все-таки оно, государство, есть начало неволи, внешнего принуждения. <...> Передовые умы Запада начинают сознавать, что ложь лежит не в той или другой форме государства, а в самом государстве как идее, как принципе; что надобно говорить не о том, какая форма хуже и какая лучше, какая форма истинна, какая ложна, а о том, что государство как государство есть ложь». Подобные высказывания славянофилов вовсе не были случайными. В одном из поздних писем к Герцену Бакунин отмечал, что Константин Аксаков еще в 1830-е годы был «врагом петербургского государства и вообще государственности, и в этом отношении он даже опередил меня».

С Хомяковым, Самариним, Кошелевым, братьями Аксаковыми и Киреевскими Бакунина сближало не только неприятие деспотической и бюрократической государственной системы, но и патриотизм (как это отметил Герцен), и любовь к славянству. В своем радикальном панславизме Бакунин очень скоро превзойдет всех славянофилов вместе взятых. А все тот же Бердяев отмечал, что и бакунинский

анархизм в целом окрашен в яркие славянофильские цвета: Бакунин считал, что мировой пожар европейской революции скорее всего начнется в России, а затем перекинется и на весь остальной мир.

* * *

На взаимоотношениях Бакунина и Белинского, начавшихся горячей дружбой и кончившихся размолвкой, следует остановиться особо. Они познакомились на одном из заседаний кружка Станкевича. Павел Васильевич Анненков (1813—1887) в своих мемуарах «Замечательное десятилетие» подробно рассказывает о философской эволюции и мучительных исканиях молодого Бакунина, неуклонно приближавшегося к своему революционному преображению (он даже называет Бакунина «отцом русского идеализма», что, впрочем, мало соответствует действительности и может быть принято с большими оговорками, и то — применительно только к начальному этапу становления будущего «отца анархии», приверженца воинствующего атеизма и материализма):

«<...> Б[акунин] обнаружил в высшей степени диалектическую способность, которая так необходима для сообщения жизненного вида отвлеченным логическим формулам и для получения из них выводов, приложимых к жизни. К нему обращались за разрешением всякого темного или трудного места в системе учителя, и Белинский гораздо позднее, то есть спустя уже 10 лет (в 1846 году), еще говорил мне, что не встречал человека, более Б[акунина] умевшего устранять, так или иначе, всякое сомнение в непреложности и благолепии всех положений системы. Действительно, никто из приходящих к Б[акунину] не оставался без удовлетворения, иногда согласного с основными темами учения, а иногда просто фиктивного, выдуманного и импровизированного самим комментатором, так как диалектическая его способность, как это часто бывает с диалектиками вообще, не стеснялась в выборе средств для достижения своих целей.

Как бы то ни было, но только упоение гегелевской философией с 1836 года было безмерное у молодого кружка, собравшегося в Москве во имя великого германского учителя, который путем логического шествия от одних антиномий к другим разрешал всей тайны мироздания, происхождение и историю всех явлений в жизни, вместе со всеми феноменами человеческого духа и сознания. Человек, не знакомый с Гегелем, считался кружком почти что несуществующим человеком: отсюда и отчаянные усилия многих,

бедных умственными средствами, попасть в люди ценою убийственной головоломной работы, лишавшей их последних признаков естественного, простого, непосредственного чувства и понимания предметов. Кружок постоянно сопровождался такими людьми. Белинский очень скоро сделался в нем корифеем, выслушав основные положения логики и эстетики Гегеля, преимущественно в изложении и комментариях Б[акунина]. Надо заметить, что последний возвещал их как всемирное откровение, сделанное человечеством на днях, как обязательный закон для мысли людской, которую они исчерпывают вполне без остатка и без возможности какой-либо поправки, дополнения или изменения. Следовало или покориться им безусловно, или стать к ним спиной, отказываясь от света и разума. Белинский на первых порах и покорился им безусловно, стараясь достичь идеала бесстрастного существования в “духе”, подавляя в себе все волнения и стремления своей нравственности и органической природы, беспрестанно падая и приходя в отчаяние от невозможности устроить себе вполне просветленную жизнь по указаниям учителя.

Дело, конечно, не обходилось тут без сильных протестов со стороны неопита. Дар проникать в сущность философских тезисов, даже по одному намеку на них, и потом открывать в них такие стороны, какие не приходили на ум и специалистам дела, — этот дар поражал в Белинском многих из его философствующих друзей. Он не утерял его и тогда, когда, по-видимому, предался душой и телом одному известному толкованию гегелевской системы. Способность его становиться по временам к ней совершенно оригинальным и независимым способом и заставила сказать Г[ерцена], что во всю свою жизнь ему случилось встретить только двух лиц, хорошо понимавших Гегелево учение, и оба эти лица не знали ни слова по-немецки. Одним из них был француз — Прудон, а другим русский — Белинский. Возражения последнего на некоторые из догматов системы иногда удивительно освещали ее слабые, схоластические стороны, но уже не могли потрясти веры в нее и высвободить его самого из-под ее гнета. Известно восклицание Белинского, весьма характеристическое, которым он заявлял свое мнение, что для человека весьма позорно служить только орудием “всемирной идеи”, достигающей через него необходимого для нее самоопределения. Восклицание это можно перевести так: “Я не хочу служить только ареной для прогулок ‘абсолютной идеи’ по мне и по вселенной”. Опровержения такого рода, как бы мимолетны они ни были, конеч-

но не могли не раздражать его друга, Б[акунина], не лишеного, как все проповедники, деспотической черты в характере. Впоследствии образовались сильные размолвки, именно вследствие протестов Белинского, на которые учитель отвечал, с своей стороны, весьма энергично. Уже в сороковых годах, говоря мне об искусстве, с каким Б[акунин] умел бросать тень на лица, которых заподозревал в бунте против себя, Белинский прибавил: “Он и до меня добирался. ‘Взгляните на этого Кассия, — твердил он моим приятелям, — никто не слышал от него никогда никакой песни, он не запомнил ни одного мотива, не проронил сроду и случайно никакой ноты. В нем нет внутренней музыки, гармонических сочетаний мысли и души, потребности выразить мягкую, женственную часть человеческой природы’. Вот какими закоулками добирался он до моей души, чтобы тихомолком украсть ее и унести под своей полой”. Оба приятеля, как известно, вплоть до 1840 года беспрестанно ссорились и так же беспрестанно мирились друг с другом, но в лето 1836 года они еще жили безоблачной, задушевной жизнью.

Связь между друзьями должна была еще усилиться, когда в течение 1836 года Белинский, введенный в семейство Б[акуниных], нашел там, как говорили его знакомые, необычайный привет даже со стороны женского молодого его населения, к чему он никогда не относился равнодушно, убежденный, что ни одно женское существо не может питать участия к его мало эффектной наружности и неловким приемам. Белинский ездил в Тверь и жил некоторое время в поместье самих Б[акуниных]. Беседы, которые он вел под кровом их дома, под обаянием дружбы с одним из его членов, при внимании и участии молодого и развитого женского его персонала, конечно, должны были крепче запасть в его ум, чем при какой-либо другой обстановке. Результаты оказались скоро. Когда Белинский опять возвратился к журнальной деятельности и принял на себя, в 1838 году, издание “Московского наблюдателя”, совершенно загубленного прежней редакцией, — на страницах журнала уже излагались не Шеллинговы воззрения в том лирическо-торжественном тоне, какой они всегда принимали у Белинского, а строгие гегелевские схемы в надлежащей суровости языка и выражения и часто с некоторою священной темнотою, хотя и старые воззрения и новые схемы имели много родственного между собою. К тому же одним из сотрудников журнала, от которого ждали переворота в области литературы и мышления, состоял теперь М. Б[акунин]. Он именно и открыл но-

вый фазис философизма на русской почве, провозгласив учение о святости всего действительно существующего.

Одно, хотя и очень короткое время Б[акунин], можно сказать, господствовал над кружком философствующих. Он сообщил ему свое настроение, которое иначе и определить нельзя, как назвав его результатом сластолюбивых упражнений в философии. Все дело ограничивалось еще для Б[акунина] в то время умственным наслаждением, а так как самая многосторонность, быстрота и гибкость этого ума требовали уже постоянно нового питания и возбуждения, то обширное, безбрежное море гегелевской философии пришлось тут как нельзя более кстати. На нем и разыгрались все силы и способности Б[акунина], страсть к витийству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей беспрестанно случаи к торжествам и победам, и наконец пышная, всегда как-то праздничная по своей форме, шумная, хотя и несколько холодная, малообразная и искусственная речь. Однако же эта праздничная речь и составляла именно силу Б[акунина], подчинявшую ему сверстников: свет и блеск ее увлекали и тех, которые были равнодушны к самим идеям, ею возвещаемым. Б[акунина] слушали с упоением не только тогда, когда он излагал сущность философских тезисов, но и тогда, когда спокойно и степенно поучал о необходимости для человека ошибок, падений, глубоких несчастий и сильных страданий как неизбежных условий истинно-человеческого существования».

Сблизившись с Бакуниным, Белинский переселился к нему на квартиру и под его руководством с упорством, на которое был способен только человек, получивший прозвище «неистовый», стал осваивать премудрость немецкой классической философии, добродушно величая Гегеля Георгием Федоровичем. Он на лету схватывал труднейший диалектический материал (в нетривиальном изложении друга), а во многих случаях превзошел своего учителя в понимании и интерпретации наиболее сложных вопросов.

Отношения Бакунина и Белинского в то время были настолько доверительными, что они делились сокровенными подробностями личной жизни. Переписка между ними продолжалась почти четыре года. Писем Белинского к Бакунину сохранилось около двух десятков, некоторые из них столь объемны, что занимают целые тетрадки и тянут на небольшие брошюры. Писем Бакунина к Белинскому, к сожалению, не сохранилось (за исключением приписок в письмах сестер). Объемом они ничем не уступали посланиям Белинского и зачастую писались в течение нескольких дней. О их

содержании нетрудно догадаться по ответным посланиям. Одно из писем Белинского носит настолько откровенный характер, что в Полном собрании сочинений опубликовано со значительными купюрами; полностью прочитать его можно лишь на «научно-эротических» сайтах в Интернете (например, фрейдистского направления). Белинский не был ни девственником, ни аскетом. Он не брезговал посещением домов терпимости и, помимо контактов с женщинами легкого поведения, имел бурные романы с девицами, так сказать, свободной ориентации и не слишком строгих правил (гризетками, как тогда говорили, — одна такая некоторое время проживала у него на Остоженке).

Однако в обществе аристократических особ женского пола он терялся, лишался дара речи и становился сам не свой, считая себя некрасивым и недостойным внимания высоко нравственных барышень. Белинский мучился и паниковал. Своими тяжелыми думами он делился с Бакуниным: «Мишель, меня не любила ни одна никакая женщина, ни высокая, ни пошлая — ни от одной и ни от какой не видел я себе ни малейшего предпочтения. Мне кажется, что на моем лице лежит печать отвержения и что за него меня не может полюбить никакая женщина. Тяжело так думать, а делать нечего — приходится так думать...»

Бакунин не был бы Бакуниным, если бы в подобной ситуации не задался благой целью — познакомить друга со своими сестрами. Белинский пришел в полнейший восторг: еще бы, целый букет совершеннейших, почти что неземных существ, о которых он столько слышал от Михаила. Виссарион буквально рвался в Прямухино. Сестры Бакунины никого не могли оставить равнодушным. Вот что писал о них Николай Станкевич: «Бесконечно любуешься этими девушками, как прекрасными созданиями Божьими, смотришь, слушаешь, хочешь схватить и навсегда при себе удержать эти ангельские лица, чтобы глядеть на них, когда тяжело на душе. <...> Еще хочешь ... не другого какого-нибудь чувства... хочешь уважения от них, чтобы они не смешивали тебя с толпою ничтожных людей... <...>».

Осенью 1836 года Михаил и Виссарион отправились в бакунинское имение. Белинский сразу же вписался в гостеприимное дворянское семейство, хотя поначалу чуть не испортил себе репутацию, рассорившись во время торжественного обеда с Александром Михайловичем по поводу политической роли французских якобинцев: их революционную деятельность во главе с Робеспьером Белинский неосторожно позволил себе оценить весьма высоко. Размолвка оказалась

настолько серьезной, что Александр Михайлович, знавший о Французской революции не понаслышке, решил оградить своих младших сыновей от общения с Белинским. Одному Богу известно, как это вообще возможно реализовать на практике в условиях барского имения, где все постоянно сталкивались и общались друг с другом за столом, в гостиной, в саду и т. д. Тем не менее сестра Татьяна сочла своим долгом предупредить братьев-гимназистов; они проживали с гувернерами в Твери и должны были на рождественские каникулы приехать в Прямухино:

«Особенно папенька сердится на Белинского, который никогда не умеет себя сдержать. Два или три раза он забывался и говорил вещи чересчур сильные, которые дали папеньке совершенно ложный взгляд на его характер. Я уверена, что папенька понял бы его, если бы он объяснился, если бы он высказывал свои чувства и свои взгляды с большим спокойствием и более ясно, чего он не мог достичь в минуту страстного возбуждения. Теперь поздно: раз предубежденный против кого-нибудь, папенька не поступает уже своим мнением, как бы несправедливо оно ни было. <...> Папенька безусловно не желает, чтобы вы были в обществе этого молодого человека, потому что он опасается, чтобы он [Белинский] не взвинтил ваше воображение. Он думает, что и так он [Белинский] совершенно вскружил головы, что он отдалил нас от него и от маменьки. Мы пробовали его [отца] в этом разуверить, но этого нелегко достигнуть».

С первого же взгляда Виссариону понравилась младшая из сестер Бакуниных — Александра (в семье ее звали Александриной, а еще — Кассандрой). Она сама первой и без стеснения подошла к знаменитому критику, о котором столько слышала от Мишеля, и протянула ему руку. Потом были долгие прогулки вдвоем по парку, задушевные беседы, литературные чтения. Белинский только что открыл для России поэзию Алексея Кольцова и привез в Прямухино еще пахнувший типографской краской номер журнала, где были опубликованы его стихи.

Первое посещение Прямухино оставило в душе Белинского неизгладимый след. Год спустя он писал Михаилу из Пятигорска, куда поехал лечиться: «Кстати о Прямухине. Ты говоришь, что однажды тебе удалось пробудить меня от моего постыдного усыпления и указать мне на новый для меня мир идеи; правда, я этого никогда не забуду — ты много, много сделал для меня. Но не новыми утешительными идеями, а тем, что вызвал меня в Прямухино — воскресил ты меня. Душа моя смягчилась, ее ожесточение миновало, и

она сделалась способною к восприятию благих впечатлений, благих истин. Прямухинская гармония не помогала тебе в моем пробуждении, но была его главною причиною. Я ощутил себя в новой сфере, увидел себя в новом мире; окрест меня всё дышало гармонией и блаженством, и эта гармония и блаженство частью проникли и в мою душу. Я увидел осуществление моих понятий о женщине; опыт утвердил мою веру. Но, друг мой, несмотря на все это, я уехал из Прямухина далеко не тем, чем почитал тогда себя: я был только взволнован, но еще не перерожден; благодать Божия стала только доступна мне, но еще не сделалась полным моим достоянием. И потому мое пребывание в Прямухине, не будучи совершенно бесплодным, все-таки не принесло тех плодов, которые я думал, что оно уже принесло. И этому опять та же причина: расстройство внешней жизни. Я хотел в Прямухине успокоиться, забыться — и до некоторой степени успел в этом; но грозный призрак внешней жизни отравлял мои лучшие минуты. Я не хотел думать о будущем; отъезд мой представлялся мне в каком-то тумане, как будто бы в Прямухине я должен был провести всю жизнь мою. <...>».

Разумеется, Белинского не могли не поразить образованность и эрудиция сестер Бакуниных. Однако, как ни странно, именно это отрицательно повлияло на развитие его личных отношений с Александриной. От женщины он ждал не высокоумных рассуждений на разные темы, а нечто иное — связанного прежде всего со сферой чувств и страстей. «Эта девушка, глубокая по натуре, светлое, чистое, полное грации создание, но ее натура искажена до последней возможности, без всякой надежды на исправление, — написал Белинский об Александрине. — Она давно отвыкла от жизни сердцем, и сердце у нее — покорный слуга воображения. Воображение живет в голове, следственно, голова у нее повелевает сердцем. <...>».

В письме к Михаилу (Виссарион жутко ревновал, когда тот по-братски обнимал Александрину за талию) он упрекнул уже всех четырех его сестер в том, что они якобы «оставили гармоническую сферу женщины, кинулись в чуждую им область мысли и сделались вследствие этого гордыми, холодными, человеконенавистными». Вот так, не больше, не меньше — «человеконенавистными». Вряд ли был прав «неистовый Виссарион». Ответ и справедливую отповедь он получил не от друга, а от Александрины (ей Мишель необдуманно показал злополучное письмо):

«Виссарион Григорьевич! Слезы невольно полились из глаз моих, когда я читала письмо Ваше; Вы мало знаете или,

лучше, совсем не знаете меня. Поверьте, не презрение, не сожаление питаю я к Вам, но мое чувство, если и не то, которое бы Вам могла дать другая женщина, — истинно, свято. Всегда желала я сблизиться, говорить откровеннее с Вами, — мне казалось, что Вы не поймете горячего, живого моего участия, что Вы примите его за насмешку, за жалость, и я останавливала себя, даже осуждала, не понимала в себе эту потребность сблизиться с человеком, которого надежды, желания я не могу исполнить. Часто говорила себе, что Вы не меня любите, но особенное прекрасное существо; я далека от него, под моим именем Вы мечтаете о другой, и я молю Бога, чтобы Вы ее встретили в этом мире, чтобы она дала Вам то, что я не могла дать, чтобы искупила страдания Ваши любовью своею. И Вы простите, забудьте тогда невольные мои оскорбления против Вас.

Нет, я не равнодушно смотрела на страдания Ваши, сердце обливалось кровью, когда переносилась в положение Ваше — бледное, страдальческое лицо Ваше носилось предо мною, и я горько, горько плакала и просила Бога помочь мне, внушить, что я должна делать. Мне хотелось бы, чтобы Вы лучше узнали, чтобы Вы проще, как сестру, любили меня, видели бы и дурное, и хорошее во мне. Знаете, тяжело, грустно думать, что мы не то, что другие создают себе из нас, и что очарование пройдет, когда узнают истину.

Осуждение и нападки Ваши насчет мысли и высокого мнения о себе несправедливы. Но, обвиняя, Вы лучше узнаете нас, и все ложное, призрачное останется в стороне. Душно, тяжело стало на сердце, когда я прочла границы, определения, в которые Вы заключаете женщину. Разве мы не свободные существа, разве мы не достойны к соединению, слитию с вечным духом...

Вы меня видели это лето в болезненном состоянии, я вся предана была темному, непросветленному чувству, хотела убежать от себя, от других, и страшно было оставаться одной... Я не была в состоянии исполнить внешние обязанности в доме, в семействе, которые так необходимы для женщины, не могла дать счастья никому...»

Где же здесь бездушная рациональность? Полная противоположность предположениям Белинского! И вновь буря страстей, промчавшись над Прямухином, оставило бакунинскую усадьбу. Но спокойствие оказалось недолгим. Приятель Бакунина и Белинского, член кружка Станкевича — «милейший и любезнейший», как все его называли, Василий Петрович Боткин (1811—1869) влюбился в Александрину что называется с первого взгляда в один из ее приездов с от-

цом и матерью в Москву. На его же глазах зарождался и протекал роман между Александриной и Виссарионом. Глубоко страдая в душе и никому не говоря об этом, Боткин терпеливо дожидался развязки. А когда она наступила, простодушно обратился к другу: «Мишель мне сказывал, что ты любишь его сестру, но что, по несчастью, она тебя не любит...» Слова эти, само письмо и его тон просто взорвали Белинского и, как он выразился, на долгое время отравили жизнь. Даже спустя год он никак не мог прийти в себя и изливал свою душу Бакунину:

«Знаешь ли ты, что он, мошенник такой, обоих нас надул. Он умел понимать и ценить письма Татьяны Александровны, как выражение души глубокой, энергической и поэтической, но любил письма Александры Александровны за эту неопределенность, за этот аромат женственности. Она являлась ему во сне прежде, нежели он ее увидел, и когда он поверил видению с подлинником, то нашел сходство во взгляде. Она поразила его с первого взгляда, и с первого свидания он уже положительно сознал в себе чувство, в котором ни одной минуты не сомневался. <...> Да, я не могу и не умею иначе любить, как горестно и трудно, и за несколько минут блаженства я получил от моего чувства целые месяцы страданий, горя, апатии. Я завидую ему. <...> Не бойся за меня — я не паду. Мне только не надо видеть, не надо встречаться. <...> Нет, я бы только миловал, счастливил и все во имя ее. Нет, только страсть губит и искажает человека, но чувство во всяком случае возвышает его. Сознаю в себе силу жить и находить прелесть в жизни».

Между тем Белинский не прерывал общения с Боткиным и в письмах своих к нему по-прежнему оставался искренним и честным: «Я узнал, что и я люблю и ненавижу вместе. Да, поверхность озера души моей тиха и светла, а на дне черти. Все это высказывается больше непосредственно — через физиономию и размышление... О, Васенька, понимаю возможность лютой к тебе враждебности, если бы ты был счастлив. <...> Нет! есть бесконечно мучительное и вместе с тем бесконечно отрадное блаженство узнать, что нас не любят. <...> Но тем не менее ценят, нам сострадают, признают нас достойными любви и, может быть, в иные минуты, живо созерцаая глубину и святость нашего чувства, горько страдают от мысли, что не в их воле его разделять».

Михаил находился в Петербурге, безуспешно пытаясь организовать бракоразводный процесс сестры Варвары, когда узнал, что Александрина отвечает Василию Боткину взаимностью и дело идет к помолвке.

«Александра Александровна, я люблю Вас! — писал Боткин. — Чем, как я могу высказать Вам это кроткое, тихое, глубокое счастье, которое Вы мне дали. Я становлюсь благодарнее, лучше от каждого Вашего письма. Вы ведь не знаете, что такое для меня Вы? Но я думаю, Вам скучно, что я все говорю о своих чувствах. Чувствах?! Изношенное слово! Нет, высказывая Вам, что происходит в душе, я говорю Вам о себе, потому что я только тогда живу, когда Вы бываете со мной. Поверите ли, в Вас я потерял свою самостоятельность, с Вами я не имею воли... Отчего Вы такие родные моей душе? Поверьте, я понимаю всю тяжесть, но вместе с тем и всю сладость такого положения. Правда, в этом чувстве есть много эгоизма... Прощайте, писать не могу, потому что сердце полно...»

Из другого письма: «Вы мне всегда представлялись девушкой Оссияна, образом, слиянным из эфира и лучей месяца. <...> Как мне передать Вам, как мне высказать все, чем теперь полон я. Что Вы мне дали! Теперь, когда я один — боже мой, сколько у меня речей с Вами, сколько вопросов. <...> А Вы теперь со мною. Вот здесь — я могу указать место в моей груди, где Вы. Вот здесь, где мне больно. <...> Вы засмеетесь, если я скажу, что я часто читаю и перечитываю Ваши записки и задумываюсь долго, долго. Мне кажется, что я все нахожу в них новое. <...> Все мое богатство состоит в том, что я знаю Вас, — для меня это великое богатство, источник жизни...»

Оставалось последнее препятствие, оно-то и оказалось непреодолимым. Родители Александрины не дали согласия на брак своей дочери с сыном купца и недворянином. Словные предрассудки оказались выше чистой взаимной любви. Василий и Александрина вынуждены были расстаться. Боткин отправился в длительное путешествие по Европе. А девушка его мечты спустя некоторое время вышла замуж за отставного офицера и троюродного брата матери Гавриила Петровича Вульфа — одного из соседей Пушкина по его псковскому имению, с которыми он близко сошелся во время ссылки в Михайловское.

* * *

Размолвка между Белинским и Бакуниным была для всех неожиданной. Михаил подробно рассказал о ней в простом письме к Станкевичу от 13 мая 1839 года: «<...> Белинский совсем оторвался от нас; я, Боткин и Катков сделались предметами его ненависти, и если верить его словам,

то он даже презирает меня и Боткина. Я первый подпал его гневу, он упрекает меня во услышание всем в ужасных преступлениях, в макиавеллизме, в подлости и т. д. Между нами долго продолжалась полемическая переписка, вследствие которой я долго и внимательно рассматривал себя и с радостью увидел, что во мне никогда не было злого намерения в отношении к Виссариону, что напротив я всегда и от всей души желал ему добра и готов был для него сделать все, что от меня зависело. Если ограниченность средств моих не позволила мне что-нибудь для него сделать, то это — не моя тайна. Кроме этого, я мог быть против него бессознательно виноват, и хотя я решительно не знал и до сих пор не знаю, в чем состоит вина моя, я от всей души просил его простить мне ее. Вот все, что я мог сделать.

В последнем письме своем он объяснил мне, что он потерял даже способность презирать меня и, несмотря на это, предлагал дружбу свою на условиях *sine qua non**; это предложение было так смешно и так нелепо, и кроме этого, условия, предлагаемые им, были так невозможны, что я не мог не заметить во всем письме его желания в последний раз оскорбить меня, и должен был расстаться с ним. Вся эта ссора, все эти мелкие и недостойные ни его, ни меня сплетни и наконец совершенный разрыв с ним легли мне на душу тяжелым камнем. Теперь он разорвал отношения свои и с Боткиным, называя его так же, как и меня, подлецом.

Грустно расставаться с человеком, которого любил, которому привык верить все, что тяготило и радовало душу, любовь и доверенность которого сделались уже необходимостью, ежедневною привычкою. Но еще грустнее расставаться с ним таким грязным образом. А Виссарион забросал и до сих пор еще забрасывает нас грязью везде и где только может. Я слышал, что он недавно ездил к Бееровым [так в оригинале] для того, чтобы объявить им нашу подлость. Слышал также, что он и тебе писал, милый Николай, может быть, он взвел на нас Бог знает какие нелепицы. Это не удивило бы меня, потому что он, Бог знает, что говорит про нас, и я мог бы, рассказав тебе все дело, совершенно оправдаться; но я не сделаю этого, во-первых, для того, чтобы не возмутить мира души твоей мелкими и грязными сплетнями, и, во-вторых, потому, что я уверен, что без всяких доказательств ты поверишь, что ни я, ни Боткин — не подлецы.

Я давно не видал Виссариона, но судя по тому, что об нем рассказывают, судя по проявлениям его ненависти (дей-

* Без чего нет, неперенный (*лат.*).

ствительной ли или мнимой, не знаю) к нам, он должен быть в ужасно тяжелом состоянии духа. Он, кажется, совершенно отдался движениям и побуждениям своей грубой естественности, в которой он видит ту святую действительность, о которой говорит Гегель. Он дошел до того, что всякий пошлый, действительный человек стал для него идеалом, и в одном письме ко мне пресерьезно завидовал и советовал мне завидовать действительности какого-то Мосолова, который любит лошадей и который выучился английскому языку, потому что на нем написано много сочинений о лошадиных свойствах и достоинствах; он ругает (или по крайней мере ругал, — теперь не знаю как) Шиллера дураком за то будто бы, что он принес ему большой вред своим идеальным направлением. Главным источником всех наших недоразумений было то, что сначала я, а потом и Боткин стали уверять его, что без знания и без познаний нельзя быть дельным редактором дельного журнала; что выводить из себя историю, искусство, религию и т. д. смешно и нелепо и что, ограничиваясь своими непосредственными ощущениями, не стараясь возвысить их до достоверности понятой мысли, он может сказать несколько верных замечаний, но не более, и что журнал, не заключающий в себе ничего, кроме нескольких верных замечаний, не может иметь большого достоинства. Он очень рассердился на нас, говоря, что мы, “п и г м е и”, осмелились поднять руку на его субстанцию, которую даже ты глубоко уважал. Виссарион в тяжелом состоянии: с одной стороны, он на деле беспрестанно должен чувствовать справедливость наших слов; с другой стороны, в нем нет сил приняться за какое бы то ни было серьезное занятие. Как-то раз он принялся за изучение немецкого языка и через несколько дней кинул его, говоря, что должно все делать по внушению благодати и что учиться немецкому языку “без внушения благодати, а по конечному произволу есть буйство перед господом, разрушающие конечный рассудок, а не благодать созидающая”. Дух его по природе обширен, а потому и потребности его обширны, и до сих пор ни одна из этих потребностей не нашла удовлетворения. У нас был еще давнишний спор о любви женщины; он говорил мне, что любовь женщины есть необходимое условие его счастья, единственная, абсолютная цель его стремлений и что вне достижения этой цели жизнь не имеет для него никакого смысла. Я всегда говорил ему, что любовь, о которой он говорит, заслуживает и может найти только тот, кто имеет всеобщий интерес, который составлял бы сущность его жизни, что любовь есть награда за объек-

тивную деятельность мужчины, и что только наполнение каким бы то ни было объективным содержанием и объективная деятельность делают человека действительным человеком и достойным любви женщины, и что любовь человека, живущего вне всеобщих интересов, необходимо должна быть или порывом грубой чувственности, или призрачным и болезненным чувством призрачного человека. Я пророчил ему, что, оторвавшись от всякого объективного интереса и сделав любовь женщины условием *sine qua non* [непременным] своего счастья и своей жизни, он никогда не найдет того, чего он ищет, и, измученный, утомленный тяжелой борьбой неудовлетворенной страсти, станет искать удовлетворения в первом попавшемся ему призраке. К несчастью, мое пророчество сбылось: в предпрошедшую зиму я видел, как он гонялся за какою-то гризеткою и как неудача приводила его в самое страшное отчаяние. Недавно и в моем отсутствии случилось с ним еще худшее осуществление моего пророчества.

Его денежные обстоятельства все в том же несчастном положении, и ко всему этому в нем, видимо, иссякает вера в жизнь и в будущность. Он знает, что ему тридцать лет, и это мучает его. Одним словом, положение его ужасно. Он весь предался своему страстному элементу, и дай Бог, чтоб это было только переходное состояние, а то он совсем погибнет. Грустно за него. В нем так много благородного, так много святых элементов, его душа — широкая душа. Знаешь ли, Николай, страшно смотреть на него. Да, я живо чувствую, что, несмотря на все его несправедливости ко мне, несмотря на грязное проявление этих несправедливостей, я не перестал любить его, не перестал принимать в нем самое живое участие; я знаю, что теперь мне невозможно сойтись с ним, но я дорого дал бы, если бы мог восстановить с ним старые отношения».

Версия самого Белинского, естественно, отличается от точки зрения Бакунина. По существу, Виссариону, имевшему весьма неуживчивый и неуравновешенный характер (друзья сравнивали его с кипятком), особенно нечего было и возразить. В письме к Станкевичу он пытался объективно оценить ситуацию: «С Мишелем я расстался. Чудный человек, глубокая, самобытная, львиная природа — этого у него нельзя отнять. Но его претензии, мальчишество, офицерство, бессовестность и недобросовестность — все это делает невозможным дружбу с ним. Он любит идеи, а не людей, хочет властвовать своим авторитетом, а не любить».

В письме к самому Михаилу эмоции вообще перехлест-

нули через край: «Я уважаю тебя: говорю тебе искренне. Но я не люблю тебя, ибо мне ненавистен образ твоих мыслей и еще ненавистнее его осуществление...» В разговоре же с Анненковым Виссарион высказался о Бакунине следующим образом: «Это пророк и громовержец, но с румянцем на щеках и без пыла в организме». Странная характеристика. Уж чего-чего, а «пыла в организме» у Бакунина было более чем достаточно. По природе своей он был сгустком энергии, пассионарной и харизматической личностью. Отсюда, в общем-то, проистекает и пресловутый бакунинский авторитаризм, в коем его справедливо (а подчас несправедливо) постоянно упрекали многие. Но разве не он впоследствии выступил против всякого авторитаризма вообще?

В пространных письмах к Бакунину Белинский пытается проанализировать их отношения с философских позиций, постепенно остывая от обиды и негодования: «Да, Мишель, я теперь совершенно освободился от твоего влияния — и снова люблю тебя, только люблю глубже, горячее прежнего. Любовь есть понимание, — это я недавно постиг. Простая истина, а я не знал ее! Наша ссора была благотворна. Причина ее заключалась в нашем взаимном требовании истинной дружбы и неспособности удовлетвориться призрачною. Взаимные наши призрачности производили ревущие, болезненные диссонансы в прекрасной гармонии, которую мы образовали взаимным влечением друг к другу, взаимною потребностью друг в друге. Надо было, чтобы все ложное, так долго скоплавшееся, прорвалось, как чирей. Я и теперь предвижу возможность таких переломов и потрясений в нашей дружбе, но уже в других формах. Нет, никогда не позволю я теперь сказать правды моему другу, если мне приятно или весело будет ее сказать. Кроме любви, все призрак и ложь, а любовь страдает за достоинство своего предмета и, плача, с кротостью произносит свои приговоры. Кто не уважает чужой личности, чужого самолюбия, тот может только осуждать, а не исправлять. <...>

Да, я теперь люблю тебя таким, каков ты есть, люблю тебя с твоими недостатками, с твоею ограниченностью, люблю тебя с твоими длинными руками, которыми ты так грациозно загребаешь в минуты восторга и из которых одною (не помню — правую или левую) ты так картинно, так образно, сложивши два длинейших перста, показываешь и доказываешь мне, что во мне спекулятивности нет “вот на столько”; люблю тебя с твоею кудрявою головою, этим кладезем мудрости, и дымящимся чубуком у рта. Мишель, любви и ты меня таким, как я есть. Желай мне бесконечного со-

вершенствования, помогай мне идти к моей высокой цели, но не наказывай меня гордым презрением за отступления от нее, уважай мою индивидуальность, мою субъективность, будь снисходителен к самой моей непросветленности. Люби меня в моей сфере, на моем поприще, в моем призвании, каковы бы они ни были. Друг Мишель, мы оба не знали, что такое уважение к чужой личности, что такое деликатность в высшем, святом значении этого слова. Я теперь понимаю, как грубы, грязны, неделикатны были мои письма, как должны были они оскорбить тебя. Прости меня за них — я умоляю тебя именем той святой любви, которая теперь так сладостно потрясает и волнует всё существо мое. В благодатном царстве любви нет памяти оскорбления — в ней она заменяется сладостью прощения. Я простил тебя за все, потому что понял необходимость всего, что было. Мое сердце горит любовью к тебе, и с каким бы упоением обнял я тебя в эту минуту, как страстно поцеловал бы я тебя! Ты нужен мне в эту минуту, я хотел бы опереться на твою мощь, попросить тебя, чтобы ты объяснил мне самого меня, поддержал бы меня. Я болен, я страдаю — и чувствую в тебе всю нужду и понимаю всю бесконечность твоего значения в отношении ко мне. После Станкевича, я тебе больше всех обязан. По моей природе я противоположен тебе, но потому-то ты и необходим для меня».

Долгое время «ходить букой» Белинский конечно же не мог. Очень скоро он созрел для примирения: «Да, Мишель, я чувствую, что я глубоко оскорбил тебя. Я не щадил твоих ран, я выбирал из них самые глубокие; я высказывал то, о чем достаточно было намекнуть, и с подробностью высчитывал то, о чем самый намек горек. Но я не раскаиваюсь в прошедшем: оно было выражением момента моего духа. Мне надо было перейти через этот момент, чтобы достичь до того, в котором нахожусь теперь. Мы оба были в ложном состоянии и потому не понимали друг друга; хотели решить вопрос, и только больше запутывали его. <...>

Беру Бога в свидетели моей искренности. Да, забудем прошедшее, и пусть оно останется для нас не больше, как уроком для настоящего и будущего. Наши с тобою отношения не должны так детски разорваться — они должны продолжиться с той минуты, в которую мы с тобою обнялись и поцеловались в доме Беер в твой последний приезд. Мы не друзья и даже не близкие приятели, но нам не за что ненавидеть друг друга и дичиться и смешно говорить Вы. В нашем прошедшем много хорошего, — и теперь я не люблю твой образ мыслей (во многих отношениях), но не тебя.

<...> Верь моей искренности и верь тому, что мне уже надоело прекраснородушное кружение в пустых кругах ложных отношений, ложной дружбы, ложной любви и ложной ненависти. Благословим прошедшее, оставим друг друга в покое и будем встречаться без ненависти и холодности. Теперь я чувствую себя совершенно готовым для этого... <...>».

Страстный и импульсивный по натуре, в своих чувствах и привязанностях Виссарион быстро переходил из одной крайности в другую. Так было и в отношениях с Михаилом. «Ты достолюбезен для меня во многих из твоих недостатков. И то, что в тебе так недавно приводило меня в бешенство, теперь восхищает меня своею достолюбезностью. <...> Много я понимаю теперь глубоко и понимаю через тебя. Теперь это мне ясно. Мое ожесточение против тебя произошло частично от личности, а частично от того, что я не хотел видеть в них достоинства. <...> Мишель, ты правду сказал, что мы все славные ребята».

Заодно он пытался стереть и неприятный осадок, оставшийся после непреднамеренного столкновения со старшим Бакуниным — Александром Михайловичем. В личном послании к главе семьи Бакуниных читаем: «За мною Вам старый долг, который тяготил меня: два раза был я у Вас в доме и только теперь собрался высказать Вам, как много я обязан Вашему знакомству и как благодарен я Вам за него. <...> Давно уже знаю, что я худо зарекомендовал себя Вам в мой первый приезд в Прямухино и что не совсем приятное воспоминание о себе оставил я Вам, и только недавно узнал, что многое, очень многое оправдывало Ваше обо мне понятие и Ваше ко мне чувство. В мою последнюю поездку в Прямухино Вы предстали мне во всем своем свете, и я проник в Ваш дух всею силою понимания, которая есть тоже сила любви. <...> Я понял эту ясную самодовольную улыбку, с которой Вы, сидя в уголку, прислушиваетесь к говору других; эту снисходительность, с которой Вы всякого выслушиваете; это удовольствие, с которым беседуете с молодым поколением, подаете Ваше мнение, никому не навязывая его и не делая из него закона; это ободряющее и лестное любопытство и внимание, с которым Вы выслушиваете мнение всех и каждого. <...> С нетерпением ожидаю обещанных Вами записок о Кавказе и Ваших стихов об Осуге». Как уже говорилось выше, планам Белинского не суждено было осуществиться из-за закрытия журнала «Московский наблюдатель», и поэма об Осуге была извлечена из архива и обнаружена лишь спустя полтора века.

Однако дружба между Виссарионом и Михаилом уже не

могла возродиться. В своем последнем (по существу, прощальном) письме к Бакунину, написанном 26 февраля 1840 года, Белинский как бы подводит итог их многолетней дружбы-вражды: «<...> Вообще, теперешнее время чрезвычайно трудно для убеждения — всякий хочет жить своим умом и требует любви, сочувствия и сострадания, а не советов. Сколько переписал к тебе я писем: за истину моей последней и самой отчаянной полемической переписки с тобою я и теперь стою, как за то, что $2 \times 2 = 4$, а не 5, и эти письма были писаны моею кровью — свежее и горячее кровью, — а между тем ты сам знаешь, до какой степени убедили они тебя. Мне и теперь жаль потерянного времени, потерянной желчи, потерянной крови и потерянной души: из всех них только желчь еще не совсем была потеряна, потому что ты осердился — бедный результат! <...>

Прощай, М[ишель]. Еще раз, не сердись. Желаю тебе уехать в Берлин, желаю от всего сердца, чтобы ты сумел овладеть собою и прожить на 2000 р. в год, чтобы ты вполне достиг своей цели. Но только тогда и поверю действительности твоего стремления. Что делать? С тех пор, как я увидел свою нищету, ничтожество, дряблость, бессилие, я уж не верю словам, а верю только делам, фактам. Только слово, осуществляющееся в жизни, для меня живое и истинное слово. Сбудется то, к чему ты стремишься, будущее делается настоящим, может быть, тогда твой пример будет для меня полезен, а пока... В ожидании жму твою руку. Белинский». Им еще предстояла одна, последняя встреча — когда перед отъездом за границу Михаил пойдет к Виссариону попрощаться.

* * *

Чтобы перевернуть прямухинскую страницу на дате «1840-е годы», необходимо рассказать о Татьяне Бакуниной, оставившей заметный след в истории отечественной литературы. Случилось это уже после отъезда Михаила за границу, но было тесно связано с его судьбой и дружбой с тогда еще совсем молодым, а позже — великим русским писателем Иваном Сергеевичем Тургеневым (1818—1883). Представляется, что о зарождении и угасании любви будущего автора «Записок охотника» к Татьяне уместно рассказать именно в данной главе. Впечатления Тургенева от пребывания в Прямухине и дискуссии с корректным, но безнадежно консервативным Александром Михайловичем найдут отражение в культовом романе середины XIX века «Отцы и дети», а Ми-

хаил Бакунин послужит прототипом героя романа «Рудин». Но пока что о Татьяне...

Сестры Бакунины, пожалуй, как никто другой, соответствовали понятию «тургеневские девушки» (появившемуся, впрочем, гораздо позже). Не приходится сомневаться, что именно их вспоминал, представлял себе Тургенев, когда создавал, к примеру, образ Лизы Калитиной в «Дворянском гнезде» или Елены Стаховой в «Накануне». Что касается Татьяны Бакуниной, то она в самом деле вполне могла стать его женой, а для своего брата Михаила она была не только любимой сестрой, но и самым преданным другом в годы его тюремных заточений и ссылок. Она была самой романтической из всех четырех прямухинских граций и самой несчастливой в личной жизни (если не считать, конечно, умершей Любеньки). Ее ум, очарование и впечатлительность, доходящую до экзальтированности, отмечали многие из друзей Бакуниных, но, пожалуй, лучше всех описал ее Белинский, которому еще при первом его посещении Прямухина Татьяна предложила помощь и переписала набело его философскую работу: «Что за чудное, за прекрасное создание Татьяна Александровна. <...> Я смотрел на нее, говорил с ней — и сердился на себя, что говорил, надо было смотреть и молиться. Эти глаза темно-голубые, как море; этот взгляд внезапный, молниеносный, долгий, как вечность, по выражению Гоголя; это лицо кроткое, святое, на котором еще как будто не изгладились следы жарких молений к небу, нет, обо всем этом не должно говорить, не должно сметь говорить...»

Бакунин познакомился и подружился с Тургеневым в Берлине в 1840 году, где они оба слушали лекции по философии, о чем более подробно будет рассказано в следующей главе. Молодые люди даже прожили почти год вместе в одной большой комнате. Поблизости снимала квартиру Варвара Бакунина с малолетним сыном. А вскоре к Михаилу приехал и младший брат Павел. В мае 1841 года Иван Тургенев, закончив курс обучения, вернулся вместе с Павлом в Россию. Пробыв совсем недолго в Петербурге, он по пути в родовое имение Спасское-Лутовиново сопровождал в Прямухино Павла, а родным привез письмо от Михаила:

«Тургенев оставляет нас (с сестрой. — В. Д.) и возвращается в Россию. Он едет отсюда в понедельник, 17-го числа, и через две с половиной недели будет у вас в Прямухине. Примите его как друга и брата, потому что в продолжение всего этого времени он был для нас и тем, и другим, я уверен, никогда не перестанет им быть. <...> Назвав его своим

другом, я не употребляю все это священного и так редко оправдываемого слова. Он делил с нами здесь и радость, и горе. <...> Он вам много, много будет рассказывать об нас и хорошего, и дурного, и печального, и смешного. К тому же он мастер рассказывать, — не так, как я, — и потому вам будет весело и тепло с ним. Я знаю, вы его полюбите».

Самого же Тургенева Михаил Бакунин снабдил подробной письменной инструкцией по поводу погашения собственных долгов. Предчувствуя, что расстанутся они надолго, закончил ее грустным добавлением:

«Прощай и ты, друг. С тобой мы еще дольше не увидимся; мы идем совершенно разными, противоположными путями. Не позабывай меня, — я тебя никогда не забуду, никогда, никогда не перестану действительно, конкретно любить тебя и верить тебе. Когда ты забудешь, я подумаю, что ты умер. Хорошо, что мы еще раз виделись; мы узнали друг друга, и я уверен, что где бы нам ни пришлось встретиться, в каких бы обстоятельствах мы ни были бы, мы пожмем друг другу руку.

Неужели мы в самом деле не увидимся прежде пяти лет? Как мы тогда увидимся? Что расскажем друг другу? Может быть, много горького, может [быть], неудачи, несчастья? Но я уверен, что мы проживем жизнь нашу человечески, и это — главное; это — наша обязанность; остальное зависит от случая или от провидения, — не знаю, но только не от нас самих. Итак, дай мне еще раз руку. С Богом в дальнюю дорогу! Твой — М. Бакунин. Береги Павла, смотри за ним в России и, если будет нужно, спаси его».

В семействе Бакуниных Тургенева встретили с традиционным русским радушием. Высокий, мягкий и элегически настроенный статный красавец пришелся по душе и главе семейства, и всем домочадцам. С сестрами и младшими братьями Михаила (особенно с Алексеем) у него сразу же установились теплые отношения. Четырехдневное пребывание Тургенева в Прямухине каждому запомнилось по-своему, но лишило сна и покоя только Татьяну. В ее мечтах возникали самые романтические картины, какие только может нарисовать воображение 25-летней девушки, дождавшейся, наконец, как ей казалось, своего избранника.

Тургенев тоже не остался равнодушным к милой синеглазой девушке. Однако не решался на объяснение, а в письмах отделялся общими, хотя и обнадеживающими, фразами, которые при желании можно было трактовать как угодно. А потому Татьяна после еще двух встреч — осенью в Прямухине, а зимой в Торжке — решила, наконец, прояс-

нить двусмысленную ситуацию и сказать то, что обычно первыми говорят мужчины. «Расскажите, кому хотите, что я люблю Вас, что я унизилась до того, что сама принесла к ногам Вашим мою непрощеную, мою ненужную любовь, — писала она Тургеневу. — И пусть забросают меня камнями. <...> Вчера пришло Ваше письмо — я читала и перечитывала его — и целовала его с таким глубоким чувством — и благодарю и благословляю Вас — за все — за жизнь, которую Вы воскресили во мне, — и больше еще — за Вашу снисходительность. <...> Как я была глубоко печальна и спокойна, и счастлива в то же время. <...> Все минуты, дни и часы наполнены Вами, вся душа моя — Вами. О, Вы знаете, Вы чувствуете, сколь люблю Вас...»

Пушкинская Татьяна в своем письме-объяснении к Онегину была не менее порывиста, но более сдержанна. Впрочем, Татьяна Бакунина тоже вскоре поняла, после еще одного свидания в Москве зимой 1842 года, что чересчур зависила свои ожидания. Тон ее писем к Тургеневу постепенно менялся: «Тургенев, дайте мне Вашу руку, оставьте мне ее на одну эту минуту — после Вы опять свободны, я не удержу Вас, но теперь остановитесь, стойте так передо мной, пускай Ваша рука лежит в моих руках...» И далее: «Я хочу, чтоб память обо мне, о любви моей жила в Вас хоть несколько минут еще после того, как пройдет она. <...> Все пройдет, и любовь пройдет. <...> Ваши письма, Тургенев, не оставят меня — куда будет жизнь во мне. Вам самим я не отдала бы их, если бы Вы даже стали требовать, — мое страдание, моя любовь дали мне право, которого никто на свете не отнимет у меня. Ваши два последних письма — с тех пор, как я получила их, — лежат на груди у меня — и мне одна радость чувствовать их, прижимать их крепко, долго. <...>

Отчего я всегда задумываюсь, прежде чем начинаю говорить с Вами, Тургенев? Отчего это невольное раздумье так всю охватывает меня в минуты, когда я хотела бы быть близка к Вам? Вся любовь моя, все стремления к Вам уничтожаются в нем. Я свободна с Вами? Я могу быть совсем покойна в Вашем присутствии, но не свободна. Отчего это? Сознание ли это унижения моего? Но оно давно уже перестало тяготить меня. Вся прежняя гордость моя возвратилась ко мне с той минуты, как я поняла мое положение и почувствовала в себе силу стать выше его. Свобода духа моего не утратилась в любви моей. Напротив, она сделала меня свободнее и сильнее, чем я была прежде. И Вам я могу прямо сказать в глаза, не чувствуя ни унижения, ни страха. Но я не могу быть свободной с Вами. <...>

Вы можете быть совсем просты, совсем свободны со мной. Верьте, я никогда не свяжу Вас ничем. И Вам не нужно было говорить: “Я не продам своей воли”. За Вашу свободу, Тургенев, люблю я Вас. Но всегда ли понимаете Вы, что значит истинная свобода? Ясны ли Вы сами с собою. <...>

Будьте со мною, как с сестрою, как с другом. Пускай Ваша жизнь будет раскрыта передо мною. Не с любопытством буду я смотреть на нее и не с требованием приходить к Вам, но для того, чтобы быть всегда готовой, если нужно будет Вам утешение или помощь дружбы и беспредельной чистой преданности. Хотите Вы такой дружбы, Тургенев? <...> Ответьте, и дайте мне руку, как в тот вечер. Нет, я не свяжу Вас. Со мною Вы всегда будете свободны. Я пойму, когда не буду больше нужна Вам, прежде чем Вы сами сознаетесь себе в этом. И Вы не услышите ни одной жалобы. <...>

То, что было между нами, уверяю Вас, никогда больше не повторится. И Вы можете без боязни ввериться мне, ввериться дружбе моей — она будет тиха и без требований. Было одно мгновение в моей жизни, когда я потеряла власть над собой, когда я отдалась увлечению... Оно прошло, и я снова та, какой я была раньше и какой я никогда не должна была переставать быть — тверда, спокойна и решительна... Я сдержу, что обещаю, друг мой... Верите ли Вы мне?»

Тургенев, судя по всему, любил и даже боготворил Татьяну, но... только в поэтическом воображении. Обычная коллизия: любовь земная и любовь небесная — первую олицетворяла Татьяна Бакунина, вторую — Иван Тургенев. И все же эта любовь дала плоды — самые проникновенные лирические стихи Тургенева навеяны встречами и прощаниями с Татьяной Бакуниной:

Дай мне руку — и пойдем мы в поле,
Друг души задумчивой моей...
Наша жизнь сегодня в нашей воле —
Дорожишь ты жизнью своей?

Светлый пар клубится над рекою.
И заря торжественно зажглась.
Ах, сойтись хотел бы я с тобою,
Как сошлись с тобой мы в первый раз.

Знаю я, великие мгновенья
Вечные с тобой мы проживем.
Этот день, быть может, день спасенья,
Может быть, друг друга мы пойдем.

И еще одно:

Когда с тобой расстался я —
Я не хочу таить,
Что я тогда любил тебя,
Как только мог любить.
Но нашей встрече я не рад.
Упорно я молчу —
И твой глубокий грустный взгляд
Понять я не хочу.
Поверь: с тех пор я много жил
И много перенес...
И много радостей забыл,
И много глупых слез...

Этот поэтический цикл включает в себя и настоящий шедевр, ставший популярным романсом:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые...
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные, страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далекое,
Слушая ропот колес непрерывный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

Каждый воспринимает по-своему эти строки, проецируя их на собственную жизнь, события или смутные воспоминания. Но мало кто задумывается, что за ними скрывается боль души вполне конкретных людей — Ивана Тургенева и Татьяны Бакуниной. Они встречались и позже, когда прошлое на самом деле превратилось для них в *былое*. Татьяна Бакунина так никогда и не вышла замуж. А Тургенев до конца дней прожил в гражданском браке с французской певицей Полиной Виардо, с которой он познакомился во время ее гастролей в Петербурге.

* * *

Михаил Бакунин пользовался большим успехом у женщин. Пример тому — отношения с сестрами Беер. Было бы странным, если бы их переписка, часть которой ныне входит в собрания *философских (!)* сочинений Бакунина, ограничилась бы исключительно обсуждением учения Канта, Фихте, Гегеля и Шеллинга. Нет, конечно, они по очереди влюблялись в Мишеля и по очереди взывали к взаимности.

Сначала Наталья, затем Александрина — обе проявили беспрецедентную настойчивость. Он же не переставал отшучиваться: его сердце уже занято, оно навсегда отдано прекрасной даме (самой прекрасной из всех!) по имени *Философия*. А чтобы не возникало никаких кривотолков, подкреплял шутку изречением Фихте, которого считал «истинным героем нового времени»: «Целью нашей жизни является не наслаждение счастьем, а достоинство счастья».

Но философские абстракции вдохновляли впечатлительных сестер лишь до поры до времени. Первой перешла к активным действиям Наталья. Через год после разрыва с Николаем Станкевичем она обратила свой взор на Мишеля. В один из долгих зимних вечеров 1836 года, когда мать с сестрой в их московском доме отсутствовали, Наталья с безоглядной откровенностью влюбленной девушки призналась, что платоническая любовь и «братско-сестринские отношения» ее более не удовлетворяют и она готова к интимной близости. В противном случае жизнь ее будет разбита. Михаилу стоило огромного труда успокоить девушку, ждавшую немедленных ответных шагов.

Однако связь с Александриной Беер спустя четыре года была доведена до логического и естественного в подобной ситуации конца, о чем свидетельствует ее многостраничное письмо, написанное вдогонку Михаилу, который перед отъездом за границу навестил Бееров в их орловском имении Шашкино:

«<...> Я не рассуждаю в эту минуту, и Вы, прекрасный друг, без рассуждений примите всю любовь мою. Вот уже прошло несколько часов после отъезда Вашего... Вы теперь пришли бы в комнату мою, сели бы на этот маленький диван... Вас нет со мною, но я еще так счастлива. Все во мне дышит жизнью Вашей... И эти звучные, мерные шаги так торжественно отзываются в душе! Шашкино освятилось присутствием Вашим. <...> Мне не стыдно более, что я так глубоко пала при Вас: напротив, я рада, что Вы узнали всю крайность моего ничтожества. <...> Первую ночь сладко после этих томительных ночей я заснула. Я в каком-то упоении легла на диван мой, я забылась ненадолго и опять пробудилась, чтобы жить с Вами. Во мне теперь все бьется жизнью, но Вас нет более...»

В ту пору Бакунин работал над статьей, которая называлась «О философии». Ее первая часть была опубликована в апрельском номере журнала «Отечественные записки» за 1840 год. Вторая часть по неизвестным причинам напеча-

на не была и пролежала в архиве почти полтора века. Статья написана типичным для кантовско-фихтеанско-гегелевской метафизики языком, мало понятным широкому читателю, на которого были ориентированы «Отечественные записки». Определяя философию как *познание истины*, молодой гегельянец (он уже успел примерить одежду и фихтеанца, и кантианца, и шеллингианца) формулирует все те же вечные вопросы, которые ставились философией и перед философией не менее двух тысяч лет (по крайней мере, начиная с Аристотеля):

«Нигде так сильно не является разногласие, составляющая существенный характер нашей современной литературы, как в вопросе о философии: одни утверждают, что философия есть действительная, высшая наука, разливающая свет на все отрасли знания и требующая положительного изучения; другие же, напротив, уверяют, что она не более как сброд фантазий, пустая игра воображения, мешающая развитию других положительных наук. Одни говорят, что человек, занимающийся ею, — погибший человек, потому что она отрывает его от всякой действительности, убивает в нем всякое верование, поселяет в нем сомнения и из здорового, крепкого, для себя и для общества полезного человека превращает его в болезненное, фантастическое и решительно бесполезное существо; другие же, напротив, утверждают, что философия есть единственное средство к уничтожению всякого сомнения, всякой духовной болезни, единственное средство к примирению человека, уже подпавшего раз пагубному влиянию скептицизма, с действительностью, с небом и землею».

В этой программной, по существу, работе Бакунин поставил цель — раскрыть тайну превращения мысли в действительность. «Действительный мир... <...> — не что иное, как осуществленная, реализованная мысль. <...> Вера в пребывание мысли в действительности составляет сущность как обыкновенного сознания, так и эмпиризма...» От этого абстрактного тезиса всего лишь полшага до любимого лозунга современных радикалов «Всё мыслимое реализуемо!», но Бакунин такого вывода не делает, хотя он и читается между строк и, вне всякого сомнения, осознается.

С каждым днем Михаил все яснее понимал, что в николаевской России у него нет возможности реализоваться как философу. Мечта почти всех молодых интеллигентов того времени (и не только их!), желающих расширить свой кругозор или продолжить образование, — выехать за границу. Художники стремились в Италию, писатели — во Францию, диссиденты — в Англию. Меккой имевших склонность к философии был Берлин. И Бакунин начал активно искать

возможности для выезда в Германию. Камнем преткновения, как всегда, оказалось отсутствие денег. Требовалось не менее двух тысяч рублей в год. Прямухинское имение, к тому времени заложенное, сверхдоходов не приносило, семеро взрослых детей (не считая Михаила) требовали достойного обеспечения, и семья не могла выделить из своего бюджета суммы, необходимой для содержания «блудного сына» за границей. Александр Михайлович обещал Михаилу присылать в будущем не более полутора тысяч рублей в год.

Друзья-любомудры понимали отчаянное положение Бакунина, но лишними деньгами не располагали и могли разве что посочувствовать. Наконец у Герцена нашлась необходимая сумма, и он ссудил другу две тысячи на неопределенный срок. Будущий великий изгнанник, разделивший судьбу друга, был одним из тех, кто осознал грандиозность и уникальность личности Бакунина и прекрасно понимал, что ее дальнейшее развитие и расцвет возможны лишь в условиях относительной свободы европейских стран. Перед отъездом из России Бакунин решил попрощаться с Белинским и зашел к нему на квартиру.

Там-то и произошло его столкновение с М. Н. Катковым, вызвавшее столько пересудов в ближайшем окружении обоих. Катков считал Бакунина (скажем прямо, без достаточных оснований) одним из главных источников сплетен о своих отношениях с женой Н. П. Огарева и искал повода для ссоры. Вот и представился благоприятный случай. По существу, Катков выследил и подкараулил Бакунина. Бурное объяснение закончилось рукоприкладством и вызовом на дуэль. Однако Михаил предложил отложить поединок на месяц-другой и провести его в Германии, куда также собирался Катков. Секунданты — Белинский и Панаев — поддержали предложение Михаила (любопытный штрих — Белинский в роли секунданта!), так как в России, в отличие от Германии, для участников дуэли, включая секундантов, были предусмотрены довольно жесткие санкции. К счастью, эта дуэль не состоялась...

Перед отъездом в Германию Мишель написал братьям и сестрам прощальное письмо: «Я — ваш, друзья, весь ваш и никому более не принадлежу, кроме вас и истины, которая составляет общую цель нашей жизни. Дайте же руки, сожмите их крепче, и ни пространство, ни время не разожмут их. Единство, царствующее в наших существованиях, есть верный, священный залог нашей взаимной любви. Каждый из нас может быть уверен, что ничто не может произойти в нем такого, что бы не нашло живого отголоска и участия в других. С этой достоверностью весело жить на свете. <...>».

С обеими сестрами Беер — Натальей и Александриной — он тоже попрощался письменно: «Итак, прощайте, друзья! Сегодня в час пополудни я сажусь на пароход. Прощайте надолго, на три, а может быть, и на четыре года. И я уехал, не простившись с вами! Что ж делать? Если бы вы знали, как тяжело мне думать об этом, как невыразимо сильно было мое желание в последний раз увидеться с вами и сжать ваши руки, тогда б вместо упреков и аллегорий вы стали бы утешать меня. Но что ж делать, видно, было суждено, чтоб недоразумения и несправедливости были вашим последним прощальным словом. Но полно браниться, дайте руки, друзья, на долгое прощание. Вы обе и Константин (брат. — *В. Д.*) глубоко врезаны в сердце моем: вы — все мои, и я никогда не расстанусь с вами и знаю, что, несмотря на всех больших и маленьких чертенков, смущающих вас, вы верите моей любви к вам, верите, что я не могу оторваться от вас. И мне этого довольно. <...>».

Герцен оказался единственным, кто провожал Михаила из Петербурга в Кронштадт, где пассажиры пересаживались на пароход, следовавший в Германию. В самом начале плавания Бакунина навстречу своей всемирной славе случилось событие, расцененное как плохое предзнаменование. Не успел пароход выйти из устья Невы, как разразилась буря. Судно вернулось обратно к питерскому причалу. Это возвращение произвело на Бакунина (да и на Герцена тоже) крайне удручающее впечатление. Он с грустью смотрел на приближающийся петербургский берег, в воображении уже покинутый на долгие годы, усеянный солдатами, таможенными чиновниками и полицейскими офицерами. Александр Герцен вспоминает:

«Я указал Бакунину на мрачный облик Петербурга и процитировал ему те великолепные стихи Пушкина, в которых он, говоря о Петербурге, бросает слова словно камни, не связывая их меж собой: “Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный... Скука, холод и гранит”. Бакунин не захотел сойти на берег, он предпочел дожидаться часа отъезда в каюте. Я расстался с ним, и до сих пор еще в моей памяти сохранилась его высокая и крупная фигура, закутанная в черный плащ и яростно поливаемая неумолимым дождем, помню, как он стоял на передней палубе парохода и в последний раз приветствовал меня, махая мне шляпой, когда я устремился на поперечную улицу...»

Кто мог тогда подумать, что Бакунину суждено вернуться в Россию в кандалах.

Глава 3
ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

Первое письмо родным Михаил написал на пароходе, следовавшем в Гамбург:

«Вот я и на открытом море, — уже два дня, как не видно берегов. В продолжение всего нашего плавания был противный ветер, даже маленькая буря. Почти всех укачало, исключая меня и еще двух пассажиров. Я почти не сходил с палубы и не спускал глаз с величественного, для меня совершенно нового зрелища. Вчера погода утихла, небо было ясно, и я видел захождение солнца, восхождение луны вчера вечером, а сегодня восхождение солнца. Наконец-то я увидел настоящее безграничное море и никогда не забуду его. <...> Да, милые, добрые друзья, все глупое, пошлое и мелочное, все это исчезло из моей памяти; осталось только существенное, только то, что действительно входило в мое развитие, в мою внутреннюю жизнь. Как часто я думал об вас, как желал вашего присутствия, для того чтобы передать вам чувство невыразимого восторга, наполнявшего душу мою. Да, друзья, наша взаимная неразрывная любовь есть наше общее, драгоценнейшее сокровище; в ней чувствую я себя дома, в ней все для меня понятно, в ней не боюсь я глупых недоразумений, не боюсь предаться свободному течению своей жизни, которое может иногда заблуждаться, но которое никогда не теряет из виду истины, — своей единственной цели и своего единственного назначения. Покамест прощайте, иду на палубу смотреть на остров Борнгольм. “Законы осуждают предмет моей любви”. Танюша, это к тебе относится. Милая, хорошая девочка, пиши мне скорее и люби меня по-прежнему. А ты, милая Ксандра (Александра. — *В. Д.*), не забывай своего обещания, я с тобой был откровенен, плати мне тем же...»

Варваре, которая в это время находилась в Италии, Михаил и описал свой отъезд из России, обстановку и настроения в Прямухин:

«Ты не можешь себе вообразить, как грустно мне было расставаться с Прямухином. Маменька осталась та же — ein Naturkind, etwas durch eine falsche Erziehung verdorben (дитя природы, несколько испорченное фальшивым воспитанием. — В. Д.); иногда добра, иногда очень сердита, капризна, несправедлива, привязчива; манерами, словами и поступками своими беспрестанно оскорбляет эстетическое чувство; совершенное отсутствие женственности. Впрочем она любит нас, я в этом убедился при расставании. Но папенька совершенно изменился. Он стал так мягок, кроток, снисходителен: святой старик. В последнее время он был так грустен, ему было так грустно расставаться со мною, что я готов был остаться, если б не был убежден, что, оставшись, я буду в тягость и себе самому и всему семейству. Сестер ты знаешь, и потому мне нечего говорить тебе о них; разница только та, что после твоего отъезда и после кончины Любаши они почти совсем утратили ясность духа; они почти всегда грустны, бедные девочки, им тяжело жить на свете...»

Не забывал он и о сестрах Беер. В одном из писем к ним, в частности, рассказал им о своем последнем свидании и прощании с Белинским: «<...>Виделся несколько раз с Белинским; последнее свидание наше вполне убедило меня в том, что мы совершенно разошлись с ним. Было время, когда мы могли понимать друг друга, когда в наших существованиях было что-то единое, нераздельное; теперь же мы потеряли друг друга из созерцания; мы идем совершенно противоположными путями. Не знаю, как он обо мне думает, но я никогда не перестану думать и быть уверенным, что при всем его внешнем цинизме и несмотря на совершенно ложное направление, которому он теперь следует, в нем много глубокого, святого. Мне грустно за него, потому что он глубоко страдает; он — мученик обстоятельств и своего ложного направления. В данный момент это — неудавшаяся жизнь; но наступит время, я в этом вполне уверен, когда он найдет осуществление более полное и более отвечающее его глубокой натуре»*.

Дальнейшая переписка продолжалась в том же духе, пока Михаила не захлестнул водоворот революционных событий, завершившийся арестом, тюрьмами и ссылкой. Письма

* Охладевшим друг к другу друзьям суждено было встретиться еще раз спустя семь лет, в июле 1847 года, в Париже, куда ненадолго приехал Белинский после лечения в Германии. Их кратковременный контакт (теперь уже действительно последний) и холодное рукопожатие носили чисто формальный характер.

к собственным сестрам и сестрам Беер по-прежнему избивали философскими рассуждениями. Но в отдельном достаточно сдержанном письме к Александрине Беер он все же приглашает приехать ее в Берлин и поселиться вместе с ним или где-то совсем рядом:

«Милая Александрина, скажу Вам только несколько слов, ибо как же Вы хотите, чтобы я много Вам сказал в настоящее время, когда мы оба нуждаемся в новом ознакомлении друг с другом, для того чтобы иметь возможность действительно разговаривать? Приезжайте-ка сюда, заключим новое знакомство, станем изучать друг друга, каковы мы в действительности, и я надеюсь, я уверен, что тогда наши отношения станут истиною. Я приглашаю Вас сюда потому, что в противном случае мы рискуем, пожалуй, никогда больше не свидеться. Ибо, видите ли, Александрина, я не только не возвысился вместе с вами до той действительности, которую все вы так кичитесь, но и стал больше чем когда-либо идеалистом, и у меня осталось только два-три месяца обеспеченного существования, я стараюсь наполнить их согласно моим идеям и верованиям, а об остальном не забочусь. В переживаемое нами время нужно быть последовательным и верным своим убеждениям вплоть до риска своей головой, потому что эта последовательность и эта верность составляют единственную охрану нашего достоинства. Очень трудно быть последовательным, но позорно не быть таковым. Итак, как сказала бы Наталья, которая не должна воображать, будто мое молчание равносильно забвению, я всегда остаюсь верным, я Вам уже это сказал, и это — не фраза, — итак, плыви, мой чёлн... Ваш М. Бакунин».

Однако воссоединение Михаила и Александрины (его каждый из них желал по-своему) так и не состоялось. Писать ей и ее сестре он стал все реже и реже. К тому же со временем Михаил узнал о начавшемся романе (несмотря на разницу в возрасте) между Александриной и его братом Павлом. Младший брат был настолько привязан к старшему, что после отъезда того из России у Павла — в то время уже студента юридического факультета Московского университета — произошло нервное расстройство, потребовавшее серьезного лечения и постоянного врачебного наблюдения. Лучшим лекарством для Павла оказалась поездка к брату в Берлин.

Павел прожил у Михаила более года, повсюду следовал за ним, по-настоящему подружился с Тургеневым. Их совместная жизнь мало чем отличалась от тогдашнего времяпрепровождения «золотой молодежи»: театры и музыкальные салоны, философские и литературные студии,

читальни и библиотеки, поэтические декламации и пение, вечеринки и мальчишники, барышни и дамы, кабачки и рейнвейн, карточная игра и курение глиняных трубок, загородные прогулки и общение с немцами для совершенствования языка.

Осенью 1842 года сестра Варвара с сыном уехали в Россию, где вскоре Варвара вернулась к своему мужу Н. Н. Дьякову. А с отъездом Павла оборвались последние живые ниточки, связывавшие Михаила с Прямухином. Особенно сильно он тосковал по брату. В письме к родным из Дрездена от 4 ноября 1842 года он пишет, не скрывая и не стесняясь слез: «Паша и Тургенев уехали. <...> Простившись с ними, я еще раз — да, в последний раз — простился с вами, с Прямухином, с Россиею, со всем прошедшим. Паша был для меня последним отголоском моего родного, милого прямухинского мира. Этот отголосок замолк; его и вас нет более подле меня. Прощайте, прощайте. Меня окружают только чужие лица, я слышу только чужие звуки; замолк родной голос. Да, я не знал, что я так люблю его, я не знал, что я еще так к вам привязан. Пишу вам да плачу, плачу как ребенок. Это — слабость, но я не стану скрывать ее от вас; я так давно не мог говорить с вами. Отъезд Павла разрушил кору, покрывавшую мое сердце, я опять чувствую вас в себе, чувствую для того, чтобы в последний раз, навсегда с вами проститься. Да, я хочу говорить теперь — может быть, это мое последнее слово к вам, может быть, завтра, послезавтра сердце мое снова почерствеет и я не буду в силах вызвать из него живого звука. Мне нужно было остаться совершенно одному, чтобы плакать; прежде я не знал, что такое слезы. Только уезжая из Казимина (в 1828 году. — В. Д.), плакал я, как теперь плачу. Да, я уверен, это — мои последние слезы, мне нечего более терять. Я все потерял, со всем простился, — прощайте, друзья, прощайте».

С сестрами Татьяной и Александрой Михаил обменивался новостями и впечатлениями от прочитанных книг. Так, он настоятельно рекомендует сестрам по возможности знакомиться с романами Жорж Санд (или Занд, как тогда писали): «<...> Целое утро читал я Жорж Занд “Лелия”; это — мой любимый автор, я с ним больше не расстаюсь. Каждый раз, когда я читаю ее произведения, я становлюсь лучше, моя вера укрепляется и расширяется. Я нахожу себя здесь во все моменты. Ни один поэт, ни один философ не симпатичен мне так, как она. Ни один не выразил так хорошо мои собственные мысли, мои чувства и мои запросы. Читайте ее, мои добрые друзья. Так как мы — одного закала, так как на-

ши стремления во всем тождественны, вы должны будете испытать то же самое, и одним связующим нас звеном прибавится больше. Для меня чтение Жорж Занд — это как бы культ, как бы молитва. Она обладает способностью открывать мне глаза на все мои недостатки, на все слабости моего сердца, не удручая и не подавляя меня. Наоборот, она при этом пробуждает во мне чувство достоинства, показывая наличие во мне сил и средств, каких я до того сам в себе не сознавал. Жорж Занд — не просто поэт, но и пророк, приносящий откровение».

В письмах Михаил спрашивает сестер, что нового опубликовали за это время Лермонтов и Гоголь. Последний находился за границей, и однажды их пути случайно пересеклись. Бакунин использовал любую возможность познакомиться с другими городами Германии. Однажды в начале сентября 1841 года во время очередной поездки в Дрезден Михаилу довелось ехать в одном дилижансе с Гоголем, путешествовавшим тогда по немецким землям. Упоминание об этой встрече сохранилось лишь в одном из писем Гоголя: оказывается, он уже тогда имел о своем соседе по дилижансу в общем-то не лестное мнение (быть может, оно сложилось благодаря кому-то из окружения Белинского).

Бакунин появился в стенах Берлинского университета с намерением как вольнослушатель освоить традиционный университетский курс и записаться на лекции к Шеллингу. По существовавшей традиции профессор предварительно знакомился со всеми записавшимися к нему на лекции. Встреча патриарха немецкой философии и его недавнего адепта состоялась в октябре 1841 года. Михаил передал копию немецкого идеализма привет (или, как тогда выражались, поклон) от их общей знакомой Авдотьи Петровны Елагиной (громкая слава ее салона давно уже переступила границы России). В письме к родным Мишель подробно рассказывает о своей получасовой беседе с Шеллингом:

«Он пригласил меня приходиться к нему, и я постараюсь поближе познакомиться с ним. Он почти не похож на свой портрет — маленького роста, но глаза у него чудесные. Говорят, что дочь его прекрасна собою, с глубоким выражением в лице. Ай, ай, ай, я, может быть, влюблюсь в нее, — и тем опаснее, что я слышал о ней от русских, от Елагиных, а не от немцев, которые готовы назвать *wunderschönes Mädchen* (прекраснейшей девушкой. — *В. Д.*) уроды. Вы не можете вообразить себе, с каким нетерпением я жду лекций Шеллинга. В продолжение лета я много читал его и нашел в нем такую неизмеримую глубину жизни, творческого мы-

шления, что уверен, он и теперь откроет нам много глубокого. Четверг, то есть завтра, он начинает. Через несколько времени напишу вам об нем...»

Но время Шеллинга прошло. Еще каких-нибудь пять лет назад одно его имя вызывало трепет, а теперь многие с полным равнодушием взирали на сутулого профессора, ведавшего с кафедры об абстрактных проблемах мифологии, религии и божественного откровения. Теперь сердца большинства слушателей принадлежали Гегелю и вознесенной им на недостижимую высоту вечно живой диалектике. В лекционном зале были и такие, кто с откровенной насмешкой взирал на убеленного сединами мэтра, отрастившего длинные волосы, что делало его совершенно непохожим на известные до сих пор портреты. Рассказывали, что один из слушателей — по имени Фридрих Энгельс — однажды даже покинул аудиторию, демонстративно хлопнув дверью.

Да, Шеллинг был давно пройденным этапом, спустя некоторое время Бакунину даже нечего было написать о нем друзьям в Россию. Сестрам же о прослушанных лекциях своего недавнего кумира он сообщил более чем сдержанно всего несколько слов: «Очень интересно, но довольно незначительно, ничего говорящего сердцу». Зато с огромным воодушевлением готов был теперь Михаил обсуждать идеи своих новых друзей — младогегельянцев, поставивших целью связать теоретические выводы своего истинного учителя с реальной жизнью и насущными политическими проблемами, ждущими своего решения и в первую очередь в самой Германии. Двадцативосьмилетний русский младогегельянец давно уже ощущал тесноту сюртука, скроенного из пустых категорий и абстракций, кои невозможно было спроецировать на реальную жизнь или применить на практике.

В Германии Бакунин завязал множество знакомств, сыгравших в дальнейшем значительную роль в его жизни. Одно из них оказалось судьбоносным для отечественной истории и культуры. Тургенев! Как и Бакунин, он приехал в Берлин изучать немецкую философию, мечтая получить степень магистра. И первое, что сделал будущий великий писатель, добравшись до столицы тогдашней Пруссии, купил все имевшиеся в наличии тома из собрания сочинений Гегеля. Хорошее, ничего не скажешь, начало для автора «Записок охотника» и «Отцов и детей»! В Бакуanine Тургенев нашел то, что давно искал. Вот что он писал Михаилу из Мариенбада 27—29 августа (8—10 сентября) 1840 года:

«Я приехал в Берлин, предался науке — первые звезды

зажглись на моем небе — и, наконец, я узнал тебя, Бакунин. Нас соединил Станкевич — и смерть не разлучит. Скольким я тебе обязан — я едва ли могу сказать — и не могу сказать: мои чувства ходят еще волнами и не довольно еще утихли, чтобы вылиться в слова. Покой, которым я теперь наслаждаюсь — быть может, мне необходим; из моей кельи гляжу я назад и погружен в тихое созерцание: я вижу человека, идущего сперва с робостью, потом с верой и радостью по скату высокой горы, венчанной вечным светом; с ним идет товарищ, и они спешат вперед, опираясь друг на друга, а с неба светит ему тихая луна, прекрасное — знакомое — и незнакомое явление: ему отраднo и легко, и он верит в достижение цели. <...>

Michel! нам надо будет заняться древними языками. Нам надо будет работать, усердно работать в течение зимы. Я надеюсь, мы проведем ее прекрасно. Университет, занятия, — а вечером будем сходиться у твоей сестры, ходить слушать хорошую музыку, составим чтения; Вердер будет к нам приходить. Постой, дай перечесть, сколько месяцев наслаждения — с 1 октября по 1 мая — 7 месяцев, 210 дней! Весной я должен ехать в Россию — непременно. Но осенью я снова возвращусь. Ты дай мне письма к своим: как я желаю хоть видеть их. Скажи им обо мне как о человеке, который тебя любит; больше ничего. Ты не поверишь, как я счастлив, что могу говорить тебе — ты. У меня на заглавном листе моей энциклопедии написано: “Станкевич скончался 21 июня 1840 г.”, а ниже: “я познакомился с Бакуниным 20 июля 1840 г.”. Изо всей моей прежней жизни я не хочу вынести других воспоминаний. У меня всего было 2 друга — и первого звали Michel. Он умер; мы с ним вместе росли, вместе дожили до 18 лет — и он умер. Но ты будешь жить — и я буду жить и, может быть, оба — не даром. Прощай».

Огромную роль в философском и политическом становлении Бакунина сыграли знакомство и сотрудничество с лидером немецких леворадикалов и младогегельянцев Арнольдом Руге (1802—1880). 22 октября (3 ноября) 1841 года Михаил пишет родным: «Я познакомился в Дрездене с доктором Руге, издателем *Deutsche* (прежде они назывались *Hallische*) *Jahrbücher*. Он — интересный, замечательный человек, замечателен более как журналист, как человек необыкновенно твердой воли... Он без всякого исключения враждебно относится ко всему, что имеет хоть малейший вид мистического. Разумеется, что вследствие этого он впадает в большие односторонности во всем, что касается религии, искусства и философии. Но во многих других отноше-

ниях эта односторонность и абстрактное направление его приносят немцам большую пользу, вырывая их из гнилой, золотой и неподвижной середины, в которой они так давно покоятся».

Руге издавал гремевший по всей Германии и Европе оппозиционный журнал с невиннейшим на первый взгляд названием — «Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst» («Немецкие ежегодники науки и искусства». — В. Д.). Не слишком выдающийся философ, зато блестящий публицист и, главное, организатор, не страдавший к тому же завышенными личными амбициями, Руге сумел привлечь на свою сторону лучших теоретиков и оппозиционных общественных деятелей — Бруно Бауэра, Людвига Фейербаха, Карла Маркса, Фридриха Энгельса и в дальнейшем — Михаила Бакунина, осенью 1842 года написавшего для журнала ставшую, как оказалось, программной статью «Реакция в Германии (Очерк француза)». Публикации было предпослано предуведомление редакции: «Мы даем не просто замечательную вещь; это новый значительный факт. Дилетантов и не самостоятельных последователей вроде Кузена и других немецкая философия уже и раньше производила за границей, но людей, философски переросших немецких философов и политиков, до сих пор в наших пределах не встречалось. Таким образом, за граница срывает с нас теоретический венец». Сама статья начиналась с любимой бакунинской темы — **СВОБОДЫ**:

«Свобода, реализация свободы, кто станет отрицать, что сейчас эти слова стоят на первом месте в порядке дня истории? И друг и недруг признают и должны это признать; да, никто не решится дерзко и открыто объявить себя врагом свободы. Однако слово, признание, как известно еще из Евангелия, сами по себе ничего не значат, ибо, к сожалению, до сих пор людей немало, которые в действительности, в глубине своего сердца не верят в свободу. Уже в интересах самого дела стоит познакомиться также и с этими людьми, ибо по природе своей они отнюдь не одинаковы».

Далее Бакунин в духе классического политического памфлета дает блестящий анализ тогдашней европейской жизни и общественных сил накануне ожидаемой всеми буржуазной революции, призванной смести отжившие формы и институты (и прежде всего — монархические), мешающие дальнейшему развитию крупнейших стран Европы. Никто не брался предсказать, когда произойдут революционные события; подобно гигантской волне, они захлестнут европейский континент лишь спустя пять лет. Бакунин предвещает рево-

люционное обновление Европы лишь в самом общем виде, выражая надежду, что очистительный «девятый вал» докапится в конце концов и до России:

«<...> Вокруг нас появляются признаки, возвещающие нам, что дух, этот старый крот, уже почти закончил свою подземную работу и что скоро он явится вновь, чтобы вершить свой суд. Повсюду, особенно во Франции и в Англии, образуются социалистически-религиозные союзы, которые, оставаясь совершенно чуждыми современному политическому миру, почерпают свою жизнь из совершенно новых, нам неизвестных источников и развиваются и расширяются в тиши. Народ, бедный класс, составляющий, без сомнения, большинство человечества, класс, права которого уже признаны теоретически, но который до сих пор по своему происхождению и положению осужден на неимущее состояние, на невежество, а потому и на фактическое рабство, — этот класс, который, собственно, и есть настоящий народ, принимает везде угрожающую позу, начинает подсчитывать слабые по сравнению с ним ряды своих врагов и требовать практического приложения своих прав, уже всеми признанных за ним. Все народы и все люди исполнены каких-то предчувствий, и всякий, чьи жизненные органы еще не парализованы, смотрит с трепетным ожиданием навстречу приближающемуся будущему, которое произнесет слово освобождения. Даже в России, в этом беспредельном, покрытом снегами царстве, которое мы так мало знаем и которому, может быть, предстоит великая будущность, — даже в России собираются мрачные, предвещающие грозу тучи! О, воздух душен, он чреват бурями!»

Заканчивалась статья, подписанная псевдонимом *Жюль Элизар*, призывом, без цитирования которого с тех пор не обходятся ни одна работа о Бакуanine и хрестоматия по истории отечественной мысли: *«Дайте же нам довериться вечному духу, который только потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно созидающий источник всякой жизни. Страсть к разрушению есть вместе с тем и творческая страсть!»*

Цитируется, однако, как правило, только последнее предложение. И всю принципиальную позицию Бакунина тоже обычно сводят только к этому последнему тезису, именно с данной точки рассматривая бакунинский анархизм, как *абсолютное, голое, «зряшное»*, говоря словами Гегеля, *ОТРИЦАНИЕ*. Но ведь это полнейшее искажение и извращение мысли Бакунина! Даже из приведенного завершающего фрагмента статьи видно невооруженным глазом, что у Баку-

нина речь идет о разрушении как о *начальном этапе СОЗИДАНИЯ!* И страсть к разрушению как творческая страсть объявлена здесь *вечно созидающим источником всякой жизни!* Одним словом, *разрушение ради созидания, а не разрушение ради разрушения!* (Подобная же фальсификация, приписывание того, чего у него нет, и обвинение в том, чего он никогда не говорил и даже в мыслях не имел, одним словом, тотальные искажения и извращения — причем гораздо худшего порядка и гораздо большего масштаба — не только в отношении данной статьи, а касающиеся принципиальной позиции Бакунина по большинству теоретических и политических вопросов — сопровождали его в дальнейшем до самой смерти и не исчезли и после нее.) И вообще — пресловутая бакунинская «страсть к разрушению» никогда не означала взрывы и поджоги домов, фабрик, заводов, шахт, дамб или пускание под откос локомотивов, потопление пароходов и т. п. Для Бакунина «разрушение» означало прежде всего слом отживших свой век *государственной системы и общественных отношений*. Единственно, что «апостол разрушения» предлагал уничтожить в прямом смысле (хотя бы и взорвать) — это тюрьмы.

Собственно, ничего нового Бакунин не открыл — он просто бессознательно актуализировал старую как мир евангельскую истину: я разрушу храм и воздвигну другой (*Марк. 14, 58*), обычно она в сокращенно-афористической форме цитируется по-латыни: «*Destruam et aedificabo*» — «Разрушу и воздвигну».

Тем не менее статья Бакунина произвела ошеломляющее впечатление на большинство читателей журнала как в Европе, так и в России. Герцен, даже не подозревая, кто стоит за псевдонимом Жюль Элизар, записал в своем дневнике: «В одном из последних номеров («Немецких ежегодников». — *В. Д.*) была статья француза о современном духе реакции в Германии. Художественно превосходная статья. (Последняя оценка особенно лестна в устах блестящего литератора Герцена, которого Лев Толстой считал — и не без оснований! — лучшим беллетристом России. — *В. Д.*) И это чуть ли не первый француз... <...> понявший Гегеля и германское мышление. Это громкий, открытый, торжественный возглас демократической партии, полный сил, твердый обладанием симпатий в настоящем и всего мира в будущем». Можно представить удивление и радость Герцена, когда он узнал, кто скрывается за французским псевдонимом!

Вскоре о статье, о ее высокой оценке в европейской прессе и авторстве Бакунина узнал Чаадаев, внимательно сле-

дивший (насколько это позволяло его поднадзорное положение) за всеми европейскими философскими новинками. Столкнувшись с В. Г. Белинским, он не преминул сообщить ему, что немцы признали Бакунина первым знатоком своей высокоумной философии. Белинский писал по данному поводу сблизившемуся с ним Николаю Бакунину, учившемуся тогда в том же самом артиллерийском училище, что и некогда Михаил: «До меня дошли хорошие слухи о Мишеле, и я написал к нему. <...> Вы... <...> всегда желали и надеялись, что мы вновь сойдемся с Мишелем: ваше желание исполнилось. <...> Мы, я и Мишель, искали Бога по разным путям — и сошлись в одном храме. <...> Мишель во многом виноват и грешен, но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки: это — вечно движущееся начало, лежащее во глубине его духа».

В самом деле, даже на фоне других незаурядных публикаций «Немецких ежегодников» статья Бакунина выглядела настоящим перлом. Об этом и спустя четверть века говорил постаревший Арнольд Руге, проживавший в эмиграции в Лондоне, давно сменивший свои радикальные взгляды на поддержку политики Бисмарка и откликнувшийся на смерть Бакунина некрологом-воспоминанием, напечатанным в двух номерах немецкой эмигрантской газеты. Вкратце излагая основные идеи и выводы бакунинской статьи, Руге резонно отмечает, что она «содержит в себе весь характер Бакунина и дальнейшее развитие его мышления до социал-демократического включительно». 74-летний Руге и по прошествии стольких лет не переставал удивляться блестящему философскому языку давней-предавней статьи, как будто он познакомился с ней только что: «Когда мы ее читаем теперь и объясняем при помощи великих событий нашего времени, статья эта приводит нас невольно в изумление. <...> Мало сказать, что Бакунин имел немецкое образование; он был в состоянии философски намылить голову немецким философам и политикам и предсказать будущность, которую они добровольно или нет вызывали. <...> Я привел в доказательство этого некоторые места из замечательной маленькой статьи. Она заслуживает быть целиком заново прочтенной, и меня не удивляет, что некоторые посвященные, которым не чужды эливинские таинства бессмертной логики греков и немцев, вспоминают пророчески меткие слова Жюля Элизара [Михаила Бакунина] из “Deutsche Jahrbücher”. <...>».

В конечном счете в и без того радикальном младогегельянском течении Бакунин оказался самым левым на левом

фланге. Кроме того, в нем пробуждался *революционный практик*. Младогегельянцы «трубной громогласности»* в основной массе своей оставались кабинетными учеными. Когда же дело доходило до реализации их идей на практике, грозные диалектики становились беспомощней малых детей. Большинство из них были мастаками совершать революцию в умах и теоретических дискуссиях. Когда же в воздухе запахло порохом и Европу захлестнула настоящая революция, на баррикадах из всех корифеев младогегельянского движения (за исключением разве что рыжебородого Энгельса) был замечен лишь один русский Бакунин со своей знаменитой «львиной» гривой. И к смертной казни приговаривали *дважды* опять-таки одного Михаила Бакунина: в первый раз — к расстрелу, второй — к повешению...

* * *

Появление статьи в «Немецких ежегодниках», которое само по себе стало значительным событием в жизни русского революционера, совпало с другой поворотной точкой в его судьбе: Бакунин решил никогда более не возвращаться в Россию. В письме брату Николаю так объяснил свое решение:

«<...> После долгого размышления и по причинам, которые объяснит тебе Тургенев, я решился никогда не возвращаться в Россию. Не думаю, чтобы это было легкомысленное решение; оно связано с внутреннейшим смыслом всей моей прошедшей и настоящей жизни. Это моя судьба, жребий, которому я противиться не могу, не должен и не хочу. Не думай также, что мне было легко решиться на это, — отказаться навсегда от отечества, от вас, от всего, что я только до сих пор любил. Никогда я так глубоко не чувствовал, какими нитями я связан с Россией и со всеми вами, как теперь, — и никогда так живо не представлялась мне одинокая, грустная и трудная будущность, вероятно, ожидающая меня впереди на чужбине. И несмотря на это я безвозвратно решился. Я не гожусь теперешней России, я испорчен для нее, а здесь я чувствую, что я хочу еще жить, я могу здесь действовать, во мне еще много юности и энергии для Европы. Одним словом, худо ли, хорошо ли, но я решился и не переменю своего решения.

И вы, друзья, не забывайте меня. Мне будет очень груст-

* Главный программный памфлет Бруно Бауэра, фактически первый манифест младогегельянцев, назывался «Трубный глас страшного суда над Гегелем».

но одному. <...> Иногда мне становится страшно — все так пусто и безотраднo впереди, я буду один, без работы, может быть, даже и без всякого живого участия, но не бойтесь за меня, друзья, — я ведь русский человек и не позабыл слова “авось”, не бойтесь за меня — рано или поздно это должно было случиться. А вы знаете: “чему быть, того не миновать”... Не бойтесь за меня, потому что у меня есть дело, которое я люблю, которому я предан всей полнотой своего существования. Я до сих пор ни разу не изменил ему. Вся моя жизнь, все мои поступки, как бы они нелепы ни показались другим, были необходимыми ступенями моего приобщения к нему. И теперь также останусь я себе верным, и что бы там ни случилось, никогда не откажусь от того, что я считаю своим призванием».

Кроме того, Михаил, безусловно, понимал, что в России его ждет неприятный диалог с властями, и сие общение, более чем вероятно, завершится неправым судом и скорой расправой. Активная деятельность Бакунина и особенно его статья «Реакция в Германии» не остались без внимания бдительных немецких спецслужб, и он был взят под наблюдение прусской полицией. Еще раньше обнаружилась слежка, которую нельзя было квалифицировать иначе, как «привет» от русских тайных агентов и спецслужб, опекавших «засветившихся» соотечественников по всей Европе. Не желая испытывать судьбу, Бакунин решил перебраться в Швейцарию, что он и сделал вместе со своим новым другом Георгом Гервегом (1817—1875), сыгравшим впоследствии роковую роль в жизни Александра Герцена. Бакунин познакомился с Гервегом во время одной из поездок в Дрезден. Теперь же поэт, завоевавший популярность на родине смелыми революционными стихами на злобу дня, моментально становившимися народными песнями, и высланный за это в Швейцарию, наслаждался вместе с русским другом Мишелем относительной свободой и независимостью, коими традиционно славилась альпийская республика. Гервег имел «шарм», какой бывает у многих молодых поэтов, и пользовался колоссальным успехом у женщин.

Друзья поселились в одной квартире, где вскоре почти что ежедневно стал собираться полуинтеллектуальный-полу-богемный кружок таких же наслаждавшихся радостями свободной жизни молодых людей и бравшими от нее все, что только можно. Шум, гам, бурное веселье, легкое вино, чтение стихов, музицирование, танцы, симпатичные и не слишком обремененные условностями красотики — что еще нужно холостым мужчинам в их возрасте? Однако к Гервегу вскоре

приехала его невеста Эмма Зигмунд. Она была дочерью и богатой наследницей еврейского банкира и, став женой Гервега, сразу же взяла безденежного мужа на полное содержание. Хотя у Михаила с Эммой еще раньше сложились теплые, дружеские и достаточно неформальные отношения, все же ему пришлось искать себе другое пристанище. О своем житье-бытье в это время Михаил полушутя рассказал в письме к брату Павлу:

«Я живу здесь очень одиноко, нанял себе маленькую квартиру на самом берегу Цюрихского озера, передо мною все озеро и горы, вечно покрытые снегом. Вот тебе расположение моей комнаты:

- а) печка, хорошая, теплая,
- б) шкаф с книгами,
- с) два окна большие высокие, с двойными рамами, друг подле друга, так что почти составляют одно окно,
- д) диван, хороший, широкий, длинный и мягкий, с подушками, у самого окна,
- е) стол круглый у дивана,
- ф) бюро,
- г) стол,
- к) Zürichberg (гора, видимая из окна. — *В. Д.*).

Иногда я лежу по целым часам на диване и смотрю на озеро, на горы, которые особенно прекрасны при заходящем солнце, следую за маленькими изменениями этой картины, — а эти изменения беспрерывны, — и думаю, думаю обо всем: и грустно, и весело, и смешно, и впереди все покрыто туманом...»

Между тем Михаилу, помимо философских и нефилософских размышлений, постоянно не давала покоя весьма прозаическая, но исключительно неприятная проблема — долги. Его финансовые дела всегда были неупорядочены. Деньги (разумеется, когда они были) он тратил быстро и без оглядки, охотно делился последним рублем (маркой, франком, талером и т. д.) с любым нуждающимся. Должен он был почти всегда и почти что всем. Швейцария не спасала от кредиторов, и летом 1843 года Бакунин оказался перед перспективой долговой тюрьмы: необходимо было выплатить хотя бы 3 тысячи талеров в счет более серьезного долга, висевшего над ним как дамоклов меч. Из дома нерегулярно поступали мизерные суммы. Тургенев, взявший поначалу на себя обязательство выплачивать Бакунину ежегодный пенсион в тысячу талеров, сам находился в затруднительном положении. Руге уже неоднократно выручал Бакунина. В отчаянии Михаил написал брату Павлу, чтобы он

уговорил отца продать часть имения и таким образом спасти старшего сына от позора (другой вариант — заложить имение тетушки Анны Михайловны). Но родовое имение давным-давно было заложено, и Бакунин-старший с трудом находил деньги для выплаты ежегодных процентов.

* * *

Между тем философско-политический интерес Бакунина переместился в совершенно иную плоскость и оказался связанным с широко распространенным течением и учением — коммунизмом, призрак которого, как хорошо известно из другого первоисточника, уже давно бродил по Европе. Однако Михаил столкнулся с ним в лице вполне живого человека — портного Вильгельма Вейтлинга (1808—1871), чьи идеи пользовались все большей популярностью в Германии и немецкоговорящей части Швейцарии. Прежде всего Бакунин в один присест проглотил книгу немецкого коммуниста «Гарантии гармонии и свободы» (на ее издание четверо рабочих, друзей Вейтлинга, отдали все свои сбережения). В январе 1843 года он писал Арнольду Руге из Цюриха:

«Недавно вышло новое, первое немецкое коммунистическое сочинение некоего портного Вейтлинга (“Гарантии свободы и гармонии” Вильгельма Вейтлинга. Веве, декабрь 1842 года). Этот Вейтлинг очень беден, а так как никаких иных средств у него не было, то ему пришлось самому, то есть собственноручно, напечатать свою книгу. Это — действительно замечательная книга. Правда, вторая, органическая ее часть сильно пострадала благодаря односторонним, произвольным построениям, но первая, дающая критику современного положения, проникнута жизнью, а часто содержит верные и глубокие мысли. Чувствуется, что она написана на основании практического осознания современности; даже теоретические конструкции интересны, так как они представляют собой не продукт умеренной, интеллигентской теории, а выражение стремящейся возвыситься до сознания новой практики. Читая эту книгу, ощущаешь, что Вейтлинг высказывает именно то, что действительно чувствует и в качестве пролетария думает и должен думать. И это чрезвычайно интересно, можно даже сказать, самое интересное в наше время. Иногда он выражается весьма энергично:

<...> “И вот, читатель, если ты найдешь в этой книге истины, то возьмишь за их распространение, ибо нельзя терять времени. Миллионы несчастных созданий вопиют к Богу о помощи. Налогами и милостынею, законами и карами,

прошениями и религиозными утешениями здесь горю не поможешь. Старое зло вьелось слишком глубоко. Разрыв между добром и злом должен быть произведен путем катастрофы. Она не преминет разразиться, если каждый по мере сил будет стараться ее подготовить". <...> Если бы я вздумал выписать Вам все, что мне понравилось в этой книге, то мне не достало бы места. Вероятно, Вы эту книгу сами прочтете. Я непременно хочу познакомиться с этим Вейтлингом. <...>».

Эмигрант Вейтлинг в это время проживал в Цюрихе, и встретиться с ним не представляло никакого труда. Более того, Вейтлинг сам зашел к Бакунину. Позже он так рассказывал об этом эпизоде: «Гервег, находясь уже в Арговийском кантоне, прислал ко мне, с рекомендательною запискою, коммуниста портного Вейтлинга, который, отправляясь из Лозанны в Цюрих, по дороге зашел к нему, для того чтобы с ним познакомиться; Гервег же, зная, как меня интересовали тогда социальные вопросы, рекомендовал его мне. Я был рад этому случаю узнать из живого источника о коммунизме, начинавшем тогда уже обращать на себя общее внимание. Вейтлинг мне понравился; он человек необразованный, но я нашел в нем много природной сметливости, ум быстрый, много энергии, особенно же много дикого фанатизма, благородной гордости и веры в освобождение и будущность порабощенного большинства. Он, впрочем, не долго сохранил сии качества, испортившись скоро потом в обществе коммунистов-литераторов; но тогда он пришелся мне очень по сердцу; я так был перекормлен приторною беседою мелко-характерных немецких профессоров и литераторов, что рад был встретить человека свежего, простого и необразованного, но энергического и верующего. Я просил его посещать меня; он приходил ко мне довольно часто, излагая мне свою теорию и рассказывая много о французских коммунистах, о жизни работников вообще, о их трудах, надеждах, увеселениях, а также и о немецких только что начинавшихся коммунистических обществах. Против теории его я спорил, факты же выслушивал с большим любопытством...»

Как и следовало ожидать, новые коммунистические идеи целиком и полностью захватили Бакунина. Уже в середине 1843 года в цюрихской газете появилась его статья на немецком языке с кратким названием — «Коммунизм». В ней Бакунин писал: «<...> Мы вполне убеждены, что коммунизм в самом себе содержит элементы, которые мы считаем в высшей степени важными, даже более чем важными: в основе его лежат священнейшие права и гуманнейшие требования;

и в них-то и заключается та великая, чудесная сила, которая поразительно действует на умы. Коммунисты сами не понимают этой незримо действующей силы. Но только в ней и только благодаря ей они представляют нечто, без нее же они — ничто. Только эта сила в короткое время сделала коммунистов из ничего чем-то сильным и грозным, ибо не следует скрывать от себя: коммунизм стал теперь мировым вопросом, который ни один государственный деятель не может игнорировать, а тем более разрешать просто силой. <...>

Коммунизм нельзя упрекнуть в недостатке страсти и огня. Коммунизм — не фантом, не тень. В нем скрыты тепло и жар, которые с громадной силой рвутся к свету, пламень которого уже нельзя затушить и взрыв которого может стать опасным и даже ужасным, если привилегированный образованный класс не облегчит ему любовью и жертвами и полным признанием его всемирно-исторической миссии этот переход к свету. Коммунизм — не безжизненная тень. Он произошел из народа, а из народа никогда не может родиться тень. Народ — а под народом я понимаю большинство, широчайшую массу бедных и угнетенных, — народ, говорю я, всегда был единственною творческою почвою, из которой только и произошли все великие деяния истории, все освободительные революции. Кто чужд народу, того все дела заранее поражены проклятием. Творить, действительно творить можно только при действительном электрическом соприкосновении с народом. Христос и Лютер вышли из простого народа, и если герои французской революции могучей рукой заложили первый фундамент будущего храма свободы и равенства, то это удалось им только потому, что они возродились в бурном океане народной жизни. <...> Коммунизм исходит не из теории, а из практического инстинкта, из народного инстинкта, а последний никогда не ошибается. Его протест есть могучий вердикт человечества, святое и единоспасающее единство которого до сих пор еще нарушается узким эгоизмом наций».

До опубликования другого, более известного документа, под названием «Манифест коммунистической партии», принадлежащего перу Карла Маркса и Фридриха Энгельса, оставалось шесть лет. С ними, будущими вождями Интернационала, Бакунин познакомился примерно в то же самое время, хотя о их работах и активной общественно-политической деятельности знал и раньше, ибо Арнольд Руге являлся их общим знакомым и сподвижником. Сохранилась незавершенная, но достаточно полная рукопись Бакунина, озаглавленная «Мои личные отношения с Марксом». Она

написана в конце 1871 года, после разгрома Парижской коммуны, и опубликована в составе трехтомных «Материалов для биографии М. Бакунина», изданных в России в 20-х и 30-х годах XX века.

И в молодые годы, и на склоне лет Бакунин признавал, что Маркс долгое время оставался для него безусловным авторитетом. Спустя почти тридцать лет после их первой встречи Бакунин напишет: «Мы с Марксом — старые знакомцы. Я встретил его впервые в Париже в 1844 году. Я был уже эмигрантом. Мы сошлись довольно близко. Он тогда был гораздо более крайний, чем я, да и теперь он, если не более крайний, то несравненно учнее меня. Я тогда и понятия не имел в национальной (так в оригинале. — *В. Д.*) экономии, я еще не освободился от метафизических абстракций, и мой социализм был чисто инстинктивным. Хотя по годам и моложе моего, он уже был атеистом, ученым-материалистом и мыслящим социалистом. Как раз в это время он разрабатывал первоосновы теперешней своей системы. Мы встречались довольно часто, потому что я питал к нему большое уважение за его ученость и серьезную, страстную преданность делу пролетариата, хотя эта преданность и уживалась всегда в нем с личным честолюбием; я жадно искал бесед с ним, бесед, которые всегда были поучительны и остроумны, если только не вдохновлялись мелочной ненавистью, что, к сожалению, бывало слишком часто. Однако полной близости между нами не было никогда. Наши темпераменты не подходили друг к другу. Он называл меня сентиментальным идеалистом — и был прав; я называл его вероломным, коварным и тщеславным человеком — и тоже был прав».

Отношения между Бакуниным, Марксом и Энгельсом с самого начала их знакомства строились непросто. Очень скоро двое последних запятнают себя причастностью к оголтелой травле русского политического эмигранта, спровоцированной царскими жандармами и посольством России во Франции, распространившим клеветнические измышления о том, что русский невозвращенец якобы является тайным агентом российских спецслужб. Но и до этого Бакунин достаточно скептически оценивал Маркса и его окружение. Вот что он писал из Брюсселя в конце 1847 года Георгу Гервегу: «Многое смогу я тебе порассказать о здешнем времяпровождении. <...> Немцы же, ремесленники, <...> Маркс и Энгельс... и главным образом Маркс, сеют здесь свое обычное зло. Тщеславие, недоброжелательство, дразни, теоретическое высокомерие и практическое малодушие, рефлекти-

рование о жизни, деятельности и простоте — и полное отсутствие жизни, дела и простоты, литераторствующие и разглагольствующие ремесленники и противное заигрывание с ними, “Фейербах — буржуа” и словечко “буржуа”, ставшее эпитетом, до тошноты надоевшим вследствие повторения, — а сами с ног до головы насквозь захоластные буржуа. Одним словом, ложь и глупость, глупость и ложь. В этом обществе нельзя дышать свободно и полной грудью. Я держусь в стороне от них и решительно заявил, что не вступлю в их коммунистический союз ремесленников и не желаю иметь с ним ничего общего».

* * *

Между тем тучи сгустились сначала над Вейтлингом, а затем и над Бакуниным. Швейцарские власти, науськанные немецкой полицией, давно искали повод расправиться с портным-самоучкой за его коммунистические убеждения и их пропаганду. Наконец подходящая причина для расправы нашлась. Вейтлинг написал книгу «Евангелие бедного грешника» и опубликовал проспект своего нового сочинения, где утверждал, что первым пропагандистом коммунистического учения был не кто иной, как Иисус Христос, отвергавший собственность и семью, а вместо смирения и всепрощения проповедовавший борьбу против насилия и право на восстание. Швейцарские церковники в лице Цюрихской духовной консистории немедленно подали в прокуратуру заявление о том, что немецкий эмигрант занимается богохульством. И в ночь с 8 на 9 июня 1843 года Вейтлинга арестовали, а все найденные при обыске у него на квартире рукописи и письма конфисковали.

По решению суда, которого один из первых немецких коммунистов дождался в тюрьме, он был приговорен к десятимесячному заключению и принудительной высылке из «свободной» Швейцарии. При аресте Вейтлинга полиция обнаружила среди конфискованных бумаг документы, компрометирующие многих его друзей, в том числе и Бакунина. Поскольку в Цюрихе разворачивалась крупномасштабная «охота на ведьм», Бакунину пришлось срочно спасаться бегством и скрываться от вездесущих полицейских ищек. О дальнейших событиях впоследствии подробно рассказал Герцен:

«В 1843 году Бакунин, преследуемый швейцарскими реакционерами, был выдан одним из них, Блюнчли, и тотчас же получил приказание возвратиться в Россию. Блюнчли,

журналист и член цюрихского правительства, во время дела коммуниста Вейтлинга скомпрометировал множество людей. Имея в своих руках досье Вейтлинга и его друзей, он написал брошюру, в которой предал гласности то, что как должностное лицо должен был сохранять в тайне. Там не было ни одного письма к Бакунину или от него к Вейтлингу, но в какой-то записке Вейтлинг упоминал о русском социалисте Бакуanine. Этого было достаточно для Блюнчли. После его доноса возвращение на родину стало невозможным; вследствие этого Бакунин отказался подчиниться императорскому приказу. Тогда царь подверг его суду своего сената; Бакунина приговорили к лишению всех прав состояния и к вечной ссылке, как только он возвратится, “за неповиновение приказу его величества и за поведение, не достойное русского офицера”».

5 октября 1843 года в канцелярию министра иностранных дел Российской империи графа Карла Васильевича Нессельроде (1780—1862) поступил доклад от секретного агента из Швейцарии о предосудительном поведении русского подданного Михаила Бакунина, замеченного в постоянных контактах с немецкими и швейцарскими коммунистами. Аналогичная информация еще раньше поступала по дипломатическим каналам из Берлина. Донесение незамедлительно было переправлено шефу жандармов Александру Христофоровичу Бенкендорфу (1783—1844). По его указанию началось негласное дознание о семье Бакуниных и в особенности о выехавшем за границу старшем сыне Михаиле. Политический сыск в России во все времена работал четко, как швейцарские часы. Вскоре на столе Бенкендорфа лежала обстоятельная справка о финансовом положении и настроениях в семье Бакуниных, где младшее поколение (как братья, так и сестры), по общему мнению соседей и губернских должностных лиц, отличалось ярко выраженным мечтательно-философским складом.

Распоряжение главного жандармского начальника было кратким и недвусмысленным: «К отцу. Денег не посылать, его (старшего сына. — *В. Д.*) вытребовать. А когда приедет — надзор». Бенкендорф глядел в корень: главное, лишить строптивного диссидента источников существования, а там вскорости и сам приползет. Старик-отец расстроился несказанно, но строгий приказ немедленно принял к исполнению, о чем тотчас же доложил в столицу в верноподданническом письме. Но вскоре шеф жандармов (возможно, по подсказке государя) решил еще сильнее закрутить гайки и обратился к графу Нессельроде с новой настоятельной просьбой — ли-

шить Бакунина заграничного паспорта, отобрав таковой при появлении в первой же российской дипломатической миссии в любой европейской стране. Самому же отставному прапорщику Бакунину немедленно и не ссылаясь ни на какие предлоги вернуться в Россию, строго предупредив того, что в случае неисполнения указания он понесет ответственность по всей строгости закона.

Тем временем, скрываясь от швейцарской полиции и стараясь замести следы, Бакунин переезжал из одного кантона в другой. О решении царского правительства он узнал в русской дипломатической миссии в Берне, где ему предложили сдать загранпаспорт. Спасти его могла только хитрость, и Михаил заявил: дескать, паспорт забыл в гостинице, принести его сможет теперь только на следующий день, а сам выехал с первым же дилижансом в направлении границы с Германией, где для него уже повсюду были расставлены сети. По дороге известил письмом русскую дипмиссию в Берне, что неотложные дела требуют его присутствия в Лондоне, поэтому загранпаспорт он пока сдать не может. На самом деле он направлялся в Брюссель...

Игра в «кошки-мышки» не могла продолжаться до бесконечности. О вызывающем поведении и зломном неподчинении Бакунина доложили царю, и Николай повелел министру юстиции подвергнуть отставного прапорщика предусмотренным законами репрессалиям. Безжалостный механизм полицейского государства заработал на полную мощь. В результате — сначала Санкт-Петербургский надворный уголовный суд и Палата уголовного суда, а затем и Правительствующий сенат своим «решительным определением» от 26 октября 1844 года заключил: «...Отставного прапорщика Михаила Александровича Бакунина... лишив чина, дворянского достоинства и всех прав состояния, в случае явки в Россию, сослать в Сибирь, в каторжные работы, а имение его, какое окажется где-либо собственно ему принадлежащим, взять... теперь же в секвестр». Решение Сената скреплено собственноручной резолюцией Николая I: «Быть по сему». В одночасье вчерашний подданный Российской империи превратился в русского изгнанника и «гражданина мира». Всем делом его оставшейся жизни отныне станет *революция в любой стране, где бы он ни оказался*.

Бакунин к тому времени находился уже в Париже, куда прибыл из Брюсселя. Здесь он и дал блестящую отповедь своим гонителям и преследователям, опубликованную в виде письма на имя редактора прогрессивной французской газеты «Реформа»:

«Милостивый Государь! <...> Мое личное положение очень просто. Во время моего пребывания в Германии и в Швейцарии на меня был сделан донос русскому правительству как на близкого друга некоторых немецких публицистов, принадлежащих к радикальной партии, как на автора некоторых журнальных статей, особенно как на приверженца польской нации, столь благородной и столь несчастной, и как на явного врага того гнусного преследования, жертвой которого она продолжает быть; все это вещи очень мало преступные, без сомнения, но, тем не менее, совершенно достаточные, чтобы привести в беспокойство правительство, так ревниво относящееся к любви и уважению своих подданных, как наше.

Раньше мне было объявлено приказание немедленно возвратиться в Петербург, с угрозой, в случае неповиновения, всей строгостью законов. Я знал, что меня ожидает по возвращении. Предпочитая свободный воздух Западной Европы удушливой атмосфере России, я уже очень давно имел твердое намерение навсегда покинуть свое отечество. Я ответил решительным отказом, все последствия которого я предвидел; мне не было неизвестно, что, сообразно законам, которые управляют моей страной, не подчиняясь правительству, я совершал преступление, почти равное оскорблению величества. Я бы не хотел, Милостивый Государь, жаловаться теперь на указ, который, говорят, ведет к лишению меня дворянства и ссылке в Сибирь; тем более, что из этих двух наказаний на первое я смотрю как на настоящее благодеяние, а на второе, как на лишний повод поздравить себя с тем, что я нахожусь во Франции. <...>

В России нет никакой другой хартии, кроме неограниченной воли Императора; что, соединяя согласно основному закону Империи всю политическую власть в своем лице, свободный от всякого контроля, единый принцип всякой законности в России, — Император не уважает ни привилегий, ни прав, и что, следовательно, он есть как на деле, так и по праву абсолютный хозяин над жизнью и честью всех своих подданных без исключения. Мне многого стоит, Милостивый Государь, обнаруживать таким образом печальное положение моего отечества; но я считаю иллюзии опасными. Я думаю, что всегда хорошо говорить истину, потому что только в одной истине можно черпать силы, чтобы сражаться со злом, от которого страдаешь. <...>

Не думайте, Милостивый Государь, что демократия возможна на моей родине. Что касается меня, я совершенно уверен, что это единственная вещь, которая там действи-

тельно возможна, и что все другие политические формы, какое бы название они ни принимали, будут так же чужды и ненавистны русскому народу, как и теперешний режим. Ибо русский народ, Милостивый Государь, несмотря на ужасное рабство, которое его давит, и несмотря на палочные удары, которые сыплются на него со всех сторон, имеет инстинкты и ход развития совершенно демократические. Он еще вовсе не испорчен, он только несчастен. В его полуварварской природе есть что-то такое энергичное и такое широкое, такое обилие поэзии, страсти и ума, что невозможно не быть убежденным, зная его, что ему предстоит еще совершить великую миссию в этом мире. Все будущее России заключается в нем, — в этой массе людей, такой многочисленной и такой внушительной, которая говорит одним языком и которая будет скоро, я уверен, воодушевлена одним чувством и одною страстью.

Ибо русский народ идет вперед, Милостивый Государь, несмотря на всю злую волю правительства; частичные и очень серьезные возмущения крестьян против своих господ, — возмущения, которые учащаются страшным образом, слишком доказывают это. Не очень далек, может быть, момент, когда они все соединятся в одну великую революцию; и если правительство не поспешит освободить народ, будет много пролито крови. <...>».

В Париже Бакунин тотчас же развил активную деятельность. Его по-прежнему тянуло к социалистам и коммунистам всех мастей. Он встречался с Этьеном Кабе — автором знаменитого утопического романа «Путешествие в Икарию», с Виктором Консидераном — последователем великого утописта Шарля Фурье и после смерти последнего лидером европейских фурьеристов, с христианским социалистом Фелисите Робером де Ламенне и с либеральным социалистом Луи Бланом. Наконец, именно здесь, в Париже, состоялось его личное знакомство с Карлом Марксом. Жизнь Михаила в Париже описана многими мемуаристами. Среди них Авдотья Яковлевна Головачева (1819—1893), бывшая в описываемый период женой И. И. Панаева, а в дальнейшем ставшая гражданской женой Н. А. Некрасова. В 1845 году она оказалась в Париже как путешественница. Наблюдательная женщина и писательница, пользовавшаяся популярностью у невзыскательного читателя, она обратила внимание на ряд таких деталей, какие наверняка прошли бы мимо внимания мужчин. Один из эпизодов касается их общего знакомого В. П. Боткина, неуклюже подшутившего над Бакуниным во время совместного обеда в ресторане.

«Раз за обедом, — рассказывает Панаева, — он [Боткин] стал укорять в попрошайстве Бакунина, который, не получая денег из России, сидел без копейки и занял у него 50 франков. Меня это страшно возмутило, и я высказала, что приятелям Бакунина стыдно не помочь ему, когда они сами тратят по сто рублей на ужины и обеды для первой встречной на улице француженки. Все пришли в изумление от моих слов, привыкнув, что я всегда молчала; но мое терпение лопнуло. На каждом шагу я видела красноречивое противоречие их поступков с проповедуемыми ими возвышенными, гуманными воззрениями на вещи. Но, главное, все присутствующие знали, что Бакунин потому сидел без копейки, что спас одно русское семейство от голодной смерти; он заплатил долг соотечественника, который давно уже жил в Париже на трудовые гроши, но заболел, пролежал больной два месяца, вследствие чего задолжал, и его хотели посадить в тюрьму; тогда жена и дети должны были бы идти просить милостыню».

Авдотья Панаева неоднократно встречалась с Бакуниным, в том числе и у него на квартире, познакомилась благодаря ему с молодым тогда еще Джузеппе Гарибальди — будущим национальным героем Италии. Перед отъездом Авдотьи Яковлевны в Россию Бакунин попросил ее передать привет Белинскому и какое-то деловое предложение. Вот что рассказывает об этом сама Панаева:

«Бакунин при прощании просил меня сообщить Белинскому об одном проекте, который он задумал. Он часто говорил со мной о Белинском и сожалел, что тот напрасно тратит свои силы и способности, пытаясь втиснуть в узкую рамку литературы свою деятельность, что его могут удовлетворять односторонние литературные интересы.

— Он жестоко ошибается, — говорил Бакунин. — В нем клокочут самые животрепещущие общечеловеческие вопросы. Он преждевременно истлеет от внутреннего огня, который постоянно должен тушить в себе. Непростительно такому даровитому человеку, подобно беспутному моту, расточать свое духовное богатство без пользы. Возможно ли человеку свободно излагать свои мысли, убеждения, когда его мозг сдавлен тисками, когда он может каждую минуту ожидать, что к нему явится будочник, схватит его за шиворот и посадит в будку! Право, смешно и даже обидно смотреть, что человек при такой обстановке лезет из кожи, дурачит самого себя надеждами, что может что-нибудь сделать для общей пользы. Ужасная минута ожидает Белинского, когда он, искалеченный физически и нравственно, вдруг

прозрит, что его деятельность, над которой он столько лет медленно изнывал, гроша не стоит!

Когда мы вернулись в Петербург, Белинский пришел к нам в тот же вечер. Я нашла в нем большую перемену: он похудел, сгорбился и сильно кашлял; какая-то апатия появилась в нем. Мне удалось только на другое утро сообщить ему то, что просил меня передать Бакунин. Белинский выслушал меня и сказал:

— Я знаю без него, что истлею преждевременно при тех условиях, в которых нахожусь; но все-таки не намерен осуществить его план. Между ним и мной огромная разница: во-первых, он космополит в душе; во-вторых, с своим знанием языков и энциклопедическим образованием он может чувствовать твердую почву под своими ногами, где бы он ни очутился. А что же я-то буду делать, если меня оторвать от моей почвы и от моей деятельности, в которую я вложил свою душу? Я также прекрасно вижу, что не могу принести той пользы, к которой порываюсь, но лучше сделать мало, чем ничего!.. Это он зафантазировался! Ведь это было бы одно и то же, что захотеть развести в Италии березовую рощу, привезти отсюда с корнями большие деревья и посадить на плодотворную почву. Ну, что бы вышло? Завяли бы все деревья! Такова и его фантазия о колонии русских в Париже. Бакунин — блестящий теоретик и слишком увлекается своими отвлеченными фантазиями. Он воображает, что все делается, как в сказке: окунулся Ванька-дурак в чан и вынырнул оттуда красавцем, весь в золоте, и зажил царем!»

И все же Михаилу и Виссариону суждено было встретиться еще раз. Это было в июле 1847 года как раз в Париже, куда Белинский заехал после лечения в Германии. Встреча происходила в одном из парижских ресторанов, облюбованных русскими для общения и праздного времяпрепровождения.

Вообще русские вели в Париже неупорядоченный и разгульный образ жизни: направо и налево сорили деньгами (пока таковые не заканчивались), посещали не только музеи и театры, но и кафешантаны, танцевальные залы, злачные места, где по вечерам поджидали кавалеров очаровательные французские гризетки, и, наконец, часами (а то с самого утра и до самого вечера) горячо дискутировали за стаканом вина или бокалом шампанского на острые политические темы — непозволительная роскошь в оставленной ненадолго России. В одном из парижских писем к Эмме Гервег, покинувшей на время русских друзей, Бакунин спрашивает: «<...> Рассказывать ли Вам обо всем, о чем мы болтали в

этот вечер? Разве Вы не устали от русских и разве Вам не надоело это бесплодное воодушевление, эта платоническая любовь к свободе, прекрасные мечтания, уносящие в голубую высь всех этих симпатий и стремлений, которые только там далеко, в Турции и в Азии, и то едва ли через два-три столетия, найдут свое осуществление?»

* * *

Понятно, что нормальный, здоровый, к тому же интересный, полный сил и энергии мужчина не мог не обращать внимания на окружающих его хорошеньких женщин (и, что вполне естественно, избежать внимания с их стороны). Об одной такой, имя которой тщательно скрывал, он написал брату Павлу в марте 1845 года:

«<...> Я люблю, Павел, я люблю страстно. Не знаю, могу ли я быть любимым так, как я этого хотел бы, но я не прихожу в отчаяние. Во всяком случае я знаю, что ко мне питают большую симпатию. Я должен и хочу заслужить любовь той, которую я люблю, любя ее религиозно, то есть деятельно. Она находится в самом ужасном и самом позорном рабстве, и я должен освободить ее, борясь с ее угнетателями и возжигая в ее сердце чувство собственного достоинства, пробуждая в ней влечение к свободе и потребность ее, инстинкты возмущения и независимости, вызывая в ней самой сознание своей силы и своих прав. Любить — это значит желать свободы, полной независимости другого; первое проявление истинной любви — это полное освобождение предмета любви. Истинно любить можно только совершенно свободное существо, независимое не только от всех других, но и — и даже главным образом — от того, кто его любит и им сам любим. Вот мое исповедание веры, политическое, социальное и религиозное, вот сокровенный смысл не только моих политических действий и стремлений, но в меру сил моих и моей частной и личной жизни. Ибо то время, когда эти две стороны деятельности могли отделяться одна от другой, давно уже прошло. Теперь человек хочет свободы во всех значениях и приложениях этого слова или не хочет ее совсем. Любя, желать зависимости того, кого любишь, значит любить вещь, а не человека, ибо *человек отличается от вещи только свободой*; если бы любовь включала в себя и зависимость, то она была бы вещью самую опасную и самую отвратительную в мире, ибо она была бы тогда неиссякаемым источником рабства и отупения для человечества» (выделено мной. — В. Д.).

В свое время историки потратили немало усилий, чтобы выяснить, кто же на самом деле была эта «таинственная незнакомка». Высказывалось даже более чем экстравагантное предположение, что это была Жорж Санд. Действительно, в Париже Бакунин познакомился с известной писательницей, давним поклонником которой он уже являлся много лет. Представил Мишеля Авроре Дюпен (ее настоящее имя) и неразлучному с ней Шопену Арнольд Руте. (Надо полагать, Шопен был приятно удивлен, когда Бакунин заговорил с ним по-польски.) Между будущим «апостолом свободы» и «пророчицей женской эмансипации» сложились дружеские отношения, однако вряд ли они перешли в нечто большее (хотя французскую писательницу всегда притягивали импозантные мужчины). Те же, кто высказывал предположение о их более близких отношениях, в качестве аргумента приводили тот факт, что первой и единственной, кого письменно известил Бакунин о своей высылке из Парижа, была именно Жорж Санд:

«14 декабря 1847 г.

Париж, Улица Сен-Доминик, 96. Предместье Сен-Жермен.
Madame! <...> Я сию минуту получил приказание покинуть Париж и Францию за то, что нарушил общественную тишину и спокойствие. Позвольте же, м[илоствивая] г[осударыня], прежде чем уехать, выразить Вам мою признательность за благосклонность и доброту, которые Вы мне всегда оказывали, верьте моей преданности, глубокой и неизменной, и сохраните хотя небольшую память о человеке, который Вас почитал прежде даже, чем познакомился с Вами, ибо Вы бывали для него часто и в самые печальные минуты его жизни утешением и светом. Мой адрес, если Вы соблаговолите отвечать мне, следующий: Париж, улица Бургонь, № 4, предместье Сен-Жермен, г. Рейхелю, профессору музыки, для передачи г. Бак[унину]».

Не все письма Бакунина к Жорж Санд, относящиеся к данному периоду, сохранились. По крайней мере известно, что одно сугубо личное письмо Михаила, адресованное «лучшей великой женщине, какая только есть на свете» (как ее называли при жизни), в феврале 1849 года передавала из рук в руки Полина Виардо — подруга Ивана Тургенева. Большинство биографов Бакунина все же сошлись на мнении, что страстным парижским увлечением Михаила следует признать Иоганну Пескатины, жену его друга еще по жизни в Цюрихе Паоло Пескатины — умеренного итальянского республиканца, доктора права и певца-любителя.

Впрочем, имеется еще одна кандидатура на роль париж-

ской возлюбленной — Мария Полуденская, сестра университетского товарища Герцена Николая Сазонова (в «Былом и думах» ему посвящена отдельная глава) и знакома Бакунина еще по диалектическим баталиям в московских салонах. Мария, незадолго до того похоронившая мужа (также общего знакомого Бакунина и Герцена), приезжала к брату в Париж, потом некоторое время находилась в Брюсселе, куда переехал высланный из Франции Михаил. Позже, при его аресте была конфискована пачка любовных писем, полученных от Марии Полуденской; по накалу страсти они мало чем отличаются от аналогичных писем Александрины Беер. Письма эти многие десятилетия пролежали в полицейском архиве, пока не стали достоянием историков...

* * *

Ностальгия по прошлому и тоска по братьям и сестрам время от времени давали себя знать очень остро. 1 мая 1845 года Бакунин пишет друзьям из Парижа: «Милые друзья! Как часто я вспоминаю о вас! Теперь утро. Я сейчас только проснулся. Меня разбудили звуки чудной фантазии. В соседней комнате Рейхель играет на фортепьянах, чистый утренний воздух освежил мою комнату и наполнил ее весенним благоуханием цветов, стоящих у меня на окне. Все это очаровало меня и напомнило мне то прекрасное лето в Прямухине, которое началось приездом моим к вам с Лангером и Полем (в июне 1837 года. — *В. Д.*); наши общие прогулки, чтение, священный восторг, наполнявший наши души и сливавшийся жизни наши в одну жизнь, в одно трепетное ожидание чего-то великого, в одно общее действие для нашего взаимного освобождения. Боже мой! сколько времени прошло с тех пор! Как все переменилось! Мы разлучены, оторваны друг от друга навсегда, но воспоминания живы во мне, они не лишились силы волновать мою душу и проникать ее любовью и верою. Вы живете во мне, я не изменил старым верованиям и привязанностям, прошедшее для меня священно; оно присутствует во мне как живой источник силы и развития; опытность, трудности, препятствия, которые я так часто встречал на пути своем, не сломили [ни] моей воли, ни моей веры! Я не преклонился перед так называемыми необходимостями действительного мира и вражду с ними по-прежнему и по-прежнему надеюсь победить их; моя вера, безусловная вера в гордое величие человека, в его святое назначение, в свободу как единственный источник и единственную цель его жизни осталась непоколебима, не

только что не уменьшилась, но увеличилась, окрепла и расширилась в борьбе. “Все или ничего” — вот мой девиз, мой воинственный клик, и я ни на шаг не отступлю от своих требований.

Вы видите, друзья, я не переменялся. А вы? Я боюсь спрашивать. Ваше грустное заточение, — вы окружены таким пошлым миром, заключены в такие тесные границы; сердца ваши не изменились, не могли измениться, они так же благородны, так же полны любви, как и прежде, вы не можете перестать и никогда не перестанете любить; но вы, может быть, устали, утратили веру; уныние, может быть, овладело вами, и вы ничего более не ожидаете для себя? О, друзья, если б я был с вами, я снова пробудил бы вас к жизни! Зачем меня нет с вами? Помните, как я переводил Беттину (популярные в то время в Европе беллетризированные мемуары Беттины Brentano «Переписка Гёте с ребенком». — В. Д.) ночью в маленьком саду, на гроте, при свете фонаря! Помнишь, Павел, как мы с тобой укрывались от июльского жара под гротом, как мы занимались посреди воды на камешках, а Илья в доказательство своей отваги бросился в чан, наполненный ключевой водою, и пробыл там до тех пор, пока совсем посинел? Помнишь, Алексей, как мы с тобой вечером сидели у моста на бревнышке и говорили о том, как к нам вдруг явятся Станкевич и все великие люди прошедшего и как мы с ними будем разговаривать? Помните, сестры, как в конце лета мы вместе гуляли по нашей любимой лопатинской дороге? Это было вечером, уж было темно; Саша в белом платье стала на забор и представляла привидение, а я, весь черный, в виде черта крался к ней. Помните то чудное, теплое, свежее утро, когда мы вместе читали Беттину, сидя у забора подле маленькой роши, и Варенька прибежала с известием, что приехал Дьяков? Борьба за ее освобождение должна была начаться; мы были все так торжественно настроены, и вдруг проехала бабушка и дала нам выборгских кренделей. Помните, как весною, перед отъездом Вареньки за границу, в страстную неделю, мы разводили огонь в маленькой роще, и больная Любаша приехала к нам на дрожках? Этим кончается ряд свежих, живительных воспоминаний, — после этого все было тяжело! В моей душе еще много других воспоминаний; эти воспоминания — мое лучшее сокровище: они хранят и поддерживают меня и связывают меня с вами неразрывными узами. <...>».

Упомянутый в письме Адольф Рейхель — «истинный и единственный» друг Мишеля (так он назовет его в своей «Исповеди», написанной для царя). Они познакомились еще

в Дрездене, но по-настоящему сблизилась в Швейцарии. С тех пор их дружба не прерывалась до самой смерти (Рейхель с женой спустя более тридцати лет ухаживали за Бакуниным, умиравшим в Бернской больнице для бедных). Дружба вместе выехали из Швейцарии в Париж и долгое время жили в одной квартире. Профессиональный музыкант и немало композитор Рейхель с утра до вечера музицировал на фортепиано. Михаилу же такая жизнь доставляла подлинное удовольствие. Вскоре, однако, он осознал, что вот уже почти два года он не получал из Прямухина писем. В отчаянии он пишет письмо сестре Татьяне:

«<...> Пять лет прошло с тех пор, как мы расстались! Братья и сестры успели перемениться; они сделались благо-разумными, действительными людьми, и мать их после долгих трудов и долгих страданий сделалась наконец счастливой матерью! Какая же может оставаться связь между ими и мною? Я должен быть им благодарен, если они меня только не проклинают за беспокойство за совершенно пустое и бесплодное волнение, внесенное мною некогда в жизнь их; без него они без всякого сомнения были бы уже давно готовыми и счастливыми людьми. Я был единственною преградой между ими и любящим сердцем матери, — преграда эта к счастью исчезла, и единомыслие, единодушие восстановилось между счастливыми детьми и торжествующею родительницею! Я не переменялся — года и опыт не только что не разрушили моих старых верований, но укрепили и расширили их во мне; наши пути поэтому совершенно различны, с каждым днем мы будем расходиться более и более, а потому очень естественно, что они начинают позабывать и скоро совсем забудут меня. Я ж с своей стороны, убедившись наконец в этом, пожелаю им один раз навсегда счастья и также постараюсь более не думать об них, хотя мне это будет и несколько труднее, чем им, потому, во-первых, что я один, в то время как они более или менее вкушают семейное счастье, а во-вторых, потому, что во мне, по-видимому, и наперекор всем, упрекающим меня в противном, более любви, верности и памяти сердца, чем во всех них вместе.

Итак, я решился бы наконец сказать себе, что у меня нет более ни сестер, ни братьев, если бы между ними не было тебя и Павла, мой милый друг. Но в вас двух я не могу сомневаться; для этого вы должны бы были сами сказать мне, что вы перестали любить меня, да и тогда бы я не поверил вам, потому что это невозможно, потому что я слишком глубоко чувствую противное. Вот почему я обращаюсь к тебе и единственно только к тебе, моя добрая, единственная сест-

ра. Павла нет с тобой, а другие?.. Говоря с другими, я чувствую, что я говорил бы холодно и несвободно. Другим до меня нет дела, тебе ж мое письмо доставит хоть одну отрадную минуту... оно напомнит тебе, что далеко, далеко от тебя живет человек, который страстно любил тебя и который до сих пор хранит память твою как святыню.

Милая Танюша, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что тебе грустно и тяжело жить, что дни твои протекают теперь в глубокой и безмолвной тоске, что страстное сердце твое, измученное неудовлетворенною потребностью любви и жизни, заключилось в самом себе и бесконечно страдает в этом гордом и неприступном одиночестве; мне кажется, что на развалинах нашего старого прямухинского мира, юношеских верований и ожиданий, брошенных и позабытых другими, ты осталась одна, и что у тебя нет человека, нет друга, которому бы ты хотела, которому бы ты могла передать свою печаль. Милая, если догадки мои справедливы, вспомни, что у тебя есть еще один верный, неизменный друг, который не только что не утратил способность понимать тебя, но в котором она усилилась опытом и жизнью, направленною к единой благородной цели. Да, Танюша, я чувствую, что я теперь более чем когда-нибудь способен быть твоим истинным другом. Как бы я ходил за тобой, если б мы были вместе, как бы старался разогреть твое сердце. Милый друг, дай мне твое горе, — я имею на него неотъемлемое право. Скажи мне живое слово, дай волю твоему сердцу, твоим чувствам. Пиши мне, ведь это не невозможно, посылай с кем-нибудь (а не по почте) свои письма. <...> Повторяю еще раз, я не могу сомневаться в твоей любви. Милый друг, с некоторого времени у меня есть фантазия, — ведь для людей с волею и с любовью ничто не невозможно, — может быть, через несколько лет мы встретимся в Париже и будем жить вместе. Подумай хорошенько об этом, — ты хоть под конец своей жизни, хоть один раз вздохнешь широко и свободно! и мы еще раз увидимся! Я ничего не пишу о себе, я прежде хочу снова услышать твой голос, тогда я много, много скажу тебе, а теперь прощай, помни, люби меня и верь в горячую и неизменную любовь твоего брата и друга».

Неожиданный, прямо скажем, душевный поворот (точнее — переворот), если сравнить это письмо с ранее приводимым прощальным посланием, написанным перед отъездом за границу. Но вскоре политические события во Франции и в Европе отодвинули в небытие его душевные муки и терзания...

В марте 1847 года в Париж приехал Герцен, наконец-таки вырвавшийся из России. На его глазах происходило сближение Бакунина с Прудонем. Пьер Жозеф Прудон (1809—1856) — заметная величина во французской истории и общественной мысли. Сын неграмотного крестьянина и гениальный самоучка, по профессии типографский рабочий, он прославился на всю Европу острой политической публицистикой, был депутатом Национального собрания, подвергался травле и преследованиям, дважды заключался в тюрьму за оскорбление властей и умер в нищете, такой же, с какой начиналась его трудная жизнь. В предреволюционные годы на всю Европу прогремела его книга «Что такое собственность? Изыскания о принципе права и правительственной власти», где красной нитью проведена идея, понятная любому обездоленному: «Собственность есть кража».

Афоризм сей, приписываемый обычно Прудону и сделавшийся благодаря его книге крылатой политической фразой, на самом деле был известен давным-давно. Он имел хождение уже во времена Великой французской революции, приписывался одному из лидеров жирондистов Жану Пьеру Бриссо (1754—1793), но использовался разными политиками-популистами в основном в антифеодальных выступлениях. Сам Прудон назвал этот лозунг «набатов 1793 года» — апогея якобинской диктатуры. Однако исследователи-буквоеды установили, что высказывание «Собственность есть кража (или воровство)» уже в VI веке встречалось в творениях одного из христианских «отцов церкви» Василия Великого, а в XIII веке ту же самую мысль высказывал раввин Иегуди бен Тимон.

Заслуга же Прудона состояла в том, что он еще раз доказал эту в общем-то бесспорную истину на современном материале. Его прозрачная, как стеклышко, мысль была понятна даже неграмотным рабочим и крестьянам: любая собственность (а также извлекаемые из нее рента и прибыль), приобретенная нетрудовым путем, служит для эксплуатации человека человеком. А для увековечения такого рабского, по существу, положения создан и процветает на протяжении тысячелетий институт *государства*. «Как государственная религия есть подавление сознания, — писал Прудон, — так и административная централизация есть кастрация свободы». Чтобы перейти к справедливому общественному строю, основанному на равенстве, необходимо прежде всего «упразднить современное государство, заменив его *свободным союзом свободных людей, связанных между собой свободным договором*. Ничем, кроме соблюдения условий та-

кого договора, свободный человек с остальными такими же свободными людьми *не связан* и никому ничем *не обязан!*»

Отсюда и проистекает так называемый *анархизм* Прудона, ставящий его в один ряд с другими антигосударственно настроенными мыслителями. Эта антигосударственная позиция выражена во многих его работах, в частности в трактате «Что такое собственность?»: «Что касается меня, я поклялся и останусь верен своему разрушительному делу, *буду искать истину на развалинах старого строя*. Я ненавижу половинчатую работу; и вы можете мне верить, читатель: если я осмеливался занести руку на новые заветы, я не ограничусь уже только тем, что сниму с него крышку. Нужно развенчать таинства святая святых несправедливости, разбить скрижали старого завета и бросить все предметы старого культа на съедение свиньям (выделено мной. — В. Д.)».

Для налаживания справедливого обмена между работниками ассоциаций, основанных на началах взаимопомощи, Прудон предлагал ряд конкретных экономических шагов, некоторые из них (организация народного банка, создание «народных денег» и др.) безуспешно пытался осуществить на практике. Популярность гениальной самоучки во Франции была фантастической. Достаточно сказать, что и спустя пятнадцать лет после его смерти при избрании депутатов Парижской коммуны самая большая фракция оказалась состоящей из прудонистов. У него всегда было бесчисленное множество врагов — от осатанелых буржуа, неоднократно засаживавших его в тюрьму, до бывшего приятеля Маркса, написавшего в ответ на один из главных трудов Прудона «Философия нищеты» язвительный многостраничный памфлет под хлестким названием — «Нищета философии».

Герцен же характеризовал Прудона так: «В этом отрицании, в этом улетучивании старого общественного быта — страшная сила Прудона; он такой же поэт диалектики, как Гегель — с той разницей, что один держится на покойной выси научного движения, а другой втолкнул в сумятицу народных волнений, в рукопашный бой партий. Прудоном начинается новый ряд французских мыслителей. Его сочинения составляют переворот не только в истории социализма, но и в истории французской логики. В диалектической дюжести своей он сильнее и свободнее самых талантливых французов. <...> Говорят, что у Прудона германский ум. Это неправда, напротив, его ум совершенно французский; в нем тот родоначальный галло-франкский гений, который является в Рабле, в Монтене, в Вольтере и Дидро... даже в Паскале. Он только усвоил себе диалектический метод Гегеля... <...>».

Дружба двух будущих «отцов анархии» произвела на Герцена неизгладимое впечатление. Его воспоминания и сегодня читаются так, как будто в них речь идет о только что увиденном и услышанном: «Бакунин жил тогда с А. Рейхелем в чрезвычайно скромной квартире за Сеной, в Rue de Bourgogne. Прудон часто приходил туда слушать Рейхелева Бетховена и бакунинского Гегеля — философские споры длились дольше симфоний. Они напоминали знаменитые всенощные бдения Бакунина с Хомяковым у Чаадаева, у Елагиной о том же Гегеле. В 1847 году Карл Фогт, живший тоже в Rue de Bourgogne и тоже часто посещавший Рейхеля и Бакунина, наскучив как-то вечером слушать бесконечные толки о феноменологии, отправился спать. На другой день утром он зашел за Рейхелем, им обоим надобно было идти к Jardin des Plantes (Ботанический сад. — В. Д.); его удивил, несмотря на ранний час, разговор в кабинете Бакунина; он приотворил дверь — Прудон и Бакунин сидели на тех же местах перед потухшим камином и оканчивали в кратких словах начатый вчера спор».

По свидетельству другого мемуариста — П. В. Анненкова, также жившего тогда в Париже, — Прудон специально для встречи с Бакуниным приглашал к себе знакомых и полушутя предупреждал их: «Я вам покажу чудище по сжатой диалектике и по лучезарной концепции сущности всяческих идей». Ахиллесовой пятой самоучки Прудона было незнание немецкого языка, хотя он самостоятельно освоил древнегреческий и древнееврейский. Отсюда невозможность знакомиться с корифеями немецкой диалектики на языке оригинала, а французские переводы страдали упрощениями и смысловыми искажениями*. Поэтому Прудон был особенно благодарен другу Мишелю за то, что тот терпеливо разъяснял ему глубины гегелевской диалектики.

* * *

Между тем события развивались своим чередом. Бакунин давно уже искал контакта с польскими эмигрантскими кругами, лелея надежду объединить российские революционно настроенные силы с польским освободительным движени-

* Общеизвестен исторический анекдот: осенью 1827 года Гегель ненадолго приехал в Париж, где должен был выступить с лекцией. К нему обратились с просьбой: «Нельзя ли, чтобы господин профессор изложил свое учение вкратце, популярно и по-французски?» На что великий философ спокойно ответил: «Мою систему нельзя изложить ни вкратце, ни популярно, ни по-французски».

ем. Еще в Брюсселе он познакомился с эмигрантом Иоахимом Лелевелем (1786—1861) — патриархом, лидером и идеологом польского национально-освободительного движения. В начале 1830-х годов, в Париже, он выступил с воззванием «К братьям русским», где призывал к совместной борьбе против царского деспотизма, за что был выслан из Франции в Бельгию. Позже Бакунин рассказывал: «В Брюсселе я познакомился с Лелевелем. Тут в первый раз мысль моя обратилась к России и к Польше; бывши тогда уж совершенным демократом, я стал смотреть на них демократическим глазом, хотя еще неясно и очень неопределенно: национальное чувство, пробудившееся во мне от долгого сна, вследствие трения с польскою национальностью, пришло в борьбу с демократическими понятиями и выводами. С Лелевелем я виделся часто, расспрашивал много о польской революции, о их намерениях, планах в случае победы, о их надеждах на будущее время, — и не раз спорил с ним, особенно же на счет Малороссии и Белоруссии, которые по их понятиям должны бы были принадлежать Польше, по моим же, особенно Малороссия, должны были ненавидеть ее, как древнюю притеснительницу. <...>».

К Бакунину польские эмигранты относились поначалу сдержанно. Лед и излишнюю подозрительность в их отношениях растопила пламенная речь, произнесенная им 29 ноября 1847 года на банкете, устроенном в честь годовщины польского восстания 1830—1831 годов. Речь Бакунина была напечатана в оппозиционной газете, в ней содержалась программа объединения русских и польских революционных сил под лозунгом «За нашу и вашу свободу!». Вот несколько наиболее важных фрагментов из пространной речи:

«Господа! Настоящая минута для меня очень торжественна. Я русский и прихожу на это многочисленное собрание, которое сошлось, чтоб праздновать годовщину польского восстания, и которого одно присутствие здесь есть уже род вызова, угроза и как бы проклятие, брошенное в лицо всем притеснителям Польши; — я прихожу на него, господа, одушевленный глубокою любовью и непоколебимым уважением к моему отечеству.

Мне безызвестно, насколько Россия не популярна в Европе. Поляки смотрят на нее, не без основания, быть может, как на одну из главных причин их несчастий. Люди независимые в других странах видят в столь быстром развитии ее могущества опасность, постоянно растущую, для свободы народов. Повсюду имя русского является синонимом грубого угнетения и позорного рабства. Русский, во мнении Ев-

ропы, есть не что иное, как гнусное орудие завоевания в руках ненавистнейшего и опаснейшего деспотизма... Господа, не для того, чтоб оправдывать Россию от преступлений, в которых ее обвиняют, не для того, чтоб отрицать истину, взошел я на эту трибуну. Я не хочу пробовать невозможное. Истина становится более, чем когда-либо, нужною для моего отечества.

Итак, да — мы еще народ рабский! У нас нет свободы, нет достоинства человеческого. Мы живем под отвратительным деспотизмом, необузданном в его капризах, неограниченном в действии. У нас нет никаких прав, никакого суда, никакой апелляции против произвола; мы не имеем ничего, что составляет достоинство и гордость народов. Нельзя вообразить положение более несчастное и более унижительное. <...>

Вы видите, господа, — я вполне сознаю свое положение и все-таки я являюсь здесь как русский, — не несмотря на то, что я русский, но потому что я — русский. Я прихожу с глубоким чувством ответственности, которая тяготеет на мне, равно как и на всех других личностях из моего отечества, так как честь личная нераздельна от чести национальной, без этой ответственности, без этого внутреннего союза между нациями и их правительствами, между личностями и нациями не было бы ни отечества, ни нации. (Аплодисменты.) <...>

Для меня, как для русского, это годовщина позора; да, — великого позора национального! Я говорю это громко: война 1831 года была с нашей стороны войной безумной, преступной, братоубийственной. Это было не только несправедливое нападение на соседний народ, это было чудовищное покушение на свободу брата. Это было более, господа: со стороны моего отечества это было политическое самоубийство. (Аплодисменты.) Эта война была предпринята в интересе деспотизма и никоим образом не в интересе нации русской, — ибо эти два интереса абсолютно противоположны. Освобождение Польши было бы нашим спасением; если бы вы стали свободны, мы бы стали также; вы не могли бы ниспровергнуть пут царя польского, не поколебав трона императора России... (Аплодисменты.) Мы дети одной породы, и наши судьбы нераздельны, наше дело должно быть общим. (Аплодисменты.)

Вы это хорошо поняли, когда вы написали на ваших революционных знаменах эти русские слова: “За нашу и за вашу свободу!” Вы это хорошо поняли, когда в самый критический момент борьбы вся Варшава собралась в один день под влиянием великой братской мысли отдать честь публично и торжественно нашим героям, нашим мученикам 1825 г., Пестелю, Рылееву, Муравьеву-Апостолу, Бестужеву-

Рюмину и Каховскому (аплодисменты), повешенным в Петербурге за то, что они были первые граждане России! <...>

Нет, господа, народ русский не чувствует себя счастливым! Я говорю это с радостью, с гордостью. Потому что, если бы счастье было возможно для него в той мерзости, в которую он погружен, это был бы самый подлый, самый гнусный народ в мире. Нами тоже управляет иностранная рука, монарх немецкого происхождения, который не поймет никогда ни нужд, ни характера русского народа и правление которого... совершенно исключает национальный элемент. Таким образом, лишенные политических прав, мы не имеем даже той свободы натуральной, — патриархальной, так сказать, — которою пользуются народы наименее цивилизованные и которая позволяет, по крайней мере, человеку отдохнуть сердцем в родной среде и отдаться вполне инстинктам своего племени. Мы не имеем ничего этого; никакой жест натуральный, никакое свободное движение нам не дозволено. Нам почти запрещено жить, потому что всякая жизнь предполагает известную независимость, а мы только бездушные колеса в этой чудовищной машине притеснения и завоевания, которую называют русской империей. Но, господа, — предположите, что у машины есть душа, и, быть может, вы тогда составите себе понятие об огромности наших страданий. Мы не избавлены ни от какого стыда, ни от какой муки, и мы имеем все несчастья Польши без ее чести. Без ее чести, сказал я, и я настаиваю на этом выражении для всего, что есть правительственного, официального, политического в России.

Нация слабая, истощенная, могла бы нуждаться во лжи для поддержания жалких остатков существования, которое угасает. Но Россия не в таком положении, слава богу! Природа этого народа попорчена только на поверхности: сильная, могучая и молодая, — ей только надо опрокинуть препятствие, которым смеют ее окружать, — чтоб показаться во всей первобытной красоте, чтоб развить все свои неведомые сокровища, чтоб показать наконец всему свету, что русский народ имеет право на существование не во имя грубой силы, как думают обыкновенно, но во имя всего, что есть наиболее благородного, наиболее священного в жизни народов, во имя человечности, во имя свободы.

Господа, Россия не только несчастна, но и недовольна, — терпение ее готово истощаться. Знаете ли вы, что говорится на ухо даже при дворе в Петербурге? Знаете ли, что думают приближенные, фавориты, даже министры и литераторы? Что царствование Николая похоже на царствование Людо-

вика XV. Все предчувствуют грозу, — грозу близкую, ужасную, которая пугает многих, но которую нация призывает с радостью. (Шумные аплодисменты.) <...>

Пока мы оставались разделенными, мы взаимно парализовали друг друга. Ничто не сможет противиться нашему общему действию. Примирение России и Польши — дело огромное и достойное того, чтоб ему отдаться всецело. Это... освобождение всех славянских народов, которые стонут под игом иностранным, это, наконец, падение, окончательное падение деспотизма в Европе. (Аплодисменты.)

Да наступит же великий день примирения, — день, когда русские, соединенные с вами одинаковыми чувствами, сражаясь за ту же цель и против общего врага, получают право запеть вместе с вами национальную песню польскую, гимн славянской свободы. “Jeszcze Polska nie zginęła!” («Еще Польша не погибла...» — первая строка национального польского гимна. — *В. Д.*)».

Русское посольство во Франции не на шутку всполошилось. Посланник граф Н. Д. Киселев решил действовать изощренно и наверняка: официально потребовать высылки строптивного эмигранта из Парижа и одновременно распустить слух о том, что Бакунин якобы является агентом царского правительства. Клевета достигла своей цели, многие поляки стали относиться к Бакунину с подозрением. Но на этом профессиональный интриган Киселев не остановился — в бельгийское министерство иностранных дел была направлена депеша с гнусной дезинформацией: отставной прапорщик Бакунин украл в России значительную сумму денег и скрылся от правосудия. Киселев явно рассчитывал на выдачу соотечественника как уголовного преступника. Трудно теперь гадать, как могли бы развиваться события. Но начавшаяся общеевропейская революция в одночасье поломала планы не одного только русского посольства...

Глава 4

ОБЩЕСЛАВЯНСКАЯ ИДЕЯ

Известие о Февральской революции во Франции застало Бакунина в Брюсселе. Наконец-то пришло его время — свершилось то, о чем он столько мечтал. *Свобода для всех и для каждого!* Так по крайней мере тогда казалось многим. Михаил устремился в Париж, да не тут-то было. Добираться пришлось три дня — там, где железные дороги были разрушены, шел пешком. Столица революционной Франции встретила русского бунтаря морем красных флагов, баррикадами, вооруженными отрядами рабочих и ликующими толпами. «Казалось, что весь мир перевернулся, — писал он спустя несколько лет, — невероятное сделалось обыкновенным, невозможное — возможным, возможное же и обыкновенное — бессмысленным».

Эта лапидарная, острая, как клинок кинжала, фраза — «невозможное стало возможным» — перекликается почти с точно такими же словами Александра Блока, написанными уже в начале XX века: «*И невозможное возможно, / Дорога долгая легка...*» (стихотворение «Россия»). И не только одна эта фраза! Бакунинская характеристика европейской революции 1848—1849 годов — «То был праздник без конца и без края» — бессознательно воспроизведена также и в знаменитейших блоковских строках: «*О, весна без конца и без краю — / Без конца и без краю мечта! / Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! / И приветствую звоном щита!*» Эту строфу с одинаковым основанием можно соотнести как с воодушевлением влюбленности, так и с предчувствием революционного обновления. Недаром Блок так ценил гигантскую, не совместимую с обыденностью личность Бакунина. Неудивительно также, что поэзию и философию А. Блока в начале XX века некоторые причисляли к *мистическому анархизму**.

* В годы первой русской революции Блок писал стихи, под которыми, вне всякого сомнения, мог бы подписаться Бакунин и даже Не-

В взбудораженном революцией Париже Михаил поселился в казармах революционной полиции, префектом которой стал его близкий знакомый Марк Коссидьер, и с головой погрузился в революционную атмосферу. Это была его стихия — собрания, сходки, митинги, демонстрации, шествия. Спустя три недели он уже подводил первые итоги: «Разразившаяся во Франции революция радикально изменила постановку всех вопросов. Теперь можно без всякого преувеличения сказать, что старый мир умер; последние его остатки не преминут вскоре исчезнуть. Мы присутствуем при рождении нового мира. Революционное движение, вышедшее из того вечно оживляющего и пылающего очага, который носит имя Франции, распространяется повсюду, не давая себе даже труда опрокинуть, но просто гоня перед собою без усилия и почти без шума все призраки угнетения, неправды и обмана, веками накопившиеся в Европе.

Событие это столь велико, оно настолько застигло всех врасплох, что до сих пор не знаешь, что о нем думать, чего от него ждать, на что надеяться, и что никто не в состоянии измерить глубину новой революции, которая с первых же дней представляется нам более радикальной в своих последствиях, более гигантскою в своих пропорциях, чем все предшествовавшие ей революции. Одно во всяком случае ясно: практические люди старого режима превратились ныне в утопистов, а вчерашняя утопия стала отныне единственно возможною, разумною и практичною вещью. Это утопия — чистая, безусловная демократия для Франции, как и для всей Европы; это — истина, справедливость, свобода, жизнь для всех личностей, как и Наций; это — право всех, защищаемое свободным голосом и вооруженною рукою каждого. <...>

Вскоре, быть может, меньше чем через год, чудовищная австрийская империя разрушится; освобожденные итальянцы провозгласят итальянскую республику; немцы, сплочен-

чаев. Вот, к примеру, почти никогда и никем не цитируемое четверостишие (см.: Собрание сочинений. В 8 т. Т. 2. М.; Л., 1960. С. 333):

И мы поднимем их на вилы,
Мы в петлях раскачем тела,
Чтоб лопнули на шее жилы,
Чтоб кровь проклятая текла.

Анархический настрой сопровождал Блока до конца жизни. Отблеск бакунинских идей виден даже в блоковском постреволюционном шедевре «Двенадцать» с их зловещим призывом: «Мы на горе всем буржуйам / Мировой пожар раздуем...» Да и весь бунтарский пафос гениальной поэмы свидетельствует о том же самом.

ные в единую великую нацию, провозгласят германскую республику, а польские республиканцы, пребывающие в эмиграции в течение 17 лет, возвратятся к своим очагам. Революционное движение прекратится только тогда, когда Европа, вся Европа, не исключая и России, превратится в федеративную демократическую республику. Скажут: это невозможно. Но осторожнее! Это — слово не сегодняшнее, а вчерашнее. В настоящее время невозможны только монархия, аристократия, неравенство, рабство. Революция погибнет, если монархия полностью не исчезнет с лица Европы. Итак, падение монархии и привилегии по всей Европе или же новое поражение революции, поражение более страшное, чем все предшествующие поражения, со всеми опасностями и ужасами реакции! Ведь сказал же Наполеон: «Через пятьдесят лет Европа будет республиканской или казацкой». Момент серьезен как для отдельных личностей, так и для целых наций. На каждом лежит священный долг.

Я — русский, и мысли мои естественно принадлежат России. Оттуда ждут первых громов реакции. Они раздадутся, но лишь для того, чтобы обратиться против того, кто станет их метать. Быть может, никому, кроме австрийского правительства, французская революция не угрожает настолько, как императору Николаю. Эта революция, призванная спасти все народы, спасет также и Россию, я в этом убежден».

Бакунин ясно осознавал свою миссию в происходящих событиях. Его целью было превратить огонь французской революции во всемирный пожар, распространив его прежде всего на славянские страны и поработенные славянские народы. В своей знаменитой «Исповеди» (подробнее о ней — ниже) он писал: «После двух или трех недель... <...> я несколько отрезвился и стал себя опрашивать: что же я теперь буду делать? Не в Париже и не во Франции мое призвание, мое место на русской границе; туда стремится теперь польская эмиграция, готовясь на войну против России; там должен быть и я, для того чтобы действовать в одно и то же время на русских и на поляков, для того чтобы не дать готовящейся войне сделаться войною Европы против России “pour refouler ce peuple barbare dans les deserts de l’Asie”*, как они иногда выражались, и стараться, чтобы это не была война онемечившихся поляков против русского народа, но славянская война, война соединенных вольных славян против русского императора».

Но замысел — даже гениальный — одно, а его осуществ-

* Чтобы отбросить этот варварский народ в пустыни Азии (*фр.*).

ление — совершенно другое. Денег не было ни гроша. Бакунин обратился за помощью к французским друзьям и получил безвозмездно две тысячи франков (хотя просил, как всегда, займы) — с одним условием: регулярно присылать в газету «Реформа» репортажи и статьи о предсказываемой русским бунтарем славянской революции. Окрыленный возвышенными надеждами, он устремляется на восток, к границе Российской империи и славянским землям, включенным в состав Австрии и Пруссии. Во все той же «Исповеди» Бакунин живо описывает дальнейшие злоключения: «Взяв деньги у Флокона, я пошел за паспортом к Коссидьеру; взял же у него не один, а два паспорта, на всякий случай, один на свое имя, другой же на мнимое, желая по возможности скрыть свое присутствие в Германии и в Познанском Герцогстве. Потом, отобедав у Гервега и взяв у него письма и поручения к баденским демократам, сел в дилижанс и поехал на Страсбург.

Если бы меня кто-то в дилижансе спросил о цели моей поездки и я бы захотел отвечать ему, то между нами мог бы произойти следующий разговор. “Зачем ты едешь?” — Еду бунтовать. — “Против кого?” — Против императора Николая. — “Каким образом?” — Еще сам хорошо не знаю. — “Куда ж ты едешь теперь?” — В Познанское Герцогство. — “Зачем именно туда?” — Потому что слышал от поляков, что теперь там более жизни, более движения и что оттуда легче действовать на Царство Польское, чем из Галиции. — “Какие у тебя средства?” — 2000 франков. — “А надежды на средства?” — Никаких определенных, но авось найду. — “Есть знакомые и связи в Познанском Герцогстве?” — Исключая некоторых молодых людей, которых встречал довольно часто в Берлинском университете, я там никого не знаю. — “Есть рекомендательные письма?” — Ни одного. — “Как же ты без средств и один хочешь бороться с русским царем?” — Со мной революция, а в Позене (тогдашнее немецкое название Познани. — *В. Д.*) надеюсь выйти из своего одиночества. — “Теперь все немцы кричат против России, возносят поляков и с[о]бираются вместе с ними воевать против русского царства. Ты — русский, неужели ты соединишься с ними?” — Сохрани Бог! лишь только немцы дерзнут поставить ногу на славянскую землю, я сделаюсь им непримиримым врагом; но я затем-то и еду в Позен, чтоб всеми силами воспротивиться неестественному соединению поляков с немцами против России. — “Но поляки одни не в состоянии бороться с русскою силою?” — Одни нет, но в соединении с другими славянами, особенно же если мне

удастся увлечь русских в Царстве Польском... — “На чем основаны твои надежды, есть у тебя с русскими связи?” — Никакой; надеюсь же на пропаганду и на могучий дух революции, овладевший ныне всем миром! <...>

Приехав во Франкфурт в первых числах апреля, я нашел тут бесчисленное множество немцев, собравшихся из целой Германии на Vog-Parlament [предпарламент], познакомился почти со всеми демократами, отдал письма и поручения Гервега и стал наблюдать, стараясь найти смысл в немецком хаосе и хоть зародыш единства в сем новом вавилонском столпотворении. Во Франкфурте я пробыл около недели, был в Майнце, в Мангейме, в Гейдельберге, был свидетелем многих народных вооруженных и невооруженных собраний, посещал немецкие клубы, знал лично главных предводителей баденского восстания и о всех предприятиях, но ни в одном не принимал деятельного участия, хоть и симпатизировал им и желал им всякого успеха, оставаясь во всем, что касалось собственно до меня и до моих собственных замыслов, в прежнем совершенном уединении. Потом на дороге в Берлин пробыл несколько дней в Кёльне, ожидая там свои вещи из Брюсселя. Чем ближе к северу, тем холоднее становилось мне на душе; в Кёльне мной овладела тоска невыразимая, как будто бы предчувствие будущей гибели! Но ничто не могло остановить меня. На другой день моего приезда в Берлин я был арестован, сначала был принят за Гервега, а потом в наказание за то, что я ехал с двумя паспортами. Впрочем, меня продержали только день, а потом отпустили, взяв с меня слово, что я не поеду в Познанское Герцогство и не останусь в Берлине, а поеду в Бреславль. Президент полиции Минутоли удержал у себя паспорт, написанный на мое собственное имя, но возвратил мне другой на имя небывалого Леонарда Неглинского, от себя же дал еще другой паспорт на имя Вольфа или Гофмана, не помню, желая, вероятно, чтобы я не терял привычки ездить с двумя паспортами. Таким образом, ничего другого почти не увидев в Берлине, кроме полицейского дома, я отправился далее и приехал в Бреславль в конце апреля или в самом начале мая».

В Бреславле (современном польском городе Вроцлаве, в описываемое время находившемся под властью прусского короля и именовавшемся по-немецки Бреслау) польские патриоты проводили в мае Славянский конгресс. Бакунин на него не попал, и им завладела другая идея — направить в революционное русло освободительное движение славянских народов, и прежде всего находившихся под гнетом Австрийской империи чехов, словаков, хорватов, словенцев, сербов,

карпатских русинов. 13 марта произошла революция в Вене, и лоскутная империя Габсбургов трещала по швам. Помимо всего прочего, Бакунин активно подключился к избирательной кампании своего друга Арнольда Руге и помог ему стать депутатом Франкфуртского национального собрания, где тот представлял польские земли, входившие в состав Пруссии. Между тем захваченная поначалу врасплох европейская реакция наконец пришла в себя, собралась с силами и постепенно, но повсеместно перешла в контрнаступление. Надежды Бакунина на общеславянскую революцию от этого только укреплялись. Славянам суждено развить, радикализировать и возглавить общеевропейскую революцию, а если потребуются — спасти ее! С такими мыслями он и отправился в Прагу на открывавшийся там Славянский съезд, организованный чешскими патриотами.

Чехия и Словакия в то время были на пике своего национально-культурного возрождения и в этом смысле задавали тон другим славянским народам. Чешские и словацкие просветители, историки, писатели и поэты пользовались огромным авторитетом и у передовой российской интеллигенции. И сегодня неосуществленные мечты чешско-словацких патриотов Яна Коллара (1793—1852), Павла Шафарика (1795—1861), Франтишека Палацкого (1798—1876), Людевита Штура (1815—1856), Вацлава Ганки (1791—1861) и других о будущем общеславянском единстве не потеряли своей актуальности. Впрочем, и между ними были существенные расхождения.

Председательствовавший на Славянском съезде в Праге Франтишек Палацкий являлся, к примеру, пропагандистом так называемого *австрославизма*, предполагавшего превращение Австрийской монархии в федеративное государство с предоставлением автономии и широких прав находящимся под короной Габсбургов славянским (в том числе чешскому и словацкому) народам, а также и другим (венгерскому, в частности). Впрочем, в верноподданнических фантазиях Палацкого занесло совершенно не в ту сторону. Даже рациональное зерно его концепции было сведено на нет махровым чешским национализмом, предполагавшим превращение чехов в государственнообразующий этнос будущей федерации (за счет ущемления интересов всех остальных национальностей).

Национализм во всех его проявлениях и разновидностях во все времена оставался главным врагом славянского объединения. Он связан прежде всего не столько с утверждением самобытности культуры или социопсихологических особенностей того или иного народа, сколько с подчеркиванием

своей национальной исключительности и превосходства над другими этносами. Сегодняшние дни не исключение! Трудно понять и рационально объяснить, например, почему периодически пробуждается ненависть между сербами и хорватами, говорящими на одном языке. Или — чего никак не могут поделить русские и украинцы, поляки и белорусы, чехи и словаки, болгары и македонцы, сербы и черногорцы. Или — откуда вдруг у болгар, по сей день называющих *братушками* русских освободителей от османского ига, вдруг появляется желание снести с лица земли величественный памятник советскому воину, прозванному в народе «Алёшей». Примеров можно привести очень много. То же самое (если не хуже) было и в середине XIX века...

Вот и Славянский съезд, собравшийся в Праге в начале лета 1848 года, был запрограммирован на острые разногласия между делегатами — чехами, моравами, словаками, поляками, сербами, хорватами и карпатскими русинами. Именно последних вместе еще с одним делегатом — старообрядческим священником — и представлял на съезде Бакунин, поскольку русских в Прагу не пригласили вообще. Он записался в западную секцию — к полякам. Первые впечатления о происходившем не обнадеживали. Позже он вспоминал: «Дни текли, конгресс не двигался. Поляки занимались регламентом, парламентскими формами да русинским вопросом; вопросы более важные переговаривали не на конгрессе, а в собраниях особенных и не так многочисленных. Я в сих собраниях не участвовал, слышал только, что в них продолжались отчасти бреславские распри и была сильна речь о Кошуте и о мадьярах, с которыми, если не ошибаюсь, поляки уже в то время начинали иметь положительные сношения к великому неудовольствию прочих славян. Чехи были заняты своими честолюбивыми планами, южные славяне предстоявшей войною. Об общем славянском вопросе мало кто думал. Мне опять стало тоскливо, и я начал чувствовать себя в Праге в таком же уединении, в каком был прежде в Париже и в Германии. Я несколько раз говорил в польском, в южно-славянском, а также и в общем собрании...»

Наконец Бакунин понял, что так продолжаться не может, и задумал переломить ход съезда. Он ясно видел пагубность идеи австрославизма, которую пытались представить в качестве генеральной линии общеславянского движения. На одном из заседаний съезда Бакунин призвал «положить начало новой славянской жизни, провозгласить и утвердить единство всех славянских племен, соединенных в одно нераздельное и великое политическое тело». Более того, Баку-

нин выдвинул идею создания великой славянской «демократической империи» со столицей в Константинополе. От подобных утопических проектов большинству делегатов съезда становилось дурно. Герцен описывает пражские события с присущей ему лаконичностью и точностью:

«Он был приглашен принять участие в работе этого первого вселенского собора нации, которая, наконец, стала пробуждаться после многовекового летаргического сна. Там говорили на всех славянских языках, недоставало только одного — русского. Никто в мире не мог бы лучше представлять революционную идею небольшого меньшинства его родины, чем Бакунин, — русский, друг поляков, вооруженный всем, что могла только дать немецкая наука, и социалист, как наиболее передовые люди Франции. Бакунин с самого своего появления приобрел огромное влияние и популярность. Его благородная и чисто славянская наружность, энергия, открытый характер, ясность и глубина его слова сплотили вокруг него всех истинных революционеров Богемии и австрийских славян».

У Бакунина был давно уже разработан план создания Славянской федерации, не имевший ничего общего с консервативно-утопическими идеями Палацкого и его сторонников. Проект включал девять лапидарных пунктов — один четче другого, и они не имели ничего общего с туманными формулировками австрославистов.

«1. Признается независимость всех народов, составляющих славянское племя.

2. Все эти народы, впрочем, состоят между собою в союзном единении. Это единение должно быть настолько тесно, что счастье или несчастье одного должно быть в то же время счастьем или несчастьем другого, и никто не может чувствовать себя свободным и считать себя таковым, если другие не свободны, и наоборот: притеснение одного есть притеснение другого.

3. Общий союз всех славянских народов есть выражение и осуществление этого соединения. Он представляет все славянство и называется Славянский совет.

4. Славянский совет руководит всем славянством как первая власть и высший суд; все обязаны подчиняться его приказаниям и исполнять его решения.

5. Всякое несправедливое действие какого-либо славянского народа, которое бы стремилось учредить особый союз в среде соединенного всеславянства или подчинить себе другое славянское племя посредством ли дипломатии или насилия, в намерении основать сильную центральную

власть, которая бы могла уничтожить или ограничить всего соединенного славянства, — всякое стремление к какой бы то ни было гегемонии над соединенными народами в пользу одного народа или некоторых соединенных, но не к выгоде других, будет считаться за преступление или за измену всему славянству. Славянские народы, которые хотят составить часть федерации, должны отказаться вполне от своего государственного значения и передать его непосредственно в руки Совета и не должны искать себе особенного величия иначе, как в развитии своего счастья и свободы.

6. Только Совет имеет право объявлять войну иностранным державам. Никакой отдельный народ не может объявлять войну без согласия всех, так как вследствие соединения все должны участвовать в войне каждого и ни один не может оставить братского племени в минуту несчастья.

7. Внутренняя война между славянскими племенами должна быть запрещена как позор, как братоубийство. Если бы возникли несчастья между двумя славянскими народами, то они должны быть устранены Советом, и его решение должно быть приведено в исполнение как священное.

8. Из последних трех пунктов ясно вытекает, что если какой славянский народ подвергнется нападению другого славянского народа, находящегося в возмущении, раньше, чем Совет имел бы время постановить что-нибудь или приложить разные посреднические меры, то все соседние племена обязаны помогать его освобождению. Поэтому будет считаться изменником всякий славянский народ, который нападает на другой с оружием или который при нападении чужого не поспешит на помощь подвергнувшемуся нападению брату. Защищать брата есть первая обязанность.

9. Никакое славянское племя не может заключать союза с чужими народами; это право исключительно предоставлено Совету. <...>».

Надо ли говорить, что такая по существу революционная программа не вызвала восторгов у основной массы далеко не революционно настроенных делегатов. Однако Бакунин был включен в комиссию по подготовке резолюции съезда и — уж будьте уверены — сделал всё, чтобы направить ее в нужное ему русло. В принятом же на съезде Манифесте, тотчас же вызвавшем гнев австрийских властей, в частности, говорилось:

«Славянский съезд в Праге есть явление новое как для Европы, так и для самих славян. Впервые с тех пор, как о нас упоминает история, сошлись мы, разрозненные члены великого племени в большом числе из далеких краев, дабы,

сознав в себе братьев, мирно обсудить свои общие дела. И мы поняли друг друга не только нашим прекрасным языком, на котором говорят восемьдесят миллионов, но и созвучным биением сердец наших и сходством наших душевных стремлений. Правда и прямота, руководившие всеми нашими действиями, побудили нас высказать перед Богом и перед людьми то, чего мы хотели и какими принципами руководствовались в наших действиях.

Народы романские и германские, некогда прославившиеся в Европе как могучие завоеватели, тысячу лет тому назад силою меча не только добились своей независимости, но и сумели всемерно обеспечить свое господство. Их государственное искусство, основывавшееся преимущественно на праве сильного, предоставляло свободу только высшим условиям, управляло посредством привилегий, народу же оставляли одни лишь обязанности; только в новейшее время силе общественного мнения, носящегося подобно духу Божию над всеми землями, удалось разорвать все оковы феодализма и снова вернуть людям неотъемлемые права человека и гражданина. Напротив, среди славян, у которых любовь к свободе искони была тем горячее, чем слабее проявлялась у них охота к господству и завоеваниям, у которых тяга к независимости всегда препятствовала образованию высшей центральной власти, одно племя за другим с течением времени попадало в состояние зависимости. С помощью политики, давно уже осужденной по заслугам в глазах всего мира, напоследок лишен был и героический польский народ, наши благородные братья, своего государственного существования. Казалось, что весь великий славянский мир всюду очутился в порабощении, добровольные холопы которого не преминули отрицать за ним даже способность к свободе. Однако эта нелепая выдумка в конечном счете исчезает перед словом Божиим, говорящим сердцу каждого из нас в глубоких переворотах нашего времени. Дух, наконец, добился победы; чары старого завета разрушены; тысячелетнее здание, установленное и поддерживаемое грубою силою в союзе с хитростью и коварством, рассыпается в прах на наших глазах; свежий дух жизни, веющий по широким нивам, творит новый мир; свободное слово и свободное дело стали, наконец, реальностью.

Теперь поднял голову и давно притеснявшийся славянин, он сбрасывает с себя иго насилия и мощным голосом требует своего старого достоинства — свободы. Сильный численностью, еще более сильный своей волей и новообретенным братским единомыслием своих племен, он тем не ме-

нее остается верен своим прирожденным свойствам и заветам своих отцов: он не хочет ни господства, ни захватов, но требует свободы как для себя, так и для каждого; требует, чтобы она была повсюду, без изъятия, признана святейшим правом человека. Поэтому мы, славяне, отвергаем и ненавидим всякое господство грубой силы, нарушающей законы; отвергаем всякие привилегии и преимущества, а также политические разделения сословий; желаем безусловного равенства перед законом и равной меры прав и обязанностей для каждого; там, где между миллионами родится хоть один поработенный, действительная свобода не существует. Итак, свобода, равенство и братство всех граждан государства остаются, как тысячу лет назад, так и теперь нашим девизом...»

Это было не совсем то, что хотел Бакунин, но и в таком виде Манифест содержал главное — призыв к единению славян — настоящему и будущему. Сокровенные свои мысли о славянской революции Бакунин во всеуслышание выразит чуть позже в «Воззвании русского патриота к славянским народам»: «Необходимо *все смести с лица земли*, дабы очистить место для нового мира. Новый мир, братья, — это полное и действительное освобождение всех личностей, как и всех наций, это — наступление политической и социальной справедливости, это — **НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЦАРСТВО СВОБОДЫ**» (выделено мной. — *В. Д.*). Кроме того, Бакунин — непримиримый враг государственной бюрократии — предлагал «изгнать и уничтожить всех противников победившего режима, за исключением некоторых чиновников, оставленных для совета и справок».

Славянский съезд завершался уже под грохот баррикадных боев. 12 июня 1848 года в Праге вспыхнуло народное восстание, которое назревало давно. Сначала до предела обострились отношения между студентами и демократической общественностью, с одной стороны, и, с другой, — немалым немецким населением Праги и австрийской администрацией. Главнокомандующим австрийского гарнизона был назначен князь Виндишгрец, немедленно перешедший к решительным репрессивным действиям, запретив уличные шествия и митинги. Однако приказ совпал с празднованием важнейшего для всех христиан Духова дня, и улицы старинного города, как обычно, заполнились толпами людей. Солдаты попытались разогнать народ, не пропуская его к традиционным местам гуляний. В ответ на действия австрийцев улицы Праги покрылись баррикадами. Из тайников было извлечено огнестрельное и холодное оружие, раздались первые выстрелы. Тогда австрийский главнокомандующий при-

казал начать обстрел Праги из пушек. Артиллерийская канонада продолжалась три дня, в городе было объявлено осадное положение. В это время Славянский съезд и завершил свою работу.

Но Бакунин давно уже был на баррикадах с восставшим народом. По существу, русский эмигрант стал одним из руководителей чешской национальной революции (так во всяком случае позже характеризовали его непосредственные участники событий). Умеренная буржуазия и интеллигенция, как всегда, испугались коренных социальных преобразований в пользу широких народных масс и вступили в тайные переговоры с австрийцами. Восставшим не хватало оружия и боеприпасов. Бакунин предлагал штурмом взять городскую ратушу, разогнать соглашателей и учредить революционный комитет с неограниченными диктаторскими полномочиями. Но было уже поздно. Австрийцы вступили в Прагу. Начались повальные аресты. Бакунину вместе с другими руководителями восстания пришлось срочно покинуть город. А 23 июня в Париже вспыхнуло восстание рабочих, протестовавших против закрытия Национальных мастерских и антинародной политики правительства. Их поддержали демократически настроенные парижане. Борьба народа закончилась кровавой бойней и установлением деспотического режима.

* * *

Известие об Июньском восстании в Париже застало Бакунина в Германии. В начале июля он вновь приехал в Бреславль, откуда перебрался в Берлин. В столице Пруссии революция давно сошла на «нет». Здесь Бакунин познакомился с одним из идеологов немецкого анархизма Максом Штирнером (1806—1856), автором книги «Единственный и его собственность». Михаил восхищался этой «библией» беспредельного индивидуализма и безграничной свободы. В свою очередь, Штирнер преклонялся перед славянским духом (именно так!) русского бунтаря и его свободолюбием. Многие немецкие друзья также отмечали его темперамент и одержимость. Так, например, известный писатель Карл Варнгаген (1785—1858), друживший со многими деятелями русской культуры и свободомыслия — Станкевичем, Грановским, Тургеневым, Огаревым и другими, записал 22 июля 1848 года в своем дневнике: «Вчера вечером пришел русский Бакунин, как всегда здоровый и полный мужества, гордый и веселый, полный сладких надежд. Его гигантское тело до-

ставляет ему все удобства...» Верная зарисовка! Остается уточнить, «сладкой надеждой» его по-прежнему оставалась «одна, но пламенная страсть» — *революция* — и прежде всего *общеславянская*. По свидетельству современника, в ту пору переполненный энтузиазмом Бакунин, прощаясь с кем-либо, обязательно добавлял: «До свидания в славянской республике!»...

Тем временем в Берлине русского эмигранта настигла вторая волна дезинформации, запущенной еще в начале года графом Киселевым. 6 июля редактируемая Карлом Марксом «Новая Рейнская газета» опубликовала со ссылкой на Жорж Занд информацию о том, что Бакунин является завербованным царским агентом и уже успел выдать несколько польских патриотов. В газете утверждалось, что французская писательница располагает соответствующими документами и готова предъявить их в любое время каждому желающему. Большой подлости придумать было нельзя. Бакунин тотчас же обратился за разъяснениями к человеку, которого имел все основания считать своим другом:

«М[илостивая] г[осударыня]! Вашим именем воспользовались для распространения клеветнических слухов на мой счет. Только что я прочитал в номере 36 “Новой Рейнской Газеты” следующее сообщение из Парижа:

“Париж, 3 июля. — Здесь, несмотря на нашу внутреннюю смуту, весьма внимательно следят за борьбою славянской расы в Чехии, Венгрии и Польше. По поводу славянской пропаганды нас вчера уверяли, что Жорж Занд имеет в своем распоряжении документы, сильно компрометирующие изгнанного отсюда русского М. Бакунина, которые изображают его как орудие или как недавно завербованного агента России и приписывают ему главную роль в недавних арестах несчастных поляков. Жорж Занд показывала эти документы некоторым из своих друзей. Мы здесь ничего не имеем против славянского государства, но никогда оно не создастся посредством предательства польских патриотов”.

Мне не приходится объяснять Вам всю серьезность этого обвинения. Либо корреспондент солгал, либо его сообщение имеет какое-нибудь основание. В первом случае я настоятельно прошу Вас, во имя той симпатии, которую Вы всегда ко мне проявляли, опровергнуть эту публичную ложь. Примите во внимание, сударыня, что дело идет о моей чести, которая, под прикрытием Вашего имени, недостойным образом задета, и что такие слухи бросают на меня тень как раз в тот момент, когда я больше, чем когда-либо, нуждаюсь в доверии в интересах того дела, которому я служу.



G. S. [unclear]



Александр Михайлович
Бакунин —
отец М. А. Бакунина.
*С акварели неизвестного
художника. 1820-е гг.*



Варвара Александровна
Бакунина,
урожденная
Муравьева —
мать М. А. Бакунина.
*С акварели неизвестного
художника. 1820-е гг.*



Дворянский герб Бакуниных.

Троицкая церковь в усадьбе Прямухино,
построенная по проекту Н. А. Львова.



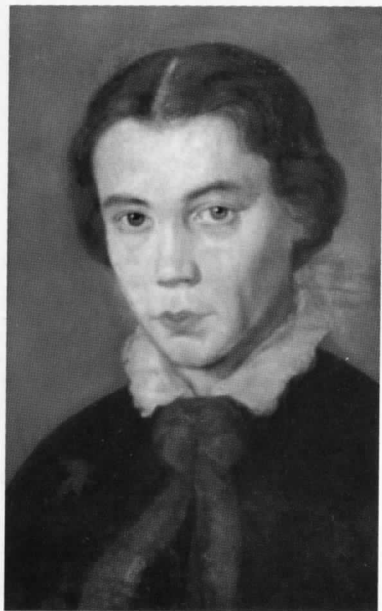


М. А. Бакунин.
Автопортрет
конца 1830-х гг.

Окрестности
Прямухина.



Татьяна Александровна Бакунина.
Портрет работы Е. М. Бакуниной.



Любовь Александровна Бакунина.
С акварели 1830-х гг.

Варвара Александровна Бакунина.
С акварели 1830-х гг.





Прямухино.
Рисунок
Н. С. Бакуниной.





Александра Александровна Бакунина.
Рисунок неизвестного художника 1830-х гг.

П. Я. Чаадаев.



Красные ворота
в Москве, откуда
начинается Новая
Басманная улица,
где в 1836—1840-х
годах проживал
М. А. Бакунин.
Литография
Ж. Б. Арну.





Н. В. Станкевич.



В. Г. Белинский.

Московская гостиная А. П. Елагиной. На картине изображены: Белинский, Герцен, Чаадаев, Хомяков, Грановский, Боткин, Шепкин, братья Киреевские, К. Аксаков и другие. Художник Б. М. Кустодиев.

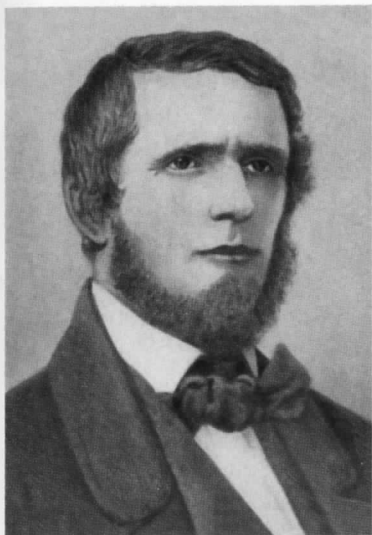




И. С. Тургенев.
С акварели
К. А. Горбунова.
1838—1839 гг.

Берлинский
университет.





Вильгельм Вейтлинг.



Арнольд Руге.

Жорж Санд.



Георг Гервег.



П. Ж. Прудон.



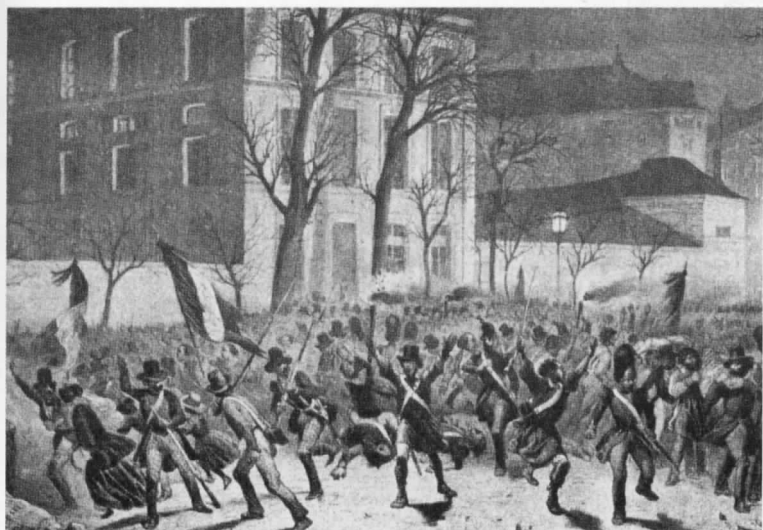
Заседание
парижского клуба
в годы
революции.
*Рисунок
современника.*

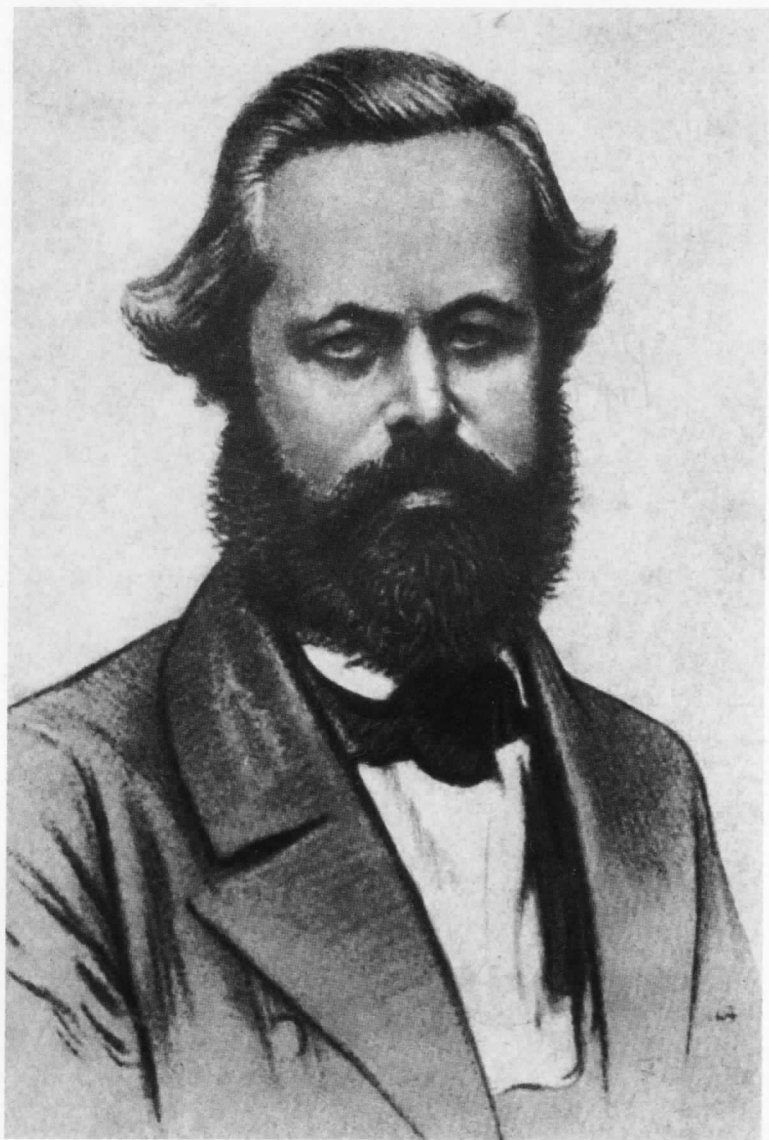




Сцена из французской революции. 1848 г.

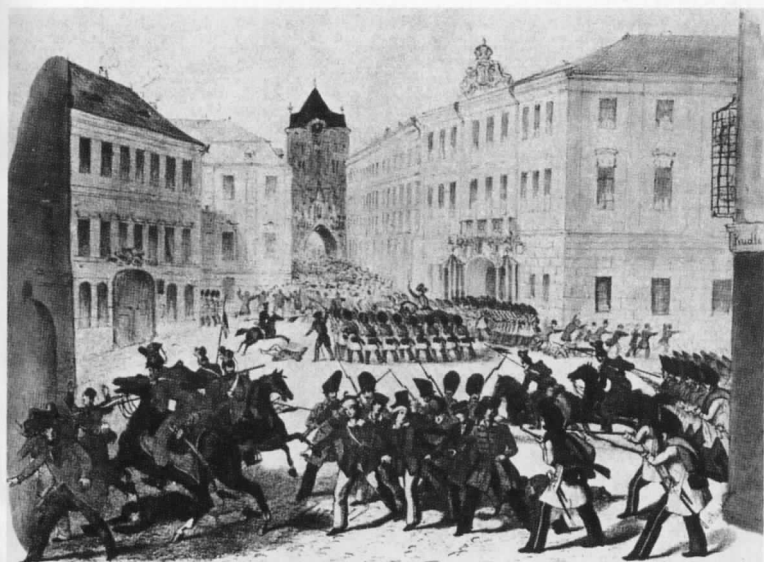
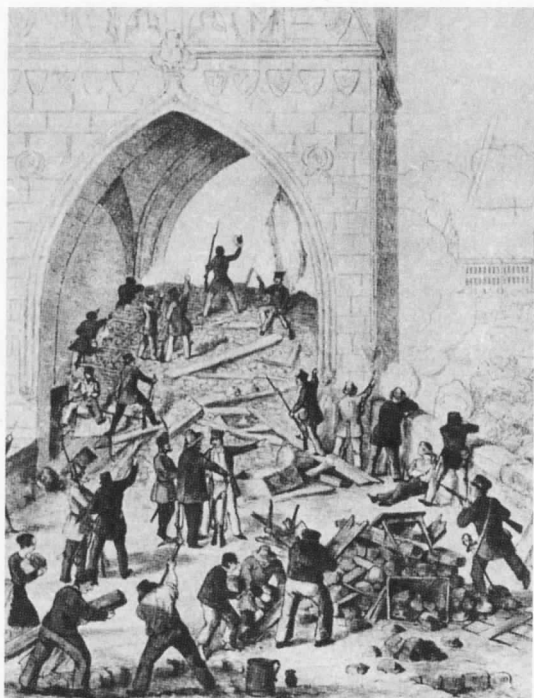
Начало февральского восстания в Париже. 1848 г.





Карл Маркс.

Пражское
восстание. 1848 г.





Рихард Вагнер.

Дрезденское
восстание. Штурм
арсенала. 1849 г.



Если же Вы, сударыня, вопреки моему ожиданию, действительно являетесь источником этих слухов, то я апеллирую уже не к Вашей симпатии, а к Вашему чувству справедливости и к Вашей порядочности. Я слишком Вас уважаю и считаю Вас слишком благородною и добросовестною для того, чтобы допустить, что Вы могли легкомысленно, и не будучи сама в этом убежденной, высказать против меня такое обвинение. Доказательств Вы не могли иметь, так как для несуществующей вещи не может быть доказательства, но я должен предположить, что у Вас имеются столь веские внешние улики, что они могли даже Вас ввести в заблуждение.

Я предлагаю Вам немедленно опубликовать все те бумаги, которые меня якобы компрометируют, дабы я мог их опровергнуть и узнать имена авторов этой бесстыдной клеветы. Я имею право требовать этого, так как, обвинив меня, Вы этим самым взяли на себя священную обязанность перед мною и перед общественным мнением доказать свои обвинения.

С почтением — М. Бакунин».

Ответ Жорж Санд последовал незамедлительно — настолько быстро, насколько позволяла работа европейской почты: «Нет, никогда у меня не было в руках никаких обвинений против Вас, да я бы им не придавала никакой веры, будьте в этом уверены. <...> Статья “Новой Рейнской газеты”, которую я самым формальным образом опровергаю, представляет ни на чем не основанную возмутительную выдумку, которой я чувствую себя лично задетой. Я полагаю, что корреспондент, доставивший эту заметку, спятил с ума, если мог сочинить подобную нелепость на Ваш и на мой счет. <...> Я выражаю Вам уважение и симпатию, каких Вы заслуживаете и какие я никогда не переставала питать к Вашему характеру и к Вашим действиям, примите же в них уверенность в большей мере, чем когда-либо. <...>».

К чести «Новой Рейнской газеты», она опубликовала и это письмо писательницы, и протест Бакунина, однако атаки на него не прекратила. 15 и 16 февраля 1849 года в ней была напечатана статья Фридриха Энгельса «Демократический панславизм», содержащая беспрецедентную критику в адрес брошюры Бакунина «Воззвание к славянам», самого автора и развиваемой им идеи славянского и общедемократического единства. В «Воззвании», написанном на одном дыхании и по горячим следам бурных событий истекшего года, не только подведены некоторые неутешительные итоги, но и намечены дальнейшие пути по преодолению разобщенности революционных масс. Главная идея — славяне не

должны действовать изолированно, им необходимо искать союзников в лице прогрессивных сил Австрии, Венгрии, Германии, России и других государств.

Именно это и вызвало категорическое неприятие со стороны Энгельса и Маркса. В то время будущие вожди Интернационала очень схематично и приблизительно представляли насущные проблемы славянства. Лишь к концу жизни они увидели, что центр революционной активности смещается в Восточную Европу и Россию. До этого же славяне вообще и русские в особенности представлялись им сплошной темной, дикой и реакционной массой. Кто не верит или не согласен, может открыть 6-й том Собрания сочинений Маркса и Энгельса (2-е издание) и собственными глазами прочитав следующие суждения:

«<...> На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы (то есть Бакунина, выступающего от имени русского народа и всего славянства. — *В. Д.*), мы отвечаем: ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью; со времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам, и только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем мы совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам. И если... революционный панславизм принимает эти слова всерьез и будет отрекаться от революции всюду, где дело коснется фантастической славянской национальности, то и мы будем знать, что нам делать. Тогда борьба, “беспощадная борьба не на жизнь, а на смерть” со славянством, предающим революцию, борьба на уничтожение и беспощадный терроризм — не в интересах Германии, а в интересах революции!»

В пылу полемики Энгельс договорился до того, что заявил: просвещенная Европа должна как можно скорее избавиться от балласта славянского варварства путем *поголовного истребления* во время ближайшей войны *реакционного этноса*, тормозящего социальный прогресс других народов. Но Бакунину, объявленному в памфлете Энгельса *международным террористом и врагом* «цивилизованных народов», не было никакой нужды отвечать на злопыхательские наветы. «Воззвание к славянам» говорило само за себя. В нем начисто отсутствовали и померещившаяся Энгельсу ксено-

фобия к неславянским нациям и надежды на свертывание европейской революции. Вместо мнимого славянского шовинизма мы видим протянутую Бакуниным «братскую руку немецкому народу и всей демократической Германии» (а также другим народам Европы). Спустя год он так оценивал свои действия:

«<...> Я бросился между славянами и немцами, между двумя великими, но, к сожалению, взаимно друг друга ненавидящими расами, бросился, чтобы предотвратить гибельную борьбу и повести их соединенные силы против русской тирании, не против русского народа, нет, а для его освобождения. Это было гигантское предприятие. Я был один, не имея ничего, кроме доброй, честной воли, и, может быть, меня могли упрекнуть в том, что с моей стороны было донкихотством думать о такой гигантской работе. Я же рассчитывал на более продолжительный прилив в движении. Я ошибся в расчете: отлив наступил раньше, чем я ожидал. <...>».

О немцах, впрочем, он судил вполне объективно. Свидетельство тому письмо Георгу Гервегу от 8 декабря 1848 года: «<...> Если бы немецкая нация состояла исключительно из широкой, к сожалению, слишком широкой массы мещан, буржуа, из того, что теперь можно назвать официальной, видимой Германией, если бы под этой официальной немецкою нациею не имелось городских пролетариев, а особенно многочисленной массы крестьян, то мне пришлось бы сказать: нет больше немецкой нации, Германия будет завоевана и уничтожена. Только анархическая крестьянская война с одной стороны и исправление буржуазии банкротством с другой могут спасти Германию».

Бакунин мечтает о широкомасштабном выступлении крестьян, наподобие того, какое потрясло Германию в XVI веке. Он пророчествует: «Весной в Германии обязательно произойдет новая революция!» Бакунин не ошибся — революция в Саксонии вспыхнула в самом начале мая 1849 года, но она не стала новой Великой крестьянской войной. В раскритикованной Энгельсом брошюре — то же: вместо пораженческих настроений — призывы к решительным революционным действиям:

«На два стана разделен мир. Никакой средней дороги не проложено между ними. И не может безнаказанно ни одна часть отделиться от великого нерасторжимого союза, в котором все, преследующие одинаковую цель, или вместе должны победить, или вместе быть побежденными. На два стана разделен мир. Здесь революция, там контрреволюция.

Вот лозунги. На один из них должен решиться каждый из нас, как мы, так и вы, братья. Средней дороги нет. Те, кто такую дорогу указывает и прославляет, — или обманутые или обманщики. <...>

Братья! Я — русский, я говорю вам как славянин. И намерения мои, и чувства, и мысли я откровенно изложил вам на съезде в Праге. Вы знаете, что я как русский вижу спасение моих земляков только в союзе со всеми остальными братьями, только в объединении всех славянских народов в федерацию свободных племенных союзов. Вы знаете, что стремление к этой великой цели я поставил главной задачей своей жизни. Это дает мне право говорить с вами так, как я говорю, потому что ваши дела — вместе с тем и мои собственные, ваше дело есть наше дело, ваше спасение — наше спасение, ваша честь — наша честь, ваш позор — наш позор и ваша гибель — наша гибель. <...>

Именно русская демократия своими огненными языками поглотит державу и кровавым заревом осветит всю Европу. Чудеса революции восстанут из глубины этого пламенного океана; Россия есть цель революции; ее наибольшая сила развернется там, там же она достигнет своего завершения. С тою же первобытною твердостью упорной выдержки, с какою русский народ отстоял свою внешнюю независимость при всех бурях, потрясавших славянский мир, овладеет он теперь революцией и завоюет и удержит свою внутреннюю свободу. В Москве будет разбито рабство соединенных теперь под русским скипетром и всех вообще славянских народов, а вместе с тем и все европейское рабство и навеки погребено под своими собственными мусором и развалинами; в Москве из моря крови и пламени высоко и прекрасно взойдет созвездие революции и станет путеводною звездой для блага всего освобожденного человечества.

Встаньте же, славянские братья! Вы, призвание которых — бороться в передних рядах, встаньте! Во имя миллионов, которые должны скоро дать главное сражение, во имя северных славян, которые когда-нибудь потребуют от вас строгого отчета о том, что вы сделали для нашего святого дела, во имя этого народа еще и еще раз взываю я к вам: *Раз навсегда порвите с реакцией, порвите с дипломатией, со всякой половинчатой и недостойной вас политикой и бросьтесь отважно и всецело в объятия революции!*»

В мае 1849 года Бакунин стал одним из вдохновителей, активных участников и руководителей восстания, вспыхнувшего в Саксонии...

Глава 5
РУССКИЙ ЗИГФРИД

Активным участником революционных событий в Саксонии был великий композитор Рихард Вагнер (1813—1883), служивший капельмейстером придворного театра в Дрездене. На склоне лет он написал мемуары, составившие целых четыре тома и получившие название «Моя жизнь», где изложил свое видение революции в Германии, восстания в Дрездене и подробно рассказал о Михаиле Бакунине, которого считал своим другом. Их знакомство состоялось весной 1849 года на генеральной репетиции 9-й симфонии Бетховена, когда Вагнер дирижировал оркестром. Может ли что-либо быть символичнее! Бакунин находился в городе на нелегальном положении, но на концерт явился, ни от кого не таясь. По его окончании он безбоязненно прошел в оркестр, пожал Вагнеру руку и громогласно (так, что слышали все присутствующие) заявил, что если бы при ожидаемом «великом мировом пожаре» предстояло бы погибнуть всей музыке, то все революционеры обязаны были бы объединиться, дабы отстоять симфонию Бетховена, даже рискуя жизнью.

Слава Рихарда Вагнера, бывшего всего на год старше Бакунина, к тому времени гремела по всей Германии. Воспоминания автора «Риенци», «Летучего голландца», «Тангейзера», «Лоэнгрина» — один из самых ценных источников, содержащих сведения о Бакунине:

«Заинтересовался я этим необыкновенным человеком уже давно. Много лет назад имя его всплыло передо мной с газетных страниц, в сочетании с какими-то с необыкновенными обстоятельствами. Он выступил в Париже на одном из польских собраний с заявлением, что не придает никакого значения различию между поляком и русским, что важно лишь одно: хочет ли человек быть свободным или нет. Впоследствии я узнал от Георга Гервега, что, происходя из родовитой семьи, он отказался от всяких личных средств, и оставшись на бульваре с двумя франками в кар-

мане, тут же отдал их нищему: ему казалось мучительным чувствовать себя связанным с прежней жизнью и сознавать себя сколько-нибудь обеспеченным. О пребывании его в Дрездене сообщил мне однажды Рекель*, в то время совершенно “одичавший”. Он приглашал меня отправиться на квартиру, где укрывался Бакунин, и познакомиться с ним лично. После пражских летних событий 1848 года, после заседаний Славянского конгресса, Бакунина преследовало австрийское правительство. Он бежал в Дрезден, не желая чересчур удалиться от Богемии. Особенное подозрение вызвал он в Праге тем, что чехов, искавших в России опору против ненавистной им германизации, призывал защищаться огнем и мечом против тех же русских, против всякого народа, выступающего под знаменем деспотизма, под жезлом неограниченной державности. Одних этих поверхностных сведений было достаточно, чтобы во всяком немце рассеять национальное по отношению к нему предубеждение и даже привлечь к нему общие симпатии. Когда я впервые увидел Бакунина у Рекеля, в ненадежной для него обстановке, ме-

* *Август Рекель* (1814—1876) — друг и коллега Вагнера, композитор и дирижер, заведующий музыкальной частью Дрезденской оперы. Одновременно — видный деятель революционно-демократического движения. За опубликование «Открытого письма к солдатам», в котором он призывал к неповиновению властям и переходу на сторону революции, был арестован. Бакунин считал его одним из выдающихся вождей демократической партии, и, когда вспыхнуло Дрезденское восстание, направил его в Прагу к своим друзьям — чешским патриотам — с тем, чтобы ожидаемую славянскую революцию объединить с немецким демократическим движением. После разгрома Дрезденского восстания Рекель вместе с Бакуниным и председателем Временного правительства Гейбнером был приговорен к расстрелу, замененному пожизненным заключением. Вот что написал он в своих мемуарах о русском «демоине революции»: «Я познакомился с Бакуниным несколькими месяцами раньше, когда он из Лейпцига тайком прибыл в Дрезден и несколько дней скрывался у меня. Как человеку редкой силы духа и твердости характера, соединенных с импонирующей внешностью и увлекательным красноречием, ему везде легко удавалось поднимать настроение молодежи до энтузиазма и увлекать за собою даже более зрелых людей, тем более что его воззрения, свободные от национальной ограниченности, проникнуты были благороднейшим и широчайшим гуманизмом. Но именно его пылкая фантазия в соединении с бессознательным честолюбием богато одаренной натуры, чувствовавшей себя призванною к тому, чтобы руководить и повелевать, часто толкала его к самообману насчет действительного положения вещей. Его ближайшим стремлением было объединение славянской и немецкой демократии против русского царизма, тогдашней главной опоры абсолютизма; а его многочисленные личные связи с единомышленниками во всех областях Австрии, равно как в Польше и России, заставляли его считать достижение этой цели гораздо более близким, чем оно является и по сей день».

ня поразила необыкновенная импозантная внешность этого человека, находившегося тогда в расцвете тридцатилетнего возраста. Все в нем было колоссально, все веяло первобытной свежестью. Он ничем не показывал, что ценит знакомство со мной, так как, по-видимому, людей, живущих интересами духа, он ставил невысоко, ища натур, способных отдаться делу с безоглядной активностью. Как я впоследствии убедился, это было скорее теоретическое построение его ума, чем живое личное чувство: чересчур много он говорил об этом. В спорах Бакунин любил держаться метода Сократа. Видимо, он чувствовал себя прекрасно, когда, растянувшись на жестком диване у гостеприимного хозяина, мог диспутировать с людьми различнейших взглядов о задачах революции. В этих спорах он всегда оставался победителем. С радикализмом его аргументов, не останавливавшихся ни перед какими затруднениями, выражаемых притом с необычайной уверенностью, справиться было невозможно. Он отличался необыкновенной общительностью. Уже в первый вечер нашего знакомства рассказал он мне всю историю своего развития...»

В мемуарах Вагнера много бытовых зарисовок, живых картин. Вот одна из них: «Однажды мне удалось уговорить его прослушать первые сцены “Летучего голландца”. Я играл и пел, и этот страшный человек обнаружил себя тут с совершенно неожиданной стороны. Он слушал музыку внимательнее всех других. А когда я сделал перерыв, он воскликнул: “Как прекрасно!” И просил играть еще и еще. Так как ему приходилось вести печальную жизнь скрывающегося от преследований беглеца, я иногда зазывал его вечером к себе. Жена подавала к ужину нарезанную мелкими кусками колбасу и мясо, и вместо того, чтобы, по саксонскому обычаю, экономно накладывать их на хлеб, он сразу поглощал все. Заметив ужас Минны, я осторожно стал поучать его, как у нас едят это блюдо. На это он ответил с улыбкой, что поданного на стол достаточно, что, хотя он чувствует свою вину, ему надо позволить справиться с блюдом по-своему. Не нравилось мне также, как он пил вино из небольшого стакана. Вообще он не одобрял этого напитка. Ему была противна та филистерская медленность, с какой благодущный обыватель напивается допьяна, поглощая вино маленькими дозами. Хороший стакан водки приводит к той же цели, быстро и решительно. Ненавистнее всего была для него рассчитанная умеренность, умышленно медленный темп наслаждения. Истинный человек стремится только к самому необходимому удовлетворению своих потребностей.

Существует только одно наслаждение, достойное человека — любовь».

Последний пассаж очень точно характеризует Бакунина: он варьировал, как музыкальную тему, смысл самого понятия — любовь к женщине, любовь к человеку, любовь к родине, любовь к революции... Революционно настроенного Вагнера, естественно, интересовала суть мировоззрения его русского друга. И почти со всем композитор солидаризировался. Свои надежды Бакунин основывал на русском национальном характере — именно в нем, по его мнению, ярче всего проявлялся славянский тип. Основной чертой русского народа он считал наивное чувство братства.

Особенно запомнилось Вагнеру утверждение, что в русском народе, по его словам, живет не то детская, не то демонская любовь к огню, что наглядно проявилось при нашествии Наполеона, когда сами горожане сожгли Москву. В мужике, развивал свою мысль Бакунин, цельнее всего сохранилась злобность природы, удрученной обстоятельствами. Его легко убедить, что предать огню замки господ со всеми их богатствами — дело справедливое и богоугодное. Охватив Россию, пожар перекинется на весь мир. Тут подлежит уничтожению все то, что, освещенное в глубину, с высоты философской мысли, с высоты современной европейской цивилизации является источником одних лишь несчастий человечества. Привести в движение разрушительную силу — вот цель, единственно достойная разумного человека.

Разрушение современной цивилизации — цель, которая наполняла русского бунтаря энтузиазмом. Но его планы нередко вызвали у окружающих иронические замечания. К нему приходили революционеры всевозможных мастей. Ближе всего ему, конечно, были славяне, так как их он считал наиболее пригодными для борьбы с русским деспотизмом. Французов, несмотря на их республику и прудоновский социализм, он не ставил ни во что. К демократии, к республике, ко всему подобному, по словам Вагнера, он относился безразлично, как к вещам несерьезным. Когда говорили о перестройке существующих социальных основ, он обрушивался на возражающих с уничтожающей критикой. Композитор вспоминает, как однажды один поляк, испуганный его теорией, сказал, что должна же быть хоть какая-нибудь государственная организация, которая могла бы обеспечить человеку возможность пользоваться плодами трудов своих. Бакунин ответил: «Тебе придется, стало быть, огородить свое поле и создать полицию для его охраны». Поляк сконфуженно замолчал.

Устроители нового мирового порядка, согласно теории Бакунина, найдутся сами собой. Теперь же необходимо думать только о том, как отыскать силу, готовую все разрушить. Неужели, спрашивал он, кто-нибудь из нас безумен настолько, что надеется уцелеть в пожаре всеобщего развала. Представим себе, что весь европейский мир, с Петербургом, Парижем и Лондоном, сложен в один костер. Можно ли думать, что люди, которые зажгут его, начнут потом строить на его обломках? Тем, кто заявлял о своей готовности пожертвовать собой, он отвечал, что все зло — в благодушных филистерах. Типом такого филистера он представлял себе протестантского пастора. Он не мог допустить, чтобы немецкий пастор в состоянии был стать истинным человеком. Он поверил бы этому только в том случае, если бы тот самолично предал огню все свое поповское достояние, свою жену и детей...

* * *

Дрезден в эти дни предоставлял прекрасную возможность для апробации и реализации бакунинских идей, хотя взор его по-прежнему был обращен к Праге. Именно туда он, находившийся на нелегальном положении, слал зашифрованные письма и отправлял тайных эмиссаров в надежде, что удастся еще раз организовать выступление против австрийских властей. Бакунину казалось: достаточно одной искры — и в сердцах чехов проснется бунтарский дух их великих предков — гуситов и таборитов, — поставивших в XV веке на дыбы чуть ли не всю Центральную Европу, и пожар новой народной войны заполыхает повсюду. Увы, времена и люди стали совсем другими, а героическое прошлое осталось лишь в песнях да преданиях.

Восстание в Саксонии ознаменовало последний всплеск двухгодичной революции в Германии: по правде сказать, его никто не ожидал. Власти сами спровоцировали народ на вооруженное выступление. Саксонский король вслед за правителями других раздробленных германских государств отказался принять общегерманскую объединительную конституцию, разработанную Франкфуртским национальным собранием, избранным на волне революционных событий. В ответ на происки контрреволюционных сил повсюду начались волнения. Особенно острый характер они приобрели в Дрездене. Герцен, как всегда, был краток, описывая эти события и участие в них Бакунина:

«Едва лишь революция разразилась в Дрездене, он по-

явился на баррикадах; его уже там знали и горячо любили. Образовалось временное правительство. Бакунин предложил ему свои услуги. Обладая большей энергией, чем его друзья, не облеченный формальными полномочиями, он сделался военным вождем осаждаемого города. Он обнаружил при этом не только мужество, но и героическое, невозмутимое присутствие духа.

Узнав, что королевские солдаты еще не решились на истребление своих братьев, что в них не умолкла еще совесть, что они шадят даже здания, Бакунин предложил развесить лучшие произведения Дрезденской галереи на стенах и баррикадах. Это могло бы действительно остановить осаждающих. “А если они будут стрелять?” — возразили члены муниципалитета. — “Тем лучше, пусть на них падет позор этого варварства”. Эстетичный муниципалитет не согласился. И таким же образом целый ряд революционных и террористических мер, предложенных Бакуниным, был отклонен. Когда уже больше ничего не оставалось делать, Бакунин предложил поджечь дома аристократов и взорвать ратушу вместе со всеми членами правительства, не исключая и его самого. Говоря это, он держал в руке заряженный пистолет».

О своем предложении выставить на баррикадах «Сикстинскую мадонну» Рафаэля и картины Мурильо, имевшие к тому же религиозное содержание, сам Бакунин позже не упоминал, хотя и не опровергал этой легенды. Но ведь и Герцен скорее всего получил подобную информацию от Бакунина — больше было не от кого! Рихард Вагнер довольно обстоятельно описал происходившее на его глазах:

«В тот же день, 3 мая, я отправился в ту часть города, откуда доходили слухи о кровопролитном столкновении. Как я узнал, схватка вышла у цейхгауза. Возбужденная толпа хотела силой взять этот стратегический пункт, но солдаты разогнали ее картечью <...>

Я не испытывал прямого желания вмешаться в ряды борцов, но возбуждение и участие к происходящему росло во мне с каждым шагом. Не сливаясь с бушующей толпой, я проник в здание ратуши. Сначала мне показалось, что представители города действуют с народом заодно. Но попав незамеченным в самый зал заседания, я убедился, что здесь царит полнейшее замешательство и растерянность. С наступлением ночи я медленно направился домой, в отдаленный Фридрихштадт, пробираясь через сооружаемые везде баррикады».

Тут неожиданно Вагнер столкнулся лицом к лицу с Бакуниным и более уже не упускал его из виду до последнего (увы, — печального) дня Дрезденского восстания. В черном

фраке, с папиросой во рту, Бакунин бродил по городу. В принимаемых населением мерах защиты он видел только признаки детской беспомощности и принялся с присущей ему энергией вмешиваться в организацию восстания. Кажется, он был повсюду. То на одной, то на другой баррикаде маячил его огромный силуэт с львиной гривой. С двумя польскими эмигрантами (впрочем, очень скоро исчезнувшими со сцены) он создал штаб обороны города, разместив его в ратуше, где заседало временное правительство. Общение с другом Вагнер описал с протокольной точностью:

«<...> Исключительное впечатление овладело мной, когда я вступил в ратушу. Здесь шла тяжелая борьба, организованная, серьезная. Следы величайшего утомления лежали на всех лицах, ни один голос не звучал натурально. Все хрипели тяжело. <...> Один только Бакунин сохранил ясную уверенность и полное спокойствие. Даже внешность его не изменилась ни на йоту, хотя и он за все это время ни разу не сомкнул глаз. Он принял меня, лежа на одном из матрацев, разложенных в зале ратуши, с сигарой во рту. <...> От Бакунина я узнал кратко и точно обо всем, что произошло за время моего отсутствия (Вагнер вывозил за пределы обстреливаемого из пушек Дрездена свою семью. — В. Д.). От решенного в те дни отступления отказались, так как боялись, что оно подействует деморализующим образом на прибывшие многочисленные отряды. Напротив, жажда битвы была так велика и силы защитников так значительны, что еще можно было успешно бороться с солдатами. <...> Бакунин предложил поэтому снести в погреба ратуши наличные пороховые запасы и взорвать ее, когда приблизятся войска. Городская управа, продолжавшая заседать где-то в задней комнате, самым решительным образом протестовала против этого. Он, Бакунин, настаивал на необходимости этой меры. Но его перехитрили, удалив из ратуши весь порох... <...>»

В водовороте революционных событий колоссальная фигура Бакунина притягивала как магнит. Сгусток энергии, шаровая молния — не иначе! Лицо, грудь открыты для всех... Любой враг может незаметно подкрасться и сразить насмерть... Кого же все это напомнило композитору, не спускавшего глаз со своего русского друга? Ну конечно, *Зигфрида*, вероломно убитого в спину копьем нибелунга Хагена. Вагнер всегда сам писал либретто своих опер. Вот и сейчас он находился во власти нового замысла — воплотить в грандиозную музыкальную постановку средневековые германские легенды, уходящие своими корнями в еще более глубокое прошлое.

Любимый герой немецкого народа, считал Вагнер, — человек, принадлежащий не только прошлому, но и будущему, которого мы ждем и жаждем. Более того, в нем аккумулярованы все компоненты идеала современности. Он — носитель мировой воли, реализуемой в повседневных деяниях и направленных на освобождение людей от зла и страданий, нищеты и угнетения. Во имя этого бесстрашный герой готов — не задумываясь и в любой момент — пожертвовать своей жизнью.

Композитор успел уже сделать несколько набросков и выбрал название своему музыкальному опусу — «Смерть Зигфрида» (впоследствии он вольется в кульминационную часть бессмертной тетралогии). Аналогия между Зигфридом и Бакуниным напрашивалась сама собой. Такая же негибкая сила воли! Такая же непреклонная целеустремленность, направленная на решительное изменение несовершенной жизни! Такое же самопожертвование во имя счастья других! Такая же трагическая судьба! И когда в относительно скором времени зазвучит гениальная музыка, в воображении и памяти композитора образ Зигфрида невольно сольется с образом живого героя революции — *Михаила Бакунина...*

Между тем Дрезденское восстание захлебывалось в крови. Тысяча вооруженных рудокопов, подоспевших на помощь инсургентам с близлежащих гор, не смогли перетянуть чашу весов в пользу восставших. Ружья, пистолеты, сабли, кинжалы были бессильны против картечи и снарядов. На помощь саксонской армии прибыли прусские войска, развязавшие в городе настоящий террор. Повстанцев расстреливали на месте без суда и следствия, закалывали штыками всех, кто попадался под руку. Дома поджигались, прямой наводкой сносились баррикады. Бакунин еще раньше предлагал реализовать запасной план, наиболее оптимальный в создавшихся условиях: организованно отойти в горы и там начать народную партизанскую войну. Но время было упущено. Приходилось отступать неорганизованно и в спешке. Тем не менее Михаилу удалось вывести из окружения более полутора тысяч повстанцев...

Поздно ночью Бакунин и руководитель дрезденского временного правительства Отто Гейбнер прибыли в саксонский город Хемниц, рассчитывая создать здесь базу сопротивления (а в перспективе — партизанского движения). Они остановились на ночевку в дорожной гостинице. Вагнер приехал позже на почтовой карете и тем самым избежал ареста. Вождей дрезденского восстания выследили и предали

соратники из «коммунальной гвардии», сообщив об их появлении жандармам. Именем королевского правительства Бакунин и Гейбнер были арестованы и препровождены в тюрьму. Вагнеру, к счастью для него самого и мировой культуры, удалось избежать этой участи. С риском для жизни он добрался до баварской границы, там сел на пароход, курсировавший по Боденскому озеру, и оказался в Швейцарии. Великому композитору суждено было жить там много лет на положении эмигранта...

* * *

Спустя пятнадцать лет Бакунин так оценивал свое участие в европейских революциях: «В прошлой моей жизни нет ни одного факта, за который я должен был бы краснеть. В 1848 и 1849 годах, равно как и нынче, я верил только в человечество и имел в виду только одну цель — торжество свободы. <...>» (выделено мной. — В. Д.).

Личность Бакунина-бунтаря не могла не притягивать к себе художников слова. Неудивительно, что он послужил прототипом для ряда произведений русской поэзии и прозы. В 1838 году Константин Аксаков, соратник Михаила по кружку Станкевича, написал балладу «Молодой крестоносец» и посвятил ее Бакунину. Образ рыцаря-паладина он во многом списывал с будущего «апостола свободы»:

Бьется сердце молодое;
Перед ним вдали, как сон,
Все небесное святое,
Все, чем в жизни дышит он.
И от Запада к Востоку,
Меч и посох под рукой,
Он идет к стране далекой,
Крестоносец молодой.

Трудно не увидеть в этих поэтических строках намек, хотя и в символической и романтической форме, на будущую всемирную миссию Михаила Бакунина. А И. С. Тургенев, когда писал роман «Рудин», наделил своего героя многими хорошо узнаваемыми бакунинскими чертами, начиная от львиной гривы и кончая вечным безденежьем.

А Герцен в «Былом и думах» так написал о прототипе главного героя нашумевшего романа: «Тургенев, увлекаясь библейской привычкой Бога, создал Рудина по своему образу и подобию; Рудин — Тургенев 2-й, наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина». Трудно в таком случае решить, к кому именно — к Бакунину, самому Тургеневу

или же вымышленному персонажу — отнести такую, к примеру, нелицеприятную характеристику: «Рудин казался полным огня, смелости, жизни, а в душе был холоден и чуть ли не робок, пока не задевалось его самолюбие: тут он на стены лез. Он всячески старался покорить себе людей, но покорял он их во имя общих начал и идей и действительно имел влияние сильное на многих. Правда, никто его не любил; один я, может быть, привязался к нему». И все же главное качество Рудина, как и Бакунина, — *любовь к свободе!* Герой романа Тургенева провозглашает свое кредо словами другого героя романа — бессмертного Дон Кихота: «Свобода — ... одно из самых драгоценных достояний человека, и счастлив тот, кому небо даровало кусок хлеба, кому не нужно быть за него обязанным другому!»

Роман «Рудин» Тургенев писал летом 1855 года (опубликован он был в 1856 году в январском и февральском номерах журнала «Современник»), когда Бакунин отбывал бессрочное заключение в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Однако для своего главного героя писатель избрал героическую смерть: в Эпиллоге постаревший Дмитрий Рудин с красным знаменем в руках гибнет от пуль карателей на одной из парижских баррикад в трагические дни июньского восстания 1848 года. (Тургенев был очевидцем баррикадных боев в Париже.)

По выходе романа в свет многие близкие друзья тотчас же узнали в его главном герое незабвенного Мишеля. Сам автор тоже не отрицал, что попытался в Рудине изобразить «верный портрет» молодого Бакунина. Впрочем, не все разделяли это мнение. Если Боткин, к примеру, признавал между Рудиным и Бакуниным стопроцентное сходство, то Герцен, как уже говорилось, начисто отрицал идентичность литературного героя и Бакунина. Но разве в этом дело — похож или не похож? Важно другое: своим персонажем Тургенев вновь привлек внимание читающей публики и демократической общественности России к «замечательному десятилетию» (как выразился П. В. Анненков) и не менее замечательным людям того времени.

Спустя полтора десятилетия к личности Бакунина обратился еще один гигант отечественной литературы — Ф. М. Достоевский. «Антинигилистический» роман «Бесы» создавался под непосредственным впечатлением от драматических событий, разыгравшихся в те годы в России. Можно ли считать Бакунина прототипом Николая Ставрогина? К этому вопросу мы еще вернемся ниже, когда нить повествования приведет нас в 70-е годы XIX века...

Глава 6

УЗНИК ЕВРОПЕЙСКИХ МОНАРХОВ

11 мая 1849 года немецкие жандармы оповестили своих русских коллег об аресте опасного преступника. «В числе дрезденских мятежников, — говорилось в секретной депеше, — захваченных в Хемнице, привезен туда и Бакунин». В Петербурге ликовали. Там уже давно была назначена награда в 10 тысяч рублей за его поимку. История сохранила для потомков реакцию Николая I на полученное известие. «Наконец-то!» — изрек царь. Но радость оказалось несколько преждевременной. Вместо того чтобы незамедлительно этапировать преступника на родину, ему решили предъявить полный счет в Саксонии и Австрии. Накануне ареста Михаил успел уничтожить записную книжку с зашифрованными адресами и фамилиями. Но жандармам удалось заполучить множество других бумаг и документов, компрометировавших пленника. С них-то и начались изнурительные допросы.

После временного содержания в дрезденской тюрьме и кавалерийских казармах арестанта перевели в казематы Кенигштейнской крепости, расположенной на высоком берегу Эльбы (где еще недавно скрывался от восставшего народа саксонский король). Протоколы допросов Бакунина сохранились и неоднократно публиковались. Они казенны и не блещут оригинальностью, как и любые другие плоды полицейского «творчества»:

<...>

ВОПРОС № 3:

Политическая деятельность Бакунина была направлена главным образом против русского правительства.

ОТВЕТ:

Совершенно верно*.

* Готовясь к своей защите перед саксонским судом, Бакунин конкретизировал свой ответ: «Я — русский и сердечно люблю мое отечество, но вольность я люблю еще более, а люблю вольность и ненавижу деспотизм, я ненавижу русское правительство, которое считаю злейшим врагом свободы, благосостояния и чести России».

ВОПРОС № 4:

Поэтому Бакунин, так как он усмотрел в майской революции в Дрездене выступление против прусского влияния, а вместе с тем, ввиду влияния русской политики на Пруссию, и выступление против русского влияния, и так как эта революция показалась ему отвечающею его стремлению сломить или по крайней мере ослабить русское влияние на Германию, а сверх того многие его знакомые приняли участие в восстании, примкнул и действовал в инсurreкции (вооруженное восстание. — *В. Д.*), имевшей место в Дрездене в мае сего года.

ОТВЕТ:

Также верно.

ВОПРОС № 5:

Однако Бакунин отрицает, чтобы он подготовлял Дрезденское восстание или знал о его подготовке.

ОТВЕТ:

Это я определенно отрицаю.

.....

ВОПРОС № 10:

Бакунин ведал пороховым погребом и занимался раздачею пороха и доставкой боеприпасов.

ОТВЕТ:

Верно.

ВОПРОС № 11:

Бакунин распоряжался посылкою подкреплений.

ОТВЕТ:

Не всегда, а именно только в отсутствие Гейнце.

ВОПРОС № 12:

Бакунин посещал баррикады и инструктировал их командиров относительно способов получения припасов из ратуши.

ОТВЕТ:

Один только раз.

.....

ВОПРОС № 16:

Бакунин вместе с Борном составил не выполненный однако позже план собрать все силы и атаковать войска с двух сторон.

ОТВЕТ:

Я только разговаривал с Борном об этом плане, но сам я его не составлял.

ВОПРОС № 17:

Бакунин обсуждал с Борном план отступления инсургентов.

ОТВЕТ:

Это правда.

.....
ВОПРОС № 20:

Бакунин причастен к решению Гейбнера перенести восстание в Хемниц и с этой целью поехал также вместе с Гейбнером в Хемниц, но там был задержан.

ОТВЕТ:

Совершенно верно.

.....
Крепкие запоры, глубокие подвалы и непрерывные допросы не исключали возможности чтения книг и занятия самообразованием. Единственное, что категорически запрещалось, — чтение газет. Пользуясь тюремными порядками, Бакунин набросился на книги о Великой французской революции и мировую беллетристику. Его одиночество в полутемной камере скрашивали Шекспир и Сервантес, учебник английского языка, литература по математике и физике. Своему другу Адольфу Рейхелю он направил список из двенадцати названий с просьбой раздобыть и передать в тюрьму целую библиотеку фундаментальных трудов по математике, включая трехтомный трактат по дифференциальному и интегральному исчислению, алгебраическому и геометрическому анализу, классические работы Эйлера, Лагранжа, Монжа и др. В письме сестре Рейхеля — Матильде — Бакунин так описывает свой распорядок дня:

«Что касается моей здешней жизни, то она очень проста и может быть описана в немногих словах. <...> В семь часов утра я встаю и пью кофе; потом сажусь за стол и до двенадцати занимаюсь математикой. В двенадцать мне приносят еду; после обеда я бросаюсь в кровать и читаю Шекспира или же просматриваю какую-нибудь математическую книгу. В два обычно за мною приходят на прогулку; тут на меня надевают цепь, вероятно для того, чтобы я не убежал, что, впрочем, и без того было бы невозможно, так как я гуляю между двумя штыками и бегство из крепости Кенигштейн кажется по крайней мере мне, невозможным. Может быть, это — тоже своего рода символ, чтобы напоминать мне в моем одиночестве о тех невидимых узах, которые связывают каждого индивидуума со всем человечеством. Как бы то ни было, но украшенный сим предметом роскоши я немного гуляю и издали любуюсь красотами Саксонской Швейцарии. Через полчаса я возвращаюсь, снимаю наряд и до ше-

сти часов вечера занимаюсь английским. В шесть я пью чай и опять принимаюсь за математику до половины десятого. Хотя у меня нет часов, но время я знаю довольно точно, так как башенные часы отбивают каждую четверть часа, а в половине десятого вечера слышится меланхолическая труба, пение которой, напоминающее горькую жалобу несчастного влюбленного, служит знаком того, что надо тушить свет и ложиться спать. Понятно, я не могу сразу заснуть и обычно не сплю за полночь. Это время идет [у меня] на всевозможные размышления, особенно о тех немногих любимых людях, дружбою которых я столь дорожу. Мысли беспощинны, не стеснены никакими крепостными стенами, и вот они бродят по всему свету, пока я не засыпаю. Каждый день повторяется та же история...»

Вместе с тем у Бакунина изменилось отношение к философии, слишком далекой, по его мнению, от реальной жизни и тех конкретных задач, которые ему приходилось решать во время бурных революционных событий. «Я теперь... <...> не жажду ничего иного, кроме положительного знания, — пишет он в письме от 9 декабря 1849 года все тому же Рейхелю, — которое помогло бы мне понять действительность и самому быть действительным человеком. Абстракции и призрачные хитросплетения, которыми всегда занимались метафизики и теологи, противны мне. Мне кажется, я не мог бы теперь открыть ни одной философской книги без чувства тошноты. <...>».

В Кенигштейне он познакомился с австрийским писателем Фердинандом Кюрнбергером (1821—1879), проходившим, как принято выражаться, по другому делу — участие в Венской революции. Он бежал после ее поражения в Дрезден, где и был арестован. Однажды им довелось иметь продолжительную беседу о судьбах революции в Европе, о чем Кюрнбергер оставил воспоминания: «Немецкие революции, до сих пор оканчивались неудачами потому, что четвертое сословие, единственный творческий фактор нашего общества, было соращено с пути истинного или предано третьим сословием, буржуазией и доктриной, — был убежден Бакунин. Разошлись мы с ним только в выводах. Я в моем тогдашнем негодовании полагал, что немецкая цивилизация расслабляюще действует на людей, и желал для вашего гамлетовского народа немного той первобытной дикости, которая делает восточные народы, как, например, поляков и венгров, столь воинственными. Бакунин же стоял на противоположной точке зрения. Так как немец не обладает ни темпераментом западного романца, ни дикостью восточного

славянина, то ему, чтобы развить в себе воинственность, не остается ничего иного как до крайних пределов развить ему свойственную доктринерскую особенность: воодушевление идей. Эта доктрина должна проникнуть в самую глубину пролетариата, не изменяя его характера. Из такого союза силы и познания и должен явиться на свет тот вождь, которого до сих пор так не хватало немецким революционным битвам и который должен сочетать в себе дикий боевой клич пролетария с высоким полетом мыслителя: солдат и полководец в одном лице».

Оба арестанта сошлись на мысли, что европейская революция 1848—1849 годов потерпела поражение только потому, что ее не мог возглавить человек, в ком бы соединились активность и твердость воли с критическим пониманием истории и современности. Вождем революции мог бы стать только «величайший философ духа и подлиннейший пролетарий». По свидетельству другого немецкого заключенного революционера, Бакунин вообще считался в тюрьме самым опасным из всех арестантов, и ему даже приписывались «сверхчеловеческие силы». Несмотря на внешнюю неприступность крепости Кенигштейн, охрана симпатизировала узникам, некоторые из солдат выражали даже готовность освободить революционеров или помочь им бежать. Настроение гарнизона не было секретом для начальства, поэтому вскоре караул поголовно заменили более надежными стражниками.

14 января 1850 года саксонский суд вынес смертный приговор руководителям Дрезденского восстания — Бакунину, Гейбнеру и Рекелю. Все трое приговаривались к расстрелу. Такое решение по-своему даже удовлетворило Михаила: всё кончится в считанные мгновения и ему не придется остаток жизни проводить в каменном мешке («живой могиле», как он сам выражался) безо всякой надежды на освобождение. Он написал Матильде Рейхель: «<...>Итак, Вы уже знаете, что я приговорен к смерти. Теперь я должен сказать Вам в утешение, что меня уверили, будто приговор будет смягчен, то есть заменен пожизненной тюрьмой или столь же продолжительным заключением в крепости. Я говорю “Вам в утешение”, потому что для меня это — не утешение. Смерть была бы мне куда милее. Право, без фраз, положи руку на сердце, я в тысячу раз предпочитаю смерть. Каково всю жизнь пряхь шерсть или сидеть в одиночестве, в бездействии, никому ненужным в крепости за решеткой, просыпаясь каждый день с сознанием, что ты заживо погребен и что впереди еще бесконечный ряд таких безотрадных дней! На-

против, смерть — только один неприятный момент, к тому же последний, момент, которого никому не избежать, наступает ли он с церемониями, с законными заклинаниями, трубами и литаврами, или захватывает человека неожиданно в постели. Для меня смерть была бы истинным освобождением. Уже много лет нет у меня большой охоты к жизни. Я жил из чувства долга, смерть же освобождает как от всякого долга, так и от ответственности. Я вправе желать смерти, так как ничья жизнь не связана неразрывно с моею...»

Друзья уже мысленно попрощались с приговоренным к смерти. Вагнер, сумевший выехать из Швейцарии во Францию, переправил Бакунину и другому осужденному — Рекелю — трогательное письмо: «Дорогие друзья! Пишу не затем, чтобы говорить слова утешения, так как знаю, что в утешении вы не нуждаетесь. До меня только что дошло известие, что король Саксонский утвердил смертный приговор над вами, — и я хочу доставить вам некоторую радость, хочу послать вам мой горячий братский привет. Но я далеко от вас. С отчаянием думаю о том, что эти строки, может быть, до вас не дойдут. Желая только одного, чтобы они застали вас в живых.

Во сне и наяву — всегда вы были и оставались мне близки и дороги: в обаянии силы и страданий, достойные одновременно зависти и слез. Теперь пишу вам, готовым принять удар от руки того палача, за человеческое достоинство которого вы боролись. Братья, я хочу признаться в своем малодушии: из любви к вам я мечтал о том, чтобы вам даровали жизнь. Теперь я понял: величие и мощи вашей соответствует жестокий жребий, уготованный для вас врагами. Ваша сила и смелость принудили их решиться на самые отчаянные шаги. Этим они выдали свое преклонение перед вами. Вы вправе гордиться собой. Дорогие братья! Что казалось нам самым необходимым для того, чтобы люди могли переродиться в настоящих людей? Необходимо, чтобы нужда заставила их стать героями. И мы видим теперь перед собой двух таких героев, которые, влекомые святой потребностью любви к людям, поднялись до радости истинного мужества! Привет вам, дорогие! Вы показываете нам, чем могли бы быть мы все. Умрите с радостным чувством того значения, которое вы приобрели для нас.

Позвольте мне, вашему далекому другу, прибавить одну каплю сладости к той священной и торжественной чаше, которую вам предстоит испить. Хочу сообщить вам, что окруженный заботой, возвышенной дружбой и любовью, сво-

бодный и бодрый, взираю я теперь на будущее и, окрыленный новыми силами, работаю над тем же делом, за которое вы, герои, отдаете сейчас свою жизнь. Мой Михаил, мой Август! Милые, дорогие, незабвенные братья! Вы будете жить! Слух о вас все шире и шире распространится среди людей, и имена ваши станут символом любви и блаженства для будущего человечества. Примите же смерть, окруженные удивлением, поклонением и — любовью! Если суждено мне испытать невыразимое счастье получить от вас последний привет, — вы знаете, где найти меня... Только бы это письмо дошло до вас, ибо не сомневаюсь, что вы исполните мое горячее желание.

Итак, дорогие братья, обнимаю вас со всем жаром любящей души. Этим моим поцелуем и этой моей слезой приобщаюсь к тому величию, которым вы осенены сейчас в моих глазах! Радостно и гордо, как вы, хочу и я когда-нибудь отдать свою жизнь на алтарь нашей дружбы!»

Однако саксонские власти не спешили приводить приговор в исполнение. Приговоренному к смерти предложили составить прошение о помиловании, но Бакунин отказался это сделать. До самой смерти Бакунина сопровождала легенда: будто бы на предложение саксонских властей обратиться к королю с ходатайством о помиловании несгибаемый узник ответил: «Предпочитаю быть расстрелянным!» В действительности же король попросту не решался утверждать смертную казнь руководителям Дрезденской революции, опасаясь возмущения подданных. Поэтому после множества проволочек он принял решение заменить смертную казнь на пожизненное заключение и одновременно выдать Бакунина Австрии в связи с участием в Пражском восстании. В ночь с 12 на 13 июня арестант был разбужен и закован в кандалы. Он подумал, что пришло время казни, но его отвезли на границу и передали австрийским жандармам.

* * *

Бакунина доставили в Прагу, а спустя девять месяцев перевели в крепость Ольмюц (современный чешский город Оломоуц). Немецкие тюрьмы (саксонские — в особенности) в сравнении с австрийскими могли показаться санаторием. Русскому революционеру запретили переписку и любое другое общение с внешним миром, его поместили на нижнем полуподвальном этаже старинного замка, где круглосуточно у дверей камеры дежурил часовой. Всего же опасного узника, в коем следователи усматривали одну из ключевых фи-

гур Пражского восстания и чуть ли не координатора всеевропейской революции, охраняло до двадцати человек. Относительно руководителей восстания из числа чешских патриотов следствие было в основном завершено.

От Бакунина ожидали подтверждения данных им прежде показаний, а также раскрытия конкретных деталей и имен. По поводу последнего пункта он сразу расставил все точки над *i*: «Я должен здесь заявить, что вдаваться в подробности относительно отдельных лиц совершенно противоречит моему принципу, однажды мною уже высказанному. Я допускаю, что многое стало известным благодаря показаниям лиц, допрошенных во время следствия. Если, например, братья Страки многое рассказали, то они и отвечают за содержание своих речей. Я же могу отвечать только на определенные вопросы, но отнюдь не на вопросы общего характера, ибо могло случиться, что то или иное обстоятельство, то или иное лицо вообще ускользнули от следствия, и ответами общего характера я рисковал бы кого-нибудь скомпрометировать». И еще: «Принципы вы мои знаете, я их не таил и высказывал громко; я желал единства демократизированной Германии, освобождения славян, разрушения всех насильственно сплоченных царств, прежде всего разрушения Австрийской империи; я взят с оружием в руках — довольно вам данных, чтобы судить меня. Больше же ни на какие вопросы я вам отвечать не стану». На вопрос следователя: «Каковы были ваши политические идеи, в частности по отношению Австрии?» — последовал ответ: «Мое личное убеждение, что австрийская монархия совершенно несовместима с понятием о свободе и может существовать лишь при помощи насилия».

В Ольмюце условия содержания узника оказались особенно тяжелыми — здесь Бакунина приковали железной цепью к стене, лишив прогулок и общения с посетителями. Австрийцы всерьез опасались попыток его насильственного освобождения. Им всюду мерещились закутанные в черные плащи карбонарии, прячущие под полами пистолеты и кинжалы. Наконец, тюремщики могли вздохнуть свободно: 15 мая 1851 года австрийским военным судом Бакунин был приговорен к смертной казни через повешение «за государственную измену по отношению к Австрийской империи».

Впрочем, власть предержавшие давно договорились о дальнейшей судьбе «опасного преступника». Молодой австрийский император, подобно своему саксонскому собрату, «великодушно» заменил смертную казнь на пожизненное заключение и с легким сердцем распорядился выдать узника другому своему собрату — русскому императору

Николаю I, который за два года до этого помог Габсбургской династии подавить революцию в Венгрии, отправив на поддержку терпящих поражение австрийцев армию под командованием И. Ф. Паскевича. На границе австрийские жандармы потребовали возвращения казенного имущества, и европейские наручники заменили на русские кандалы. Впоследствии Бакунин поведал об этом эпизоде Герцену в присутствии Натальи Алексеевны Тучковой-Огаревой (1829—1913), записавшей рассказ и включившей его в свои мемуары:

«<...> Раз ночью он был пробужден непривычным шумом. Двери шумно отворялись и запирались, замки щелкали; наконец, шаги идущих приблизились, разные начальники вошли в тюрьму: смотритель тюрьмы, сторожа и какой-то офицер. Бакунину приказали одеваться. “Я ужасно обрадовался, — говорил Бакунин, — расстреливать ли ведут, в другую ли тюрьму переводят — все перемена, стало быть, все к лучшему. Меня повезли в закрытом экипаже на железную дорогу и посадили в закрытый вагон с крошечными окнами. Вагон этот, вероятно, переставляли, когда нужно было менять поезда, меня не выводили ни на одной станции.

Чтобы подышать свежим воздухом, я придумал просить поест, но это не привело к желаемому результату, мне принесли поест в вагон. Наконец, мы добрались до конечной цели нашего путешествия. Меня вывели скованного из темного вагона на ярко освещенный зимним солнцем дебаркадер. Окидывая беглым взглядом станцию, я увидел русских солдат, сердце мое радостно дрогнуло, и я понял, в чем дело.

Ну, поверишь ли, Герцен, — продолжал он, — я обрадовался, как дитя, хотя не мог ожидать ничего хорошего для себя. Повели меня в отдельную комнату, явился русский офицер, и началась сдача меня, как вещи; читали официальные бумаги на немецком языке. Австрийский офицер, жиденький, сухощавый, с холодными, безжизненными глазами, стал требовать, чтобы ему возвратили цепи, надетые на меня в Австрии. Русский офицер, очень молоденький, застенчивый, с добродушным выражением в лице, тотчас согласился на обмен цепей. Сняли австрийские кандалы и немедленно надели русские. Ах, друзья, родные цепи мне показались легче, я им радовался и весело улыбался молодому офицеру, русским солдатам. ‘Эх, ребята, — сказал я, — на свою сторону, знать, умирать’. Офицер возразил: ‘Не дозволяется говорить’. Солдаты молча с любопытством поглядывали на меня»...

Через несколько дней арестант был доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость, в сырую одиночную камеру Алексеевского рavelина. Он ждал каждодневных изнурительных допросов, но они почему-то не начинались. Впрочем, все необходимые формальности были соблюдены. А спустя два месяца к Бакунину прибыл шеф жандармов граф А. Ф. Орлов и объявил, что государь пожелал выслушать чистосердечные признания узника, и тот должен изложить их письменно как можно подробнее. Бакунин заколебался. С одной стороны, он понимал, что царь и Третье (жандармское) отделение собственной его величества канцелярии желали бы получить от своего пленника как можно больше сведений о революционных настроениях в России и в Европе. С другой стороны, затеянная царем и его окружением игра предоставляла возможность не только добиться какого-то послабления, но и в определенной степени ввести в заблуждение дознавателей.

В конечном счете Бакунин согласился дать письменные показания — при условии, что писать станет только о себе, не ставя под удар других. Заключенному выдали пачку бумаги, перо и чернильницу, и он принялся писать самое длинное письмо в своей жизни, получившее название «Исповеди». Достоинством широкой общественности она стала только после Октябрьской революции, когда ученые получили доступ к архивам жандармского ведомства. До публикации же в открытой печати его успели прочесть чуть больше десяти человек, включая самого царя и наследника престола.

Об «Исповеди» написаны горы книг и статей. В чем только не обвиняли Бакунина — в предательстве революционных идеалов, лжи, трусости, верноподданнических чувствах и прочих смертных грехах. Особенно злорадствовали политические противники анархистов: «Поглядите, какой у них идейный вдохновитель — унизился перед самим царем». Однако никакого унижения и тем более предательства не было! Просто жестокие обстоятельства продиктовали такую тактику поведения. Бакунин, который всегда слыл «великим конспиратором», не был бы Бакуниным, если бы не попытался переиграть своих мучителей. А для этого любые средства хороши.

Уже на склоне лет он учил революционную молодежь: «<...> Революционер может и часто должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер должен проникнуть всюду, во все низшие и средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в мир бюрократичес-

кий, военный, в литературу, в III отделение и даже в Зимний дворец». Что же тогда говорить о поведении революционера, который оказался в логове своих врагов? Да у него просто нет иного выхода, как попытаться ввести их в заблуждение! Никакой тайны из своего поступка Бакунин тоже не делал. В письме от 8 декабря 1860 года, нелегально отправленном Герцену из Сибири, Бакунин откровенно рассказывает о своем «грехопадении»:

«В 1851 году в мае я был перевезен в Россию, прямо в Петропавловскую крепость, в Алексеевский рavelин, где я просидел 3 года. Месяца два по моему прибытию, явился ко мне граф Орлов от имени государя: “Государь прислал меня к вам и приказал вам сказать: скажи ему, чтоб он написал мне, как духовный сын пишет к духовному отцу. Хотите вы писать?” Я подумал немного и размыслил, что перед *jugé* [жюри, суд присяжных], при открытом судопроизводстве я должен бы был выдержать роль до конца, но что в четырех стенах, во власти медведя, я мог без стыда смягчить формы, и потому потребовал месяц времени, согласился и написал в самом деле род исповеди, нечто вроде *Dichtung und Wahrheit* [поэзия и вымысел]; действия мои были, впрочем, так открыты, что мне скрывать было нечего. Поблагодарив государя в приличных выражениях за снисходительное внимание, я прибавил: “Государь, вы хотите, чтоб я вам написал свою исповедь: хорошо, я напишу ее; но вам известно, что на духу никто не должен каяться в чужих грехах. После моего кораблекрушения у меня осталось только одно сокровище: честь и сознание, что я не изменил никому из доверившихся мне, — и потому я никого называть не стану”. После этого, а *quelques exceptions pres* [за немногими изъятиями], я рассказал Николаю всю свою жизнь за границу, со всеми замыслами, впечатлениями и чувствами, причем не обошлось для него без многих поучительных замечаний насчет его внутренней и внешней политики. Письмо мое, рассчитанное, во-первых, на ясность моего, по-видимому безвыходного, положения, с другой же — на энергический нрав Николая, было написано очень твердо и смело и именно потому ему очень понравилось. За что я ему действительно благодарен, это [за то], что он по получении его ни о чем более меня не допрашивал».

Прочитанному письму предшествовало другое, более обширное (на 20 листах) послание Бакунина к Герцену, до адресата не дошедшее. Надо полагать, оно также содержало откровенный рассказ об обстоятельствах написания «Исповеди». Однако ключевым в приведенном отрывке мне

представляется словосочетание, написанное по-немецки — *Dichtung und Wahrheit*. Обычно оно переводится на русский как «Поэзия и правда» — именно так названы неоднократно издававшиеся в России беллетризированные мемуары Гёте. Разумеется, сам Гёте вкладывал в заголовок своих воспоминаний именно такой (и никакой другой) смысл. Однако в немецком языке слово *Dichtung* означает не одну только поэзию, но также «выдумку» и «вымысел», а словосочетание *Dichtung und Wahrheit* вообще представляет собой идиому (даже своего рода поговорку), которая переводится как «вымысел и правда». Именно такая лексическая модель и стала для Бакунина алгоритмом при написании его знаменитой «Исповеди» (кстати, этот заголовок письма царю вовсе не принадлежит автору, а был придуман первыми издателями рукописи, пролежавшей почти 70 лет в секретном архиве).

Заказчиков «Исповеди» написанный в течение месяца документ не привел в особый восторг. Граф Орлов, ознакомившись с «покаянием» Бакунина, сравнил его с показаниями Пестеля, удачно использовавшего предоставленную ему возможность не для раскаяния, а для пропаганды декабристских идей. Шеф жандармов попал в точку. Но письмо-исповедь Бакунина еще и поразительный человеческий документ: сквозь казенную словесную мишуру в нем явственно слышится, как бьется горячее (или, как в те времена говорили, ретивое) сердце. Работа над «Исповедью» позволила Михаилу мысленно как бы заново пережить все 37 лет своей скитальческой жизни. Перед его внутренним взором проплывали воспоминания детства, лица родителей, сестер, братьев, друзей.

Понятно, что царю была совершенно безразлична ностальгия узника Петропавловской крепости по безвозвратно утраченному прошлому. Поэтому Бакунин и начал сразу с более зрелых лет своего духовного становления, периода сомнений и исканий, что нередко приводило к «ложным понятиям», а объяснялось «сильной и никогда не удовлетворенной потребностью знания, жизни и действия». Философия, как мы знаем, — в особенности германская — была когда-то для него всё, в нее он погрузился целиком и полностью, доводя себя «почти до сумасшествия, и день и ночь ничего другого не видя, кроме категорий Гегеля».

Как много изменилось с той поры и сколь много пришлось переосмыслить! Нет, не любовь к свободе или стремление к переустройству общества были принесены в жертву! А вот от метафизических иллюзий он избавился, похоже, напрочь. Сама немецкая действительность, столь отличная от

русской жизни, привела к кардинальной «переоценке всех ценностей». В «Исповеди» об этом сказано так: «<...> Сама же Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизни, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье. Немало к сему открытию способствовало и личное знакомство с немецкими профессорами, ибо что может быть уже, жальче, смешнее немецкого профессора да и немецкого человека вообще! Кто узнает короче немецкую жизнь, тот не может любить немецкую науку; а немецкая философия есть чистое произведение немецкой жизни и занимает между действительными науками то же самое место, какое сами немцы занимают между живыми народами. Она мне наконец опротивела, я перестал ею заниматься». Таким образом излечившись от германской метафизики, я не излечился, однако, от жажды нового, от желания и надежды сыскать для себя в Западной Европе благодарный предмет для занятий и широкое поле для действия: ...я оставил философию и бросился в политику».

Политика — вот что больше всего интересовало императора и жандармов. Но здесь Бакунин переиграл Николая и его окружение: он ничего не сообщил нового о русских или польских «делах», да и ситуацию в европейском революционном движении осветил на уровне обычных газетных передовиц. О своем собственном житье-бытье написал откровенно и с искренней болью в душе. Заграничные воспоминания действительно оказались не из приятных: «<...> Жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и с своими внутренними, никогда неудовлетворенными потребностями жизни и действия, и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий. <...> Я жил большей частью дома, занимаясь отчасти переводами с немецкого для своего пропитания, отчасти же науками: историею, статистику, политическою экономией, социально-экономическими системами, спекулятивною политикою, то есть политикою без всякого применения, а также несколько и математикою и естественными науками. <...>

Тяжело, очень тяжело мне было жить в Париже, Государь! Не столько по бедности, которую я переносил довольно равнодушно, как потому, что, пробудившись наконец от юношеского бреда и от юношеских фантастических ожиданий, я обрел себя вдруг на чужой стороне, в холодной нравственной атмосфере, без родных, без семейства, без круга действия, без дела и без всякой надежды на лучшую будущ-

ность. Оторвавшись от родины и заградив себе легкомысленно всякий путь к возвращению, я не умел сделаться ни немцем, ни французом; напротив, чем долее жил за границей, тем глубже чувствовал, что я — русский и что никогда не перестану быть русским. <...> Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование?..»

И вот грянула февральская революция. События, очевидцем которых он стал, Бакунин описывает (и это в письме к царю!) с восторгом и талантом, достойным подлинного писателя: «Что ж скажу Вам, Государь, о впечатлении, произведенном на меня Парижем! (Туда Бакунин, как мы помним, прибыл спустя три дня из Брюсселя. — *В. Д.*) Этот огромный город, центр европейского просвещения, обратился вдруг в дикий Кавказ: на каждой улице, почти на каждом месте, баррикады, взгроможденные как горы и достигающие крыш, а на них между каменьями и сломанною мебелью, как лезгинцы в ущельях, работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороху и вооруженные с головы до ног; из окон выглядывали боязливо толстые лавочники, еписциers [лавочники] с поглупевшими от ужаса лицами; на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все молодые и старые франты, все ненавистные львы с тросточками и лорнетами, а на место их мои благородные увриеры [рабочие], торжествующими, ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающиеся своею победою! И посреди этого безграничного раздолья, этого безумного упоения все были так незлобивы, сострадательны, человеколюбивы, честны, скромны, учтивы, любезны, остроумны, что только во Франции, да и во Франции только в одном Париже, можно увидеть подобную вещь! <...>».

О дальнейших событиях во Франции, Германии и Австрии Бакунин рассказывал иногда столь же живописно, иногда, наоборот, — сухо, с малосущественными деталями. Предварив свою подпись ходульным словосочетанием «кающийся грешник», узник Петропавловки обратился к императору с личной просьбой — позволить один раз (и, быть может, в последний) увидиться и проститься с семейством, если не со всем, то по крайней мере со старым отцом и матерью, а также с одной любимой сестрой, про которую, добавил Михаил, он даже не знает, жива она или нет. Под любимой сестрой он подразумевал незамужнюю Татьяну. Она действительно серьезно болела. В письмах своих Татьяна

звала брата Мурушка, а он обращался к ней по-разному — «другиня моя», «малиновка голосистая», «крепостная» (имея в виду абсолютную привязанность)*. Однако с семьей у Михаила уже давно не было никакой связи. Император же, внимательно прочитавший «Исповедь» Бакунина, что называется, с карандашом в руках и сделавший на полях рукописи множество пометок, остался представленным документом не удовлетворен, но свидание с отцом и сестрой разрешил (в присутствии коменданта Петропавловской крепости генерала И. А. Набокова, бывшего, как ни странно, дальним родственником Бакуниных).

* * *

В Прямухине давно уже потеряли след Михаила и не имели о нем никакой информации. И вдруг в начале октября 1851 года Александр Михайлович Бакунин получил запечатанный сургучом пакет с письмом от графа Орлова, содержащим официальное уведомление, что сын его, отставной прапорщик Михаил Бакунин, находится в заключении в Петропавловской крепости и что с соизволения Государя императора отец может навестить арестанта в сопровождении дочери Татьяны. Весь бакунинский род пришел в ликование: как же, «краеугольный камень прямухинского дома» (так называли его промеж собой младшие братья) жив — и это главное! Все обиды, сомнения и недоразумения были моментально забыты. Первая же реакция самого Алек-

* Привожу характерный образчик одного из типичного обращения Михаила к Татьяне из общего письма, написанного спустя почти восемь месяцев после заключения в Петропавловскую крепость, после того как Бакунину было разрешено изредка писать домой: «Теперь обращаюсь к тебе, моя Татьяна. Если б я хотел высказать все, что я к тебе чувствую, все, что я о тебе думаю, как я люблю тебя, то я никогда не кончил бы, а потому лучше и не стану начинать; ты ведь и без слов поверишь и почувствуешь. Ты больше, чем все другие, — моя, моя крепостная девочка или, лучше сказать, старушка; мученица за всех и лучшая из всех; ты так же, как и я, живешь не своею жизнью, с тою только разницею, что жизнь твоя не ограничивается чувствами, а есть непрерывное, живое, благодетельное дело самой святой и горячей любви».

В свою очередь, письма Татьяны к Мишелю, когда тот еще находился на свободе, переполнены неземным восторгом, доходящим до обожествления: «Когда я слушаю тебя и гляжу на святое вдохновенное выражение твоего лица, мне делается так легко, так свободно и светло, как будто бы через тебя открывается мне воля самого Бога. <...> Я чувствую себя такой счастливой в эту минуту. Божественная гармония распространилась во всем моем существе. Мое сердце так полно пламенной любви к этому Богу, которого ты учишь нас постигать, к тебе, ко всем моим друзьям, наконец, ко всем созданиям... <...>»

сандра Михайловича была чисто русская, православная: на радостях он простил старшего сына за все существующие и несуществующие грехи и отслужил молебен во здравие его.

Бакунину-отцу шел уже восемьдесят пятый год. Он совершенно ослеп, еле передвигался и предпринять поездку в северную столицу никак не мог* и поэтому выхлопотал замену: вместо него с сестрой Татьяной на свидание с Михаилом поехал сын Николай. Непродолжительная встреча после более чем десятилетней разлуки состоялась в кабинете начальника Петропавловки под его личным надзором. Об этом свидании Татьяне и Николаю потом пришлось рассказывать родным и близким по многу раз. В письме к брату Алексею Татьяна сообщала:

«По возвращении в Прямухино у меня не было почти минуты свободной. Можешь себе представить, сколько раз пришлось мне пересказывать все подробности нашего пребывания в Петербурге — прежде отцу и маменьке, а потом всем другим. Каждый желал узнать обо всем, и первые дни я ничего почти не делала, как только все говорила то с одним, то с другим. <...>

Ночь. Оставила начатое письмо к тебе, милый друг, чтобы писать к брату Мише, — ведь нам не только позволено было с ним видаться, но и писать к нему и опять через несколько времени возвратиться для нового свидания. Можешь представить себе нашу горячую благодарность за такую великую, незаслуженную милость! Можешь представить себе, сколько счастья, сколько радости в сердце каждого из нас! Отец все простил Мише; и он, и Маменька говорят об нем с полною нежностью. Сейчас я отдала Маменьке мое письмо к нему, чтобы она за себя и отца прибавила несколько слов, благословила его, утешила его. Теперь это главное, на что обращены все мысли, все разговоры наши. Вместе мы благословляем и Бога и Государя. Одна общая мысль, одно общее чувство соединяет всех нас. И все мы как будто сильнее, горячее любим друг друга. Теперь у меня нет другой вестки, другого рассказа для тебя...»

В другом письме — другие подробности о Михаиле: «Свидание с ним меня как будто переродило, и надежда, что вдруг осветила нашу жизнь, все исполнила, все проникла собою. <...> Мы вместе с Николаем уверяли его, что все счастливы, радостны, спокойны. Боже мой, да неужели же мы в самом деле не счастливы и не радостны теперь?» От

* Александр Михайлович скончался, так и не встретившись со старшим сыном, 6 декабря 1854 года.

Татьяны требовали большей конкретики. Павел просто обрушил на нее град вопросов: «Скажи, как и каким ты его видела? Поседел он? Опустился? Был он вам рад или нет? Что же, вы плакали, говорили или все смотрели? Да где же, в каком месте вы виделись? При ком? Николай был тут? Еще кто? В каком же виде был он? Как одет? Как вы встретились? Что сказали друг другу? Где взяли слова ваши? Мне все непонятно, все чуждо, и чувство ничего не угадывает, потому что перебито горем. Ты ведь о нем мне ничего не сказала. Очень он изменился? Узнал он вас? Вы его узнали? Назвал он вас по имени?» На все эти вопросы были даны своевременные ответы, но, к сожалению, в устной форме — в письменном же виде до нас они не дошли.

Вскоре Бакунину разрешили и переписку с семьей — со строгим наказом: писать кратко, в основном о здоровье и бытовых нуждах (одно письмо, написанное с обычном бакунинским размахом, попросту не было пропущено и осталось у тюремщиков). Письма тщательно прочитывались и анализировались в Третьем отделении, а читателем первого письма — к родителям, отправленного из Петропавловской крепости 4 января 1952 года, оказался сам царь. В нем Михаил писал: «<...> Благодарю вас, добрые родители, благодарю вас от глубины сердца за ваше прощение, за ваше родительское благословение, благодарю вас за то, что вы приняли меня, вашего блудного сына, что вы приняли меня вновь в свой семейный мир и в семейную дружбу. Свидание с Татьяной и с братом Николаем возвратило мне мир сердца и теплоту сердца; оно перестало быть равнодушным и тяжелым как камень, оно ожило, и я не могу теперь жаловаться на свое положение; я теперь живу хоть и грустно, но [не] несчастливо; беспрестанно думаю о вас и радуюсь, зная, что в семействе нашем царствуют мир, любовь и счастье».

Ничего другого арестант сообщать не мог. Но опытный конспиратор Михаил Бакунин сумел перехитрить жандармов. Во время одного из очередных свиданий с Татьяной (тоже очень редких — раз в год-полтора) он незаметно от конвоиров передал ей три письма, написанных бисерным почерком на многократно сложенных листах тонкой бумаги. Брат и сестра рисковали невероятно. Оба прекрасно знали: если тайную передачу писем заметят и пресекут, узника навсегда лишат и права переписки, и дальнейших свиданий с родными. Но все обошлось благополучно. Переданные на волю письма красноречиво свидетельствовали, что дух Михаила не сломлен, а убеждения его ничуть не изменились. Вот что он писал: «Для меня остался один только интерес,

один предмет поклонения и веры... и если я не могу жить для него, то я не хочу жить совсем». Все такими же оставались бакунинский оптимизм, свободомыслие и вера в жизнь:

«Никогда, мне кажется, у меня не было столько мыслей, никогда я не испытывал такой пламенной жажды движения и деятельности. Итак, я не совсем еще мертв; но та самая жизнь духа, которая, сосредоточившись в себе, сделалась более глубокою, пожалуй, более могущественною, более желающею проявить себя, — становится для меня неисчерпаемым источником страданий, которые я не пытаюсь даже описать. Вы никогда не поймете, что значит чувствовать себя погребенным заживо; говорить себе во всякую минуту дня и ночи: я — раб, я уничтожен, сделан бессильным к жизни; слышать даже в своей камере отголоски назревающей великой борьбы, в которой решатся самые важные мировые вопросы, — и быть вынужденным оставаться неподвижным и немым. Быть богатым мыслями, часть которых по крайней мере могла бы быть полезною — и не быть в состоянии осуществить ни одной; чувствовать любовь в сердце — да, любовь, несмотря на эту внешнюю окаменелость, — и не быть в состоянии излить ее на что-нибудь или на кого-нибудь. Наконец чувствовать себя полным самоотвержения, способным ко всяким жертвам и даже к героизму для служения тысячекрат святому делу — и видеть, как все эти порывы разбиваются о четыре голые стены, единственных моих свидетелей, единственных моих поверенных! Вот моя жизнь! <...>».

Разумеется, все знали: заключение Бакунина является *пожизненным*. О том, что это такое, Михаил позже напишет Герцену: «Страшная вещь пожизненное заключение. Владеть жизнью без цели, без надежды, без интереса. Каждый день говорить себе: “сегодня я поглупел, а завтра буду еще глупее”. Со страшною зубною болью, продолжающеюся по неделям и возвращающеюся, по крайней мере, по два раза в месяц, не спать ни дней, ни ночей; что бы ни делал, что бы ни читал, даже во время сна, чувствовать какое-то беспокойное ворочание в сердце и в печени, с вечным ощущением: я раб, я мертвец, я труп».

Один из самых верных соратников Бакунина Джеймс Гиллом в опубликованной биографии приведет рассказ о его пребывании в тюрьме: дабы не сойти с ума от бездействия, безысходности и одиночества, Михаил принялся сочинять драму о Прометее с музыкальным сопровождением. Получалось нечто вроде оратории, и спустя много лет помнил и мог исполнить нежную и жалостливую мелодию хора нимф, которые обращаются к владыке Олимпа Зевсу в надежде вы-

молить прощение Прометею. В легенде о нем сам узник угадывал свою собственную судьбу.

И все же надежда оставалась! Без нее вообще не стоило бы жить. И не исчезла все та же «одна, но пламенная страсть» — *стремление к свободе* (в широком, всеобщем и в узком, утилитарном смысле данного слова). Об этом он откровенно писал в процитированном выше письме, тайно переданном на волю: «Вы не знаете, насколько надежда стойка в сердце человека. Какая? — спросите вы меня. Надежда снова начать то, что привело меня сюда, только с большою мудростью и с большою предусмотрительностью, быть может, ибо тюрьма по крайней мере тем была хороша для меня, что дала мне досуг и привычку к размышлению. Она, так сказать, укрепила мой разум, но она несколько не изменила моих прежних убеждений, напротив, она сделала их более пламенными, более решительными, более безусловными, чем прежде, и отныне все, что остается мне в жизни, сводится к одному слову: *свобода*» (выделено мной. — В. Д.).

Узнику Алексеевского равелина (в пределах существовавших инструкций) помогали кто чем мог. От тюремщиков ему отпускалось на питание 18 копеек в сутки. Семья ежемесячно старалась присылать деньги (достаточно скромную сумму и не всегда регулярно) на повседневные нужды, табак и чай, к коему он давно пристрастился, а потом, уже во время второй европейской эмиграции, поглощал в невероятных количествах, вызывая удивление друзей и гостей. Изредка передавали апельсины и лимоны — как противоязвенное средство, цитрусовые помогали мало, и вскоре наступил неизбежный результат — зубы стали выпадать. Донимали и другие болезни, усугубляемые малоподвижным образом жизни.

С книгами особых проблем не было: частично их передавали с воли, частично он их оплачивал сам, включая журнальную периодику (например, журнал «Отечественные записки»). В жандармском «деле» фиксировался круг чтения государственного преступника: газета «Русский инвалид», старые номера журналов «Москвитянин» и «Библиотека для чтения», французские и немецкие романы, книги по математике, физике, геологии. Подбор литературы носил зачастую случайный характер. Так, мать переслала ему в Петропавловку русских классиков XVIII века из отцовской библиотеки — сочинения Кантемира, Хемницера и Хераскова, что, вполне естественно, не привело Михаила в восторг. Зато с большим удовольствием он смаковал многотомную «Историю Англии», принадлежащую перу известного философа и просветителя Давида Юма.

В 1853 году началась Крымская война. В условиях блокады Петербурга англо-французской эскадрой и постоянной угрозы высадки вражеского десанта Бакунина в марте 1854 года перевели из Петропавловской крепости в Шлиссельбургскую. Царь и охранка, видимо, не без оснований полагали, что враги могут попытаться освободить Бакунина и использовать его в своих политических целях. Поэтому в инструкции по содержанию государственного преступника он был поименован одним из важнейших арестантов. В отношении к нему требовалось соблюдать «всевозможнейшую осторожность, иметь за ним бдительнейшее и строжайшее наблюдение, содержать его совершенно отдельно, не допускать к нему никого из посторонних и удалять от него известия обо всем, что происходит вне его помещения, так, чтобы сама бытность его в замке (Шлиссельбургской крепости. — В. Д.) была сохраняема в величайшей тайне». Никто, кроме коменданта, не имел права знать, что за узника доставили под покровом ночи в камеру № 7 с узким зарешетчатым окном, выходящим в глухой «малый двор», за которым начиналась глухая и неприступная крепостная стена. Сквозь оконную решетку из прутьев толщиной в полтора пальца видно было другое окно, выходящее в тот же двор сбоку. Около девяноста лет назад это была камера номинального российского императора Иоанна Антоновича, свергнутого Елизаветой Петровной (здесь же он и был убит при неудавшейся попытке освобождения).

Свидания с родными, в соответствии с полученной инструкцией, поначалу вообще запретили. На первых порах они даже не знали, куда Михаила перевели. Правда, «опасному арестанту» удалось выторговать некоторые поблажки: через жандармов по-прежнему передавались продукты и книги. Для текущих записей Бакунину выдали чернильницу, перо и тетрадь с пронумерованными листами, разрешили прогулки в тюремном дворе, а вот баню запретили, поскольку она находилась далеко от камеры. В качестве особой милости узнику перед обедом (в медицинских целях) разрешили выпивать рюмку водки, дабы у него окончательно не пропал аппетит от тюремной баланды.

Между тем родные не теряли надежды смягчить положение заключенного. Четыре брата Бакунина записались в ополчение, наивно полагая, что их патриотический поступок позволит облегчить его участь. Пятый брат — Александр — пошел добровольцем в действующую армию и всю крымскую кампанию провел в должности унтер-офицера в осажденном Севастополе, где он познакомился и подружился с молодым Львом

Толстым (впоследствии, в 1881 году, тот даже гостил у Александра и Павла Бакуниных в Прямухине). Общий патриотический подъем в стране дал Варваре Александровне основание обратиться с прошением к самому царю: «Уже пятеро сыновей моих, верные долгу дворянства, вступили на военную службу на защиту отечества; благословив их на святое дело, я осталась одна без опоры, и могла бы, как милости, молить о возвращении мне шестого, но я молю, Ваше величество, о дозволении ему стать с братьями в передних рядах храброго вашего воинства и встретить там честную смерть или кровью заслужить право называться моим сыном. Ручаюсь всеми сыновьями моими, что, где бы он ни был поставлен волею Вашего величества, он везде исполнит долг свой до последней капли крови». Увы, прошение осталось без последствий. Царь не внял мольбе старой и несчастной матери...

Тяжелая война наконец-таки завершилась. Упования семьи оживились с новой силой — в особенности после смерти Николая I и вступления на престол Александра II. Однако будущий «царь-освободитель» также не страдал сентиментальностью, когда дело касалось врагов династии, и оказался таким же неумолимым, как его отец. Он даже запретил узнику разместить в камере токарный станок в качестве, как бы сегодня сказали, спортивного тренажера, ибо неподвижный образ жизни Бакунина в условиях замкнутого пространства отрицательно сказывался на состоянии его здоровья.

Тем не менее в окружении царя были люди, искренне сочувствовавшие Бакуниным. Именно они поспособствовали личной встрече Варвары Александровны с царем. Подробнейшую запись об этом свидании оставила в своем дневнике Анна Петровна Керн (1800—1879)*: «После 8-летнего за-

* Незабвенная муза Пушкина А. П. Керн находилась с Бакуниными в двойном, хотя и дальнем, родстве. Во-первых, урожденная Полторацкая, она приходилась племянницей Павлу Марковичу Полторацкому — отчиму Варвары Александровны Бакуниной. Во-вторых, вторым мужем (младшим ее на двадцать лет) стал А. В. Марков-Виноградский, фамилию которого, она, естественно, приняла. На сестре Маркова-Виноградского — Елизавете — был женат брат Михаила Бакунина — Александр. А. П. Керн часто бывала в Прямухине, вместе со всей бакунинской родней переживала за судьбу Михаила, заточенного в Шлиссельбургской крепости, знала все подробности хлопот о смягчении его участи. В Прямухине скорострительно скончался от рака муж А. П. Керн — А. В. Марков-Виноградский и был похоронен в прямухинском некрополе рядом с Троицкой церковью. Сюда же по оставленному завещанию должны были доставить и гроб с телом А. П. Керн, но весенний разлив реки Тверцы помешал выполнить последнюю волю Анны Петровны. (В настоящее время ее могила — место паломничества молодоженов — находится близ автомобильной трассы на Торжок.)

ключения Михаила Бакунина... <...> мать, старуха лет около 70, приехала сюда (отец 90-летний умер, не дождавшись); ей сказали, чтобы она попробовала еще одно средство: встретясь с царем в Петергофском саду, попросить лично царя о помиловании преступного сына. Она, бедная, это и исполнила. Подошла к нему с видом умоляющим и сказала, на вопрос его, кто она, что она мать кающегося сына и проч. и проч. Он остановился, вспомнил, о ком речь, скорчил, вероятно, николаевскую гримасу и сказал: “Перестаньте заблуждаться, ваш сын никогда не может быть прощен!” И только. Она как стояла, так и повалилась, как сноп, на стоящую тут скамейку. Удивляюсь, как ее, бедную, толстую тучную женщину, не пристукнуло тут же! Он постоял немножко, посмотрел на нее и — пошел дальше! А вы скажете: “Да как же это? Да ведь он прощен, то есть сослан”. Разумеется, что после Шлиссельбургской крепости позволение жить и служить даже в Омске или Томске, не знаю, — милость; да не в том сила, а вот в чем, что через несколько месяцев все это последующее совершилось; не знаю, как и откуда зашли, чтоб это устроить... Матери-то, надеющейся на милосердие, каково должны были прозвучать адские слова: “*Lasciate ogni speranza*” Дантовы [Оставь надежду всяк сюда входящий]».

В передаче Бакунина бессердечная фраза, брошенная по-французски царем Варваре Александровне, звучит еще жестче: «Сударыня, доколе сын Ваш будет в живых, он свободен не будет». Михаил был в полном отчаянии. Брату Николаю при свидании он сказал, что, если в его участи ничего не изменится, то он вынужден будет покончить жизнь самоубийством. Попросил раздобыть яду и тайно передать ему при следующем свидании. Иногда он воображал, что бы сказал царю, бывшему на четыре года младше его, доведись им встретиться с глазу на глаз...

Тем временем к хлопотам о судьбе узника подключилась вернувшаяся из действующей армии в Петербург героиня севастопольской обороны Екатерина Михайловна Бакунина (1811—1894)* — двоюродная сестра Михаила, ставшая настоятельницей Крестовоздвиженской благотворительной общины и находившаяся под личным покровительством Великой кня-

* В декабре 1854 года Е. М. Бакунина возглавила отряд сестер милосердия, прибывший в осажденный Севастополь и поступивший в непосредственное распоряжение Н. И. Пирогова. Е. М. Бакунина проработала на самом тяжелом участке — главном перевязочном пункте, сутками не отходила от операционного стола и ассистировала до пятидесяти операций подряд.

гини Елены Павловны. Личное участие в борьбе за смягчение участи Бакунина приняли также Л. Н. Толстой и П. В. Анненков, чей брат был петербургским полицмейстером.

После многоходовых консультаций родилось решение: предоставить государственному преступнику выбор между продолжением пожизненного заключения в одиночной камере Шлиссельбургской крепости и ссылкой на *вечное поселение* (как тогда говорили) в Сибирь. Естественно, Михаил выбрал последнее и сам составил прошение к императору: «Государь! Одинокое заключение есть самое ужасное наказание; без надежды оно было бы хуже смерти: это — смерть при жизни, сознательное, медленное и ежедневно ощущаемое разрушение всех телесных, нравственных и умственных сил человека; чувствуешь, как каждый день более деревянеешь, дряхлеешь, глупеешь и сто раз в день призываешь смерть как спасение. Но это жестокое одиночество заключает в себе хоть одну несомненную и великую пользу; оно ставит человека лицом к лицу с правдою и с самим собою. <...> Но мои физические силы далеко не соответствуют силе и свежести моих чувств и моих желаний: болезнь сделала меня никуда и ни на что негодным. Хотя я еще и не стар годами, будучи 44 лет, но последние годы заключения истощили весь жизненный запас мой, сокрушили во мне остаток молодости и здоровья: я должен считать себя стариком и чувствую, что жить мне остается недолго. Я не жалею о жизни, которая должна бы была протечь без деятельности и без пользы; только одно желание еще живо во мне: последний раз вздохнуть на свободе, взглянуть на светлое небо, на свежие луга, увидеть дом отца моего, поклониться его гробу и, посвятив остаток дней сокрушающейся обо мне матери, приготовиться достойным образом к смерти».

Наконец, царь смилостивился — Бакунину разрешено было доживать свой век в Сибири. «Осчастливленный» узник выпросил также у жандармского начальства разрешение заехать на один день в Прямухино, чтобы поклониться могиле отца. В родовое гнездо пришлось добираться под конвоем — сначала в товарном вагоне до Осташкова, затем на почтовой телеге до утопавшего в снегу имения. Встреча с родными, состоявшаяся 10 марта 1857 года, оказалась тягостной для всех — каждый понимал, что скорее всего в последний раз видит любимого Мишеля, изменившегося за долгие годы тюремного заключения до неузнаваемости. За восемь лет, проведенных в немецких, австрийских и русских темницах, он невероятно растолстел (от болезней, разумеется, а не от калорийного питания), что в сочетании с и без

того внушительным ростом делало его похожим на огромную глыбу.

Со слезами на глазах Михаил обошел комнаты прямухинского дома, где пролетело его детство, комнаты, видевшие друзей его отца — Львова, Державина, Капниста, декабристов Муравьевых, Лажечникова — и его собственных незабвенных друзей — Станкевича, Белинского, Боткина, Тургенева. По тропинке среди высоких, едва осевших под мартовским солнцем сугробов прошел к Троицкой церкви к усыпальнице отца, деда и двух сестер. Сохранился бесхитростный рассказ восьмилетней племянницы Михаила (дочери брата Николая), которую в честь бабушки и тети также называли Варварой. Свои воспоминания о кратком пребывании дяди Мишеля в Прямухине она позже записала в семейный литературный альбом. Из детской памяти не смог выветриться образ легендарного родственника — необычайно толстого и веселого человека, за ним дети ходили хвостом, боясь проронить хоть одно слово. А говорил он по-прежнему очень много, заразительно смеялся, шутил и пел со всеми разные песни. Поговорил Мишель по душам и с выросшей его нянюшкой Ульяной Андреевной.

Утром он попрощался с матерью, няней, дворовыми людьми и в сопровождении братьев, сестер и двух жандармских офицеров доехал до Зайкова, где жила сестра Александра со своим семейством. Здесь пролежала невидимая граница, отделявшая прошлое и настоящее от неизвестного будущего. Обняв провожавших у заповедной сосны и более не оглядываясь назад, Бакунин отправился навстречу новой жизни. Родного Прямухина и его окрестностей, с коим связано столько воспоминаний, — ему больше не суждено было увидеть никогда...

Глава 7

СИБИРСКИЙ ПРОМЕТЕЙ

28 марта 1857 года Бакунин был доставлен в Омск, где по распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорда ему определили место дальнейшего пребывания — Кийский округ Томской губернии. Однако из-за расшатанного здоровья ссыльному разрешили поселиться в губернском городе. Казенное имущество (шинель, теплые сапоги, фуражка и кое-что по мелочам) вместе с жандармом, сопровождавшим Бакунина до конечной точки, убыло в Петербург, о чем по прибытии в столицу специальным рапортом доложили царю (такие вот бюрократические порядки, достойные пера Гоголя и Салтыкова-Щедрина, существовали в то время). Александр II продолжал ревностно и придирчиво следить за каждым шагом государственного преступника, в глубине души не доверяя ему (можно констатировать, что интуиция императора не обманула).

Бакунин же не переставал радоваться сибирскому приволью и отсутствию тюремных стен. «Сибирь, — писал он, — благословенный край, хранящий в себе богатства неиссякаемые, необъятные, свежие силы, великую будущность и представляющий ныне для умственных, нравственных, равно как и для материальных интересов предмет неистощимый...» И еще: «<...> Неведомый, огромный край, пустынный теперь, но богатый огромной будущностью и уже оживленный неутомимой энергией великого духа, ведь это просто чудо — есть от чего пробудиться всей было заснувшей романтике юности».

Отправляясь в Сибирь, Бакунин запасся рекомендацией амнистированного декабриста, лицейского друга Пушкина Ивана Ивановича Пушина (1798—1859). В начале января 1857 года тот как раз прибыл в Петербург для свидания с сестрой Елизаветой Ивановной, с ней Бакунин давно состоял в переписке, получал от нее передачи и даже имел свидан-

ния*. Рекомендательное письмо Пушина открыло для вновь прибывшего ссыльного двери домов известных томских семейств, включая семейства декабристов. Большинство по амнистии уезжало в Европейскую Россию. Бакунин успел все же со многими познакомиться, а у Гавриила Степановича Батенькова (1793—1863) даже купил библиотеку.

Бакунин как всегда легко сходился с людьми, чувствуя себя своим среди купцов, крестьян, солдат, чиновников. Всех заражала его открытость, доступность, кипучая энергия, каждому импонировал олимпийский лик, могучая фигура, громкий голос и смех. К любому человеку он умел найти подход, ненавязчиво оказать посильную помощь, дать добрый совет. Приняли его как своего и либерально настроенные промышленники. Один из них — П. П. Лялин, записал свои впечатления о новом друге: «Бакунин по своей наружности — настоящий Геркулес, большого роста, черные волосы и борода густая. Он имеет большие познания и знает много языков. Необыкновенно энергичного духу человек, а в обществе приятный и веселый». Новые друзья быстро придумали для героя европейской революции несколько уничижительное для него прозвище — «Саксонский король». Сначала Бакунин снимал частную квартиру, затем, в начале 1858 года, приобрел одноэтажный деревянный дом по Ефремовской улице на Воскресенской горе. С виду жилище производило удручающее впечатление — покосившаяся халупа глубоко осела в землю, низкие оконца почти не пропускали света.

Чуть ли не каждый день Бакунин отправлялся на окраину города давать уроки французского языка дочерям чиновника Ксаверия Васильевича Квятковского, которого несчастливая судьба забросила со всем семейством из Белоруссии в Сибирь. Миловидная и живая 17-летняя Антося сразу же приглянулась ссыльнопоселенцу, а спустя некоторое время он почувствовал к ней больше чем симпатию. 44-летний веселый «учитель» у девушки антипатии не вызывал. Позже Бакунин в письме к Герцену расскажет обо всем кратко: «<...> Я полюбил ее страстно, она меня тоже полюбила. <...> Я отдался ей весь, она же разделяет и сердцем все мои стремления». Обе стороны вскоре нашли общий язык и достигли взаимного согласия. Осталось получить благословение родителей. Михаил незамедлительно написал матери:

* Это стало возможным, так как ее сестра Екатерина была замужем за комендантом Петропавловской крепости И. А. Набоковым. Всего же у отца Ивана, Елизаветы и Екатерины Пушиных было двенадцать детей.

«Благословите меня, я хочу жениться! Вы удивитесь — в моем положении жениться. Не бойтесь, своим выбором я не навлеку на себя несчастья, ни на Вас бесчестия. Девушка, которая согласилась соединить свою судьбу с моею, образованна, добра, благородна; посылаю портрет ее. Отец ее Квятковский служит более 12-ти лет по частным делам у золотопромышленника Асташева — белорусский дворянин; жена его полька, но без ненависти к России и католичка без римского фанатизма. Благословите меня без страха: мое желание вступить в брак да служит Вам новым доказательством моего обращения к истинным началам положительной жизни и несомненным залогом моей твердой решимости отбросить все, что в прошедшей моей жизни так сильно тревожило и возмущало Ваше спокойствие. За будущее я не боюсь; у меня есть голова, воля, — достанет и уменья; с твердым намерением можно всему научиться; но как и чем буду я содержать жену, семейство, в первые годы? Вы, маменька, не богаты, детей же у Вас много, и так, несмотря на безграничную уверенность в Вашем желании помочь мне, я много надеяться на Вас, в этом случае, не должен и не могу; сам же, связанный по рукам и по ногам недоверием начальства, на которое жаловаться не могу, потому что оно вполне мною заслужено, я не мог положить даже и начала будущего полезного дела, и живу средствами, которые вы, отнимая их у себя, посылаете мне, но которые для содержания семейства были бы слишком неопределенны и недостаточны. Я поселенец, прикованный к одному месту и живущий доселе в принужденном бездействии, не могу дать своей жене ни имени, ни даже материального благосостояния. Не поступил ли я с неблагоприятною поспешностью, предложив ей теперь мою руку? По-видимому и по обыкновенной людской логике, кажись, что так, но внутреннее чувство говорит мне, что нет, и я верю в него; с полною верою предаюсь благодущию правительства, которое, раз спасши меня от крепостной смерти, не откажет мне теперь в средствах начать новую жизнь и не воспрепятствует мне искать нового счастья на пути законном, правильном и полезном».

Однако на пути Михаила Александровича к семейному счастью возникло неожиданное препятствие. Старик Квятковский наотрез отказался давать свое согласие на брак дочери с государственным преступником, не располагавшим к тому же сколь-нибудь значительным состоянием. Чем больше его уговаривали, тем сильнее упорствовал шляхтич. Трудно даже предположить, как бы могла сложиться личная жизнь Бакунина дальше, если бы Фортуна вдруг не обрати-

лась к нему лицом. Из Петербурга через Томск в Иркутск возвращался генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев (1809—1881), приходившийся Бакунину по матери троюродным братом. Они не общались много лет, с тех пор, когда юнкер Мишель по-родственному навещался в роскошный столичный дом своих именитых родственников. Теперь Николай стал генералом от инфантерии, губернатором Енисейского края и одновременно генерал-губернатором Восточной Сибири, территории, простиравшейся до самого Тихого океана и по площади своей не уступавшей чуть ли не всей Западной Европе. Вскоре после встречи с Михаилом в Томске Н. Н. Муравьев еще больше прославит свое имя, поставив 16 (28) мая 1858 года подпись под Айгунским договором с Китаем, на основании которого к России отошла вся левая сторона Приамурья (а в 1860 году на основании Пекинского договора — еще и Уссурийский край). За выдающиеся заслуги перед Отечеством ему будет присвоен графский титул, а к славной и многострадальной фамилии Муравьев будет присовокуплено вполне заслуженное — Амурский.

То, что Михаил был лишен дворянского звания и гражданских прав, нисколько не помешало генерал-губернатору явиться однажды в покосившийся домишко своего отверженного родича да еще прихватить с собой первые номера запрещенного герценовского «Колокола»: газета с 1857 года стала издаваться в Лондоне и в России распространялась нелегально. Более того, узнав о перипетиях в личной жизни Бакунина и тупиковой ситуации, созданной несговорчивым отцом Антоси Квятковской, генерал-губернатор отправился в сопровождении свиты и потерявшего всякую надежду жениха на заимку (по-нынешнему — дачу) золотопромышленника Асташева, у которого служил и жил Ксаверий Васильевич Квятковский, и принялся ходатайствовать за своего троюродного брата. Он объяснил старику, оторопевшему от одного вида столь высокой особы, что положение будущего зятя в скором времени, вероятно, изменится, ему возвратят все права и дворянский титул, а его самого ожидает блестящее будущее. В завершение Муравьев испросил согласия быть посаженным отцом на свадьбе Михаила и Антонины. Против таких аргументов старик устоять не смог. Эта свадьба надолго запомнилась томским обывателям — особенно иллюминацией и фейерверком, устроенными возле дома...

Николай Николаевич Муравьев не обманывал, когда говорил, что в скором времени положение Бакунина, вероятно, изменится. После подписания Айгунского договора он

обратился к новому шефу жандармов В. А. Долгорукову со следующим заявлением: «Если договор этот удостоится высочайшего одобрения и Государевой милости к исполнителям, то я имею честь покорнейше просить ваше сиятельство ходатайствовать перед Его величеством, в личную и лучшую для меня награду, прощение с возвращением прежних прав состояния остающимся еще в Восточной Сибири государственным преступникам: Николаю Спешневу, Федору Львову, Михайле Буташевичу-Петрашевскому и сосланному в город Томск родственнику моему Михайле Бакунину...» Это было уже слишком! Просьба генерл-губернатора осталась без последствий, а самому ему дали понять, что он берется не за свое дело.

Бакунин же тем временем подыскивал себе работу, могущую дать средства к существованию для себя и своей супруги. Он стремился получить такую должность, которая позволяла бы ему беспрепятственно разъезжать по Сибири в обход существовавшего в те времена для ссыльных строгого правила — не удаляться от места пребывания более чем на тридцать верст. Однако губернское и столичное начальство всячески этому препятствовало. Наконец, после проволочек и нудной бюрократической переписки повелением аж самого царя ему было разрешено занять скромную должность канцелярского служителя 4-го разряда, без возвращения дворянства и с правом выслуги первого офицерского чина через двенадцать лет.

Томский период жизни Бакунина ознаменовался одним событием, которому суждено было сыграть важную роль в истории отечественной науки — он дал путевку в жизнь будущему знаменитому путешественнику, этнографу, фольклористу и общественному деятелю Григорию Николаевичу Потанину (1835—1920). Потанин родился в казачьей семье, учился в Омском кадетском корпусе, получил звание поручика. Потом он вышел в отставку, решив получить образование в Петербургском университете, и за протекцией обратился к Бакунину. Тот сразу увидел в молодом казаке неординарные способности и оказал ему всяческую поддержку. Прежде всего он написал два рекомендательных письма — своей влиятельно кузине Екатерине Михайловне Бакуниной и не менее влиятельному публицисту, издателю журнала «Русский вестник» Михаилу Никифоровичу Каткову. В обоих письмах он представил Потанина как «сибирского Ломоносова» — и не ошибся.

«Посылаю и рекомендую вам сибирского Ломоносова, — писал он Е. М. Бакуниной и проживавшей вместе с ней се-

стре Прасковье, — казака, отставного поручика Потанина (Григория Николаевича), оставившего службу для того, чтобы учиться, и горящего непобедимым желанием слушать лекции в Петербургском университете. Он — молодой человек, дикий, наивный, иногда странный и еще очень юный, но одарен самостоятельным, хотя и не развитым умом, любовью к правде, доходящей иногда до непристойного донкихотства, — вообще он не успел еще жить в свете, вследствие чего говорит и делает странные дикости, но все это со временем оботрется. Главное, у него есть ум и сердце. <...> Потанин так горд, что ни за что в мире не хотел бы жить на счет другого. В нем три качества, редкие между нами, русскими: упорное постоянство, любовь к труду и способность неутомимо работать и, наконец, полное равнодушие ко всему, что называется удобствами и наслаждениями материальной жизни. Поэтому я надеюсь, что он не пропадет в Петербурге и в самом деле сделается человеком. Приласкайте его, милые сестры, и в случае нужды не откажите ему ни в совете, ни в рекомендации»*. (О своей молодой жене он не без гордости написал: «Она у меня — молодец, ничего не боится и всему радуется как дитя. Я же буду беречь ее как цветок своей старости!»)

А еще Бакунин уговорил золотопромышленника Асташева безвозмездно отправить Потанина в Санкт-Петербург вместе с регулярным «золотым обозом». Потанин до конца дней сохранил самые теплые воспоминания о Бакунине и впоследствии посвятил ему в своих мемуарах отдельную главу. В ней есть незначительные неточности (например, как и другие сибиряки, он считал, что его провозгласили саксонским вице-президентом во время Дрезденского восстания). Но в целом воспоминания Потанина добавляют немало интересных подробностей к описанию сибирской жизни Бакунина.

* Потанин добился своего, поступил в Петербургский университет, возглавил в нем сибирское землячество, но вскоре был арестован за участие в студенческих волнениях. В 1865 году он вернулся в Томск, где стал секретарем губернского статистического комитета и руководителем «Томских губернских ведомостей». За участие в движении так называемого «сибирского областничества», ставившего своей целью автономию Сибири, был приговорен к пяти годам каторги. После ее отбытия амнистирован по ходатайству Русского географического общества и совершил несколько путешествий в Центральную Азию и Монголию. Обширное географическое, этнографическое, фольклорное, эпистолярное и общественно-политическое наследие Потанина не потеряло актуальности по сей день, а в некоторых аспектах намного опередило время и еще ждет своего часа.

Так, он рассказывает о библиотеке Бакунина, купленной у Батенькова. Два объемистых тома Потанин взял почитать — недавно переведенные на русский язык труды Александра Гумбольдта «Космос» и «Картины природы». Бакунин рассказал, с каким напутствием декабрист Батеньков продал свою библиотеку. «Сибирь, страна малопросвещенная и бедная книгами, нужно держаться правила не увозить из нее книг. Я уезжаю, но книг не увожу, а продаю вам и вам рекомендую, если поедете из Сибири, не увозите их, а продайте здесь же».

Запомнился Потанину и такой курьезный случай. Когда его представили очередному гостю в качестве будущего студента, едущего из Омска в Петербург, тот вроде бы пошутил: «Как так — из Омска в Петербург через Томск?» Бакунин мгновенно отреагировал: «Что ж такого — вот я из Петербурга в Томск приехал через Париж!» Любопытно также суждение Бакунина о своем восьмилетнем заключении: «Два года просидеть в тюрьме полезно. Человек в уединении оглянется назад на прожитую жизнь, обсудит свои поступки, откроет свои ошибки, словом, подвергнет строгой критике всю свою деятельность и выйдет из тюрьмы обновленным и усовершенствованным. Но восемь лет продержать человека в тюрьме — это самая верная система поглупления человека».

* * *

Современные сибирские исследователи — историки, социологи, философы — на основании архивных данных, а также анализа некоторых анонимных (без подписи или под псевдонимом) публикаций в сибирской губернской прессе конца 50-х — начала 60-х годов XIX столетия доказали влияние Бакунина на формирование взглядов «сибирских областников». При этом речь вовсе не шла о сепаратизме в современном смысле данного слова и отнюдь не предполагалось отделение Сибири от России. Бакунин во главе угла ставил *принцип федерализма*, предполагающий выбор и создание такой формы управления и самоуправления, при которой система власти могла быть с наибольшей эффективностью использована для развития производительных сил и духовного потенциала любого региона, любой страны, любого народа.

Он и Российскую империю намеревался «растворить» в федерализме, не отказываясь, однако, от революции в России, которая, по его мнению, могла начаться именно в Сибири. Иногда он представлял себе, как улицы Томска, Тюме-

ни, Тобольска, Омска, Иркутска, других сибирских городов заполнятся баррикадами, повсюду маячат суровые бородачи с дробовиками в валенках и шапках-ушанках, а политические ссыльные и каторжники возглавляют колонны восставшего народа. По свидетельству современников-сибиряков, с которыми он считал возможным быть откровенным, восстание в Сибири, наподобие Пражского и Дрезденского, следовало готовить, опираясь на горнорабочих Алтайского и Нерчинского округов...

Это было в 1859 году, когда чета Бакуниных переехала из Томска* в Иркутск, чему поспособствовал генерал-губернатор Муравьев-Амурский. Он посчитал, что, находясь рядом с ним, Бакунин сможет получить большие послабления и свободу передвижения до той поры, пока не удастся добиться его полного освобождения. У Бакунина также были большие планы в отношении высокопоставленного родственника, и тот против них, судя по всему, не особенно возражал. Вопрос вообще-то весьма деликатный, опасный в те времена для открытого обсуждения.

Герцен, однако, в «Былом и думах» назвал все вещи своими именами. Бакунина, несомненно посвятившего своего друга в свои планы, к тому времени уже не было в живых, а Н. Н. Муравьев-Амурский еще здравствовал и проживал в Париже. Подставлять его под удар было не в традициях Искандера (Герцена). Однако он написал то, что мог прочитать каждый: граф Муравьев-Амурский мечтал вместе с Бакуниным «о будущих переворотах (!) и войнах». Бакунин же видел в Муравьеве «главнокомандующего будущей земской армией», предназначенной прежде всего для освобождения поработанных славян и «учреждения славянского союзничества».

Другими словами, речь шла о создании общеславянской федерации. Нетрудно представить, какие тайные планы строил Бакунин в Томске и Иркутске. Теперь он собирался начать строительство общеславянской империи не с Праги, как в 1848 году, а с Сибири. Вопрос о вождях движения, естественно, решался автоматически, сам собой — это должен быть союз двух лиц — гражданского и военного, Бакунина и Муравьева. Понятно, что все эти планы относились к разряду «революций в мыслях», которые обычно сам Бакунин и саркастически высмеивал. Но факт остается фактом (и Герцен лучший тому свидетель): мысли такие были, и Муравьев

* В феврале 1862 года Бакунин писал П. П. Лялину из Лондона: «Я прожил в Томске вторую молодость свою, свое возрождение после 8-летней крепостной смерти».

был в них посвящен. Он находился в зените своей вполне заслуженной славы, и его политический потенциал был далеко не исчерпан. Это знали и его многочисленные почитатели, и не менее многочисленные недоброжелатели. Последних особенно много было в окружении царя. Они хозяина Восточной Сибири даже прозвали «красным генералом». Какие именно из тайных замыслов Бакунина, касающиеся Муравьева, стали известны царской охранке, сказать теперь трудно, доподлинно известно только, что в Третье отделение поступил донос из Иркутска о том, что Муравьев будто бы намеревается создать «Соединенные Штаты Сибири». Кроме того, после публикации Герценом своих мемуаров (частично в «Полярной звезде», частично в «Колоколе») сведения, не предназначавшиеся для афиширования, моментально сделались секретом Полишинеля.

У подавляющего большинства населения генерал-губернатор пользовался огромным авторитетом. Бакунин метафорически, но вполне справедливо называл его «Солнцем Сибири». Рассказывали, что по прибытии в Иркутск в марте 1848 года боевой генерал не подал руки ни одному из представленных ему чиновников, подозреваемых в коррупции, и немедленно начал беспощадную борьбу с казнокрадством и взяточничеством. Вел аскетический образ жизни, вставал не позже пяти утра, работал допоздна, по городу ходил пешком в простой шинели, лично контролировал работу рынков, магазинов, винных лавок и трактиров. Женщин легкого поведения, коих во всех городах России было предостаточно, велел выдавать замуж за солдат-штрафников, выделял им средства для обзаведения хозяйством и отправлял жить на неосвоенные берега Амура.

Политические идеалы Н. Н. Муравьева мало соответствовали эталону администратора такого уровня. Он был сторонником отмены крепостного права, безусловного и полного освобождения крестьян с землею, гласного судопроизводства с присяжными, уничтожения сословий, неограниченной печатной гласности, широкого народного самоуправления. При генерал-губернаторе Муравьеве в корне изменилось отношение к местным инородцам — бурятам, якутам, тунгусам (эвенкам), малым народностям Приамурья. Он защищал их от произвола чиновников и купцов, не преследовал традиционные верования, поощрял изучение русского языка, приобщая тем самым неграмотное население к отечественной и мировой культуре.

Необъятный край требовал постоянного внимания и заботы. Весной 1854 года генерал-губернатор на пароходе «Ар-

гунь» лично возглавил флотилию из 77 грузовых судов с пушками, боеприпасами и солдатами и достиг низовий Амура, где основал ряд военных постов. Далее путь поредевшей флотилии лежал на Камчатку. Здесь Муравьев определил удобные места для батарей в Авачинской бухте, им вскоре суждено было сыграть решающую роль в разгроме англо-французской эскадры, пытавшейся захватить Петропавловск-Камчатский. Встречавшийся с ним в то время писатель Иван Александрович Гончаров (1812—1891) так описал генерал-губернатора: «Небольшого роста, нервный, подвижной. Ни усталого взгляда, ни вялого движения. Это боевой отважный борец, полный внутреннего огня и кипучести в речи, в движениях».

Бакунин же в письме к Герцену дал такую характеристику своему высокому покровителю — «одному из лучших и полезнейших людей в России»: «Есть в самом деле один человек в России, единственный во всем официальном русском мире, высоко себя поставивший и сделавший себе громкое имя не пустяками, не подлостью, а великим патриотическим делом. Он страстно любит Россию и предан ей, как был ей предан Петр Великий. Вместе с тем он — не квасной патриот, не славянофил с бородою и с постным маслом. Это — человек в высшей степени современный и просвещенный. Он хочет величия и славы России в свободе. Он — решительно демократ, как мы сами, демократ с своей ранней молодости, по всем инстинктам, по ясному и твердому убеждению, по всему направлению головы, сердца и жизни; он благороден как рыцарь, чист как мало людей в России; при Николае он был генералом, генерал-губернатором, и никогда в жизни не сделал он ничего против своих убеждений. Вы догадываетесь, что я говорю про Муравьева-Амурского. <...> Я много встречал людей, но не знал еще [ни] одного, в котором сосредоточено было бы так много друг друга дополняющих даров и способностей: ум смелый, широкий, жгучий, решительный; природное увлекающее, воспламеняющее красноречие и вместе простота понимания и изложения удивительная. От прикосновения его мысли светлеют и простеют самые сложные, самые мудрые вопросы; пошиб мысли совершенно русский, практический. Память редкая, обнимающая равно и дела и людей...»

Но, как уже было сказано, у придерживающегося либеральных взглядов генерал-губернатора было много недоброжелателей и в столичных административных сферах, и в самой Сибири. Одним не нравились жесткие (деспотические, по их мнению) методы его управления, другие вообще кри-

тиковали все, что он делал в связи с преобразованием Приамурского края.

Как бы это дико ни прозвучало сегодня, в то время находились люди (и немало), считавшие, что Приамурье, Приморье, Уссурийский край, остров Сахалин, другие отдаленные территории вообще не нужны России и все усилия по их освоению — напрасный, к тому же весьма затратный труд. Апогеем такой близорукой (антиимперской по своей сущности) политики царизма явилась позорная продажа Аляски, уступленной в 1867 году США за 7,2 миллиона долларов (мне чем за 11 миллионов рублей), то есть фактически за бесценок (тем более что вскоре на Аляске было открыто и освоено баснословно богатое месторождение золота, а позже — огромные запасы нефти).

В описываемое время в столичном «Морском сборнике» не без высокого покровительства публиковались хлесткие антимуравьевские статьи бывшего декабриста Дмитрия Иринарховича Завалишина (1804—1892)*, оставшегося после амнистии в Чите. Он называл Амур «язвой России» и обвинял Муравьева в диктаторских замашках. Сегодня мелкотравчатая недалёковидность главного обличителя генерал-губернатора, полное отсутствие у него геополитического или хотя бы патриотического мышления очевидны. Но тогда его публикации вызвали определенный резонанс в среде сибирской общественности. С Завалишиным со временем солидаризировались три знаменитых «петрашевца», находившихся на вечном поселении в Иркутске — сам Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский и его соратники Николай Александрович Спешнев (1821—1882) и Федор Николаевич Львов (1823—1885).

До поры до времени петрашевцы старались не вступать ни в какие конфликты с властями. Им дозволялось заниматься просветительской деятельностью, участвовать в обсуждении насущных местных проблем, для чего совершенно

* Завалишин не являлся декабристом в полном смысле этого слова. Он не состоял ни в одном из тайных обществ, на Сенатскую площадь не выходил, не принимал участия в составлении и обсуждении основополагающих документов — главным образом потому, что, будучи морским офицером, находился в кругосветном плавании с экспедицией Крузенштерна и Лисянского. Но он сочувствовал республиканским идеям, знал о существовании движения, работал над собственной программой переустройства общественной жизни и был приговорен к «вечной каторге», так сказать, за крамольный образ мыслей и за недонесение о существовании заговора. В Сибири проявил исключительно неуживчивый характер, о чем Бакунина предупреждали все без исключения декабристы.

легально собираться вместе с иркутской молодежью в библиотеке. Более всего они — и в особенности М. В. Буташевич-Петрашевский — опасались выйти за рамки дозволенного и быть обвиненными в экстремизме. Несколько сгущая краски, Бакунин, хлебнувший горя от общения с петрашевцами, так характеризовал их лидера:

«Он — далеко не революционер, не открытый боец, на это он неспособен, он — трус; и несмотря на трусость, он не может оставаться в покое; он интригует, пакостит, ссорит, даже отваживается на опасные вещи по неизбежному внутреннему стремлению, которое в нем сильнее даже самого страха. Он — неизлечимый законник и готов поссорить братьев, самых близких друзей, для того чтобы завести между ними тяжбу. Таким образом во всех деревнях, куда он был ссылаем, во всех маленьких городах ему удавалось и до сих пор удается перессорить всех жителей между собою. Ему есть дело до каждой грязной истории между лицами, ему совершенно незнакомыми, и он до тех пор не успокоится, пока не найдет в ней для себя роли. Как истинный художник, помимо всех личных видов, хотя он и далеко не пренебрегает ими, он любит шум для шума, скандал для скандала, грязь для грязи. Этот человек злопамятен и мстителен до крайности, но ничем не оскорбляется. Уличите его во лжи, в клевете, назовите его в глаза подлецом, поколотите его, он завтра же подаст вам руку и будет уверять вас в своем уважении и в своей симпатии, если это только покажется ему нужным».

Конфликт политических ссыльных с генерал-губернатором зрел постепенно и исподволь, но как раз к моменту переезда Бакунина в Иркутск достиг своего апогея. Поводом вообще-то послужила случайная дуэль между двумя заезжими офицерами, в результате которой один из них был убит. И хотя губернатор в то время отсутствовал в Иркутске, тем не менее возмущение политических ссыльных и их окружения выплеснулось прежде всего в его адрес. Иркутская общественность разделилась на две партии — губернаторскую и антигубернаторскую. Моментально вспомнились все забытые обиды, против «сибирского сатрапа» были пущены в ход дозволенные и недозволенные приемы и средства. Принципиальное противостояние быстро превратилось в обыкновенную «кухонную склоку». В центре ее и оказался Бакунин, принадлежавший, естественно, к «губернаторской партии».

Погасить пламя пожара Бакунин, к сожалению, не смог, понимая, что политссыльные петрашевцы не правы от нача-

ла до конца, а личная вина губернатора не просматривалась ни с какой стороны. Муравьев же, зная, откуда дует ветер, попытался разрешить конфликт репрессивными методами: Львова уволили со службы, Петрашевского вообще выслали из Иркутска, библиотеку, где проходили встречи демократической (точнее — антигубернаторской) общественности, закрыли. Пострадавшие закусили удила и сумели передать свой гневный и желчный протест в Лондон для опубликования в герценовском «Колоколе». Всю грязь, какую они копили на протяжении многих лет, петрашевцы выплеснули на главного виновника всех, по их мнению, бед — генерал-губернатора Восточной Сибири, введя в заблуждение и главного редактора нелегального журнала Искандера-Герцена.

Вот тогда-то и потребовалось прямое вмешательство Бакунина. Он написал Герцену предлинное письмо, приложив к нему статью под названием «Ответ “Колоколу” от 1 декабря 1860 года». Главная цель — защитить Муравьева-Амурского от наветов и клеветы. Это ему удалось блестяще: «В продолжение 13 лет один из лучших русских людей, проникнутый истинно-демократичным и либеральным духом, трудился в поте лица своего, для того чтобы очеловечить, очистить, облегчить и поднять по возможности вверенный ему край. Он совершил чудеса, в особенности чудеса для сонно-любивой России, привыкшей заменять дело фразами да мечтами; ничтожными средствами, без всякой помощи и поддержки, почти наперекор Петербургу он присоединил к русскому царству огромный благодатный край, придвинувший Сибирь к Тихому океану, и тем впервые осмыслил Сибирь; он не жалел ни трудов, ни здоровья, он весь отдался великому и благородному делу, сам везде присущий и сам всегда работая как чернорабочий. В продолжение 13 лет он давал нам пример полнейшего самоотвержения; все его стремления, замыслы, предприятия, отличавшиеся истинно гениальной меткостью и простотою, проникнуты были высоким духом справедливости и желанием общего блага. 13 лет боролся он, и боролся небезуспешно, за права сибирского народа, стараясь освободить его, опять-таки сколько было возможно при известных вам политических условиях, от притеснений чиновно-административного, купеческого, горнозаводского, золотопромышленного, равно как и от зловонно-православного притеснения. Он успел очеловечить вверенный ему край, смягчить и облагородить все отношения, так что можно смело оказать, что ни в одной провинции России нет такой свободы движения и жизни вообще, как в Восточной Сибири, и ни в одном провинци-

альном городе не живет так привольно, легко и гуманно, как в Иркутске. Все это — дело Муравьева Сибирского...»

О себе писал кратко: «Восьмилетнее заключение в разных крепостях лишило меня зубов, но не ослабило, напротив, укрепило мои убеждения. В крепости на размышление времени много; инстинкты мои, двигатели всей моей молодости, сосредоточились, пояснились, как будто стали умнее и, мне кажется, способнее к практическому проявлению. Выпущенный из Шлиссельбургской крепости почти 4 года тому назад, я окреп и здоровьем, женат, счастлив в семье и, несмотря на это, готов по-прежнему, да, с прежнюю страстью, удариться в старые грехи (имеется в виду революционная деятельность. — В. Д.). <...> Будущее и даже близкое будущее, кажется, обещает многое. Началась и для русского народа погода, и без грома и молнии, кажись, не обойдется. Русское движение будет серьезным движением; ведь фантазерства и фраз мало, а дельного склада много в русском уме, а русское широкое, хоть и беспутное сердце пустяками удовлетвориться не может. Мы здесь живем день ото дня, яко чающие движения воды, следим за всеми знаменами, прислушиваемся ко всем звукам, ждем и готовимся...»

Большая часть письма и статьи посвящена скрупулезному анализу ситуации, сложившейся в Иркутске и Приамурье. В этом письме Бакунин, «апостол анархии», почти созревший *антигосударственник*, проявил себя как подлинный *государственник*, болеющий за целостность и величие России. Он оказался на голову выше петрашевцев, с легкостью необыкновенной готовых принести в жертву мелким личным амбициям геополитические интересы России. Через три месяца письмо было уже в Лондоне. Способ доставки нелегальной почты (а обратно — и литературы) был хорошо отлажен. Если не случалось прямой оказии через Европу, письма отправлялись с русскими купцами через Китай, Америку и два океана в Англию...

* * *

В 1861 году Николай Николаевич Муравьев-Амурский оставил пост генерал-губернатора, вышел в отставку и уехал доживать свой век в Париж. Неожиданно для всех, но не для себя самого. Он просто осуществил на практике собственное жизненное кредо: «Никто не должен быть на одном месте более десяти лет». Его уговаривали послужить еще, он отвечал: «Переслуживать — преступление». Провожать гене-

рал-губернатора вышел весь Иркутск. Из храма после торжественного молебна его вынесли на руках. Так и несли до повозки, сменяя друг друга — чиновники, казаки, крестьяне. Когда караван с отъезжающими и сопровождающими скрылся из виду, кто-то сказал: «Закатилась зорька Сибири». А в Петербурге вздохнули с облегчением — мысли и действия графа, покровителя политических ссыльных и негласного подписчика герценовского «Колокола», трудно было предугадать...

На посту генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского сменил его ближайший соратник и кузен Михаил Семенович Корсаков (1826—1871) — горячий патриот России, в честь которого еще во второй половине XIX века было названо поселение на Сахалине (сейчас — город Корсаков). В должности чиновника по особым поручениям он дважды совершил экспедиционное плавание по Амуру и в 1855 году был назначен военным губернатором Забайкальской области и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска. С 1861 года исполнял обязанности (или, как тогда говорили, исправлял должность) генерал-губернатора Восточной Сибири. В письме к Герцену Бакунин характеризовал его как ученика и воспитанника Муравьева, умного, деятельного и благородного «молодого человека». Корсаков продолжал оказывать Бакунину покровительство, а в 1861 году даже породнился с ним: его родная сестра — Корсакова Наталья Семеновна — вышла замуж за брата Михаила — Павла Александровича Бакунина — и поселилась с ним в Прямухине*.

Между тем многократные обращения разных лиц в высшие государственные инстанции с просьбой о помиловании или смягчении участи Бакунина и разрешении жить в Европейской России оставались тщетными. Александр II по-прежнему продолжал испытывать к знаменитому сибирскому ссыльному личную неприязнь и отклонял любые ходатайства об изменениях в его судьбе. Но царственное упрямство

* В последние годы жизни Михаила Александровича Бакунина Наталья Семеновна стала одним из самых близких и доверенных ему лиц. Она состояла с ним в постоянной деловой и просто дружеской переписке. Вместе с мужем Павлом Александровичем навещала его в Италии, и, будучи незаурядной художницей, оставила множество рисунков и набросков, связанных как с заграничной жизнью М. А. Бакунина, так и с повседневным житием Бакуниных в Прямухине и других местах. Привела в порядок огромный прямухинский архив и «Прямухинскую летопись», где по годам, месяцам и дням было расписано повседневное житье-бытье всех обитателей родового имения, начиная со дня его покупки 8 апреля 1779 года.

было ничто в сравнении с кипучей энергией Бакунина и его жаждой свободы. Он до мельчайших деталей продумал план бегства из Сибири — невероятный по дерзости и гениальный по простоте. Брата же Николая (а через него остальную родню) заранее, хотя и иносказательно, предупредил, что намерен отказаться от «правильного планетного течения» и в скором времени сделаться *кометой*, то есть вырваться на свободу и исчезнуть.

Даже многие официальные лица Бакунину искренне сочувствовали, откровенно подыгрывали и готовы были закрыть глаза на подготовку к побегу. Главной проблемой, как всегда, были деньги. Суммы, полученные под вексель братьев, как и пособие, полагающееся каждому ссыльному, давно были истрачены. Путь же предстоял неблизкий — через два океана и Америку в Европу. С этой целью он заключил с одним из богатых кяхтинских купцов договор, позволявший спуститься вниз по Амуру, дабы определить наиболее удобные места для постройки торгово-хозяйственных объектов. Исполнявший обязанности генерал-губернатора М. С. Корсаков выдал ему разрешение на свободное плавание по всем рекам амурского бассейна и предписание капитанам беспрепятственно брать М. А. Бакунина на борт своих судов. Удалось получить и паспорт, без коего выезд за пределы России был попросту невозможен.

Наконец, удалось занять в долг еще две тысячи рублей, из них самый минимум — двести — пришлось оставить жене. С ней же было условлено: как только станет известно о его побеге, она покинет Сибирь и переедет в Прямухино, где будет дожидаться вызова, чтобы соединиться с мужем в Европе. Из Иркутска Бакунин выехал 5 июня 1861 года и менее чем за месяц достиг Николаевска-на-Амуре. Сначала ехал на почтовой повозке до истоков Ангары, затем пересек Байкал и до Читы добирался на лошадях, по Шилке и Амуру плыл на пароходе. В Николаевске Бакунина чуть не арестовали. Он неосмотрительно доверился одному бывшему ссыльному поляку, а тот немедленно настроил донос. Офицер же, от которого зависело, задержать Бакунина или разрешить ему следовать дальше, видимо, из сочувствия рассудил в пользу беглеца: документы у того в порядке, а в доносе мало ли чего понапишут...

О бегстве Бакунина из Сибири долгое время ходили легенды — одна неправдоподобнее другой. Сам беглец в письме к Герцену и Огареву из Сан-Франциско (15 октября 1861 года) так описал «государственному преступнику» свою одиссею: он инкогнито пересел на американское судно и долго

дрейфовал на нем по Татарскому проливу вдоль сахалинского побережья и вдоль берегов Японии, где лишь 5 сентября в Йокогаме ему удалось пересечь на другое американское судно, следовавшее до Сан-Франциско. Все это время Бакунину исключительно везло. Его бегство могли пресечь еще в России, но старый и опытный конспиратор сумел обвести вокруг пальца приставленного к нему соглядатая, оставив в гостинице чемодан, набитый оберточной бумагой. В Йокогаме он неожиданно встретил находившуюся там с официальным визитом русскую эскадру и с трудом сумел избавиться от назойливой опеки со стороны соотечественников.

«Друзья, — писал он Герцену и Огареву, — мне удалось бежать из Сибири, и, после долгого странствования по Амуру, по берегам Татарского пролива и через Японию, сегодня прибыл я в Сан-Франциско. <...> Друзья, всем существом стремлюсь я к вам и, лишь только приеду, примусь за дело: буду у вас служить по польско-славянскому вопросу, который был моей *idée fixe* с 1846-го и моей практической специальностью в 48-м и 49-м годах. Разрушение, полное разрушение Австрийской империи будет моим последним словом; не говорю — делом: это было бы слишком честолюбиво; для служения ему я готов идти в барабанщики или даже в прохвосты, и, если мне удастся хоть на волос подвинуть его вперед, я буду доволен. А за ним является славная, вольная славянская федерация — единственный исход для России, Украины, Польши и вообще для славянских народов...»

Как видим, Бакунин ничуть не изменился — все та же несгибаемая воля, все те же амбиции. Энергии его по-прежнему хватало не на одну революцию. Не получилось начать с Сибири, попробуем еще раз — с Австро-Венгрии! Но для этого, как минимум, требовалось попасть в Европу. Маршрут по тем временам не из легких: из Сан-Франциско до тихоокеанского побережья Панамского перешейка, дальше — посуху (Панамский канал построят только в XX веке) до Мексиканского залива, оттуда — через Атлантический океан в Великобританию. Денег, как всегда, нет, те, что одолжил, давно закончились, тютелька в тютельку оставалось на билет. В Соединенных Штатах всюду полыхала Гражданская война. Юг одерживал временные победы над Севером. Все симпатии Бакунина, как и всех других русских революционеров, конечно же, были на стороне северян.

Интересны впечатления Бакунина об Америке и американцах, он поделился ими со своим томским приятелем П. П. Лялиным в письме, отправленном из Лондона: «В Америке пробыл с месяц и многому поучился. Увидел, как край путем

демагогии дошел до тех же жалких результатов, каких мы достигли путем деспотизма. Между Америкой и Россией, в самом деле, много общего, — а что для меня главное, я нашел в Америке такую повсеместную и безусловную симпатию к России и веру в русскую народную будущность, что, несмотря на все мною самим виденное и слышанное, я уехал из Америки решительным партизаном Соединенных Штатов».

Среди легенд о побеге Бакунина были и совсем экзотические. Будто бы при переходе с русского клипера «Стрела» на американское судно «Горизонт» он удачно инсценировал собственную смерть. На глазах сопровождавшего его полицейского исправника он якобы случайно упал с трапа в море и более не появился на поверхности. На самом же деле, заранее договорившись с американцами, Бакунин, нырнув под киль, незаметно всплыл у другого борта, где его также незаметно подняли на корабль и спрятали в трюме. Так или иначе, но к новому 1862 году Бакунин уже объявился в Лондоне. О том, как это произошло, поведала в своих воспоминаниях Н. А. Тучкова-Огарева: «Я очень хорошо помню первое появление Бакунина в нашем доме; вот как это произошло. Был девятый час вечера, все сидели за столом, а я по нездоровью обедала в той же комнате, лежа на диване. Услыша сильный звонок, Жюль (слуга. — *В. Д.*) побежал к входной двери наверх и через несколько минут возвратился в сопровождении посетителя; это был Михаил Александрович Бакунин. Не помню, говорила ли я раньше об его наружности. Он был очень высокого роста, умное и выразительное лицо; в его чертах было много сходства с типом Муравьевых, с которыми он состоял в родстве. При появлении Бакунина все встали. Мужчины обнимали друг друга. <...> Бакунин сел тоже за стол, обед стал очень оживлен. <...>».

Глава 8
АПОСТОЛ СВОБОДЫ

Герцен и Огарев узнавали и не узнавали своего старого друга. Внешне он очень изменился: грузный, поседевший, измученный хроническими болезнями. Но дух его, громоподобный голос, детская восторженность, порывистость и доверчивость оставались прежними. Позже в «Былом и думах» Герцен очень верно описал «апостола свободы» той поры:

«Бакунин был тот же, он состарился только телом, дух его был молод и восторжен, как в Москве во время “всенощных” споров с Хомяковым; он был так же предан одной идее, так же способен увлекаться, видеть во всем исполнение своих желаний и идеалов, и еще больше готов на всякий опыт, на всякую жертву, чувствуя, что жизни вперед остается не так много и что, следственно, надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Он тяготился долгим изучением, взвешиванием pro и contra и рвался, доверчивый и отвлеченный, как прежде, к делу, лишь бы оно было среди бурь революции, среди разгрома и грозной обстановки. <...>

Бакунин имел много недостатков. Но недостатки его были мелки, а сильные качества — крупны. Разве это одно не великое дело, что, брошенный судьбою куда б то ни было и схватив две-три черты окружающей среды, он отделял революционную струю и тотчас принимался вести ее далее, раздувать, делая ее страстным вопросом жизни? <...>

Он спорил, проповедовал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки. В короткие минуты, оставшиеся у него свободными, он бросался за свой письменный стол, расчищал небольшое место от золы (табачной. — В. Д.) и принимался писать пять, десять, пятнадцать писем в Семипалатинск и Арад, в Белград и Царьград, в Бессарабию, Молдавию и Белокриницу. Середь письма он бросал перо и приводил в порядок какого-нибудь отсталого далмата... и, не кончивши

своей речи, схватывал перо и продолжал писать, что, впрочем, для него было облегчено тем, что он писал и говорил об одном и том же. Деятельность его, праздность, аппетит и все остальное, как гигантский рост и вечный пот, — все было не по человеческим размерам, как он сам; а сам он — исполин с львиной головой, с всклокоченной гривой.

В пятьдесят лет он был решительно тот же кочующий студент с Маросейки, тот же бездомный boheme с Rue de Bourgogne (богема с Бургундской улицы. — В. Д.); без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора направо и налево, когда их нет, с той простотой, с которой дети берут у родителей — без заботы об уплате, с той простотой, с которой он сам [готов] отдать всякому последние деньги, отделив от них, что следует, на сигареты и чай. Его этот образ жизни не теснил... он родился быть великим бродягой, великим бездомником. Если б его кто-нибудь спросил окончательно, что он думает о праве собственности, он мог бы сказать то, что отвечал Лаплас Наполеону о Боге: "Sire, в моих занятиях я не встречал никакой необходимости в этой гипотезе!"

В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан.

Как он дошел до женитьбы, я могу только объяснить сибирской скукой. Он свято сохранил все привычки и обычаи родины, то есть студентской [так!] жизни в Москве, — груды табаку лежали на столе вроде приготовленного фуража, зола сигар под бумагами и недопитыми стаканами чая... с утра дым столбом ходил по комнате от целого хора курильщиков, куривших точно взапуски, торопясь, задыхаясь, затягиваясь, словом, так, как курят одни русские и славяне. Много раз наслаждался я удивлением, сопровождавшимся некоторым ужасом и замешательством, хозяйской горничной Гресс, когда она глубокой ночью приносила пятуго сахарницу сахару и горячую воду в эту готовальню славянско-го освобождения. <...>».

Герцен высказал в его адрес множество критических и по-дружески откровенных замечаний, некоторые из них задел Бакунина, прочитавшего отрывки из «Былого и дум» в «Колоколе» и «Полярной звезде», за живое. И все же мало кому из мемуаристов удалось создать столь выразительный портрет с запоминающимися штрихами и деталями: «Бакунин... любил не только рев восстания и шум клуба, площадь и баррикады, он любил также и приготовительную агитацию, эту возбужденную и вместе с тем задержанную жизнь

конспираций, консультаций, неспанных ночей, переговоров, договоров, ректификаций [исправлений] шифров, химических чернил и условных знаков...»

Лондонская эмиграция все еще находилась под впечатлением отмены крепостного права в России, хотя царский манифест появился еще 19 февраля 1861 года. Первые восторги («Ты победил, Галилеянин!» — слова известного афоризма, обращенные Герценом к Александру II) давно сменились трезвыми оценками и разочарованием. Личная свобода крестьян не подкреплялась безвозмездными земельными наделами, и агония феодального режима растягивалась на многие годы. Вопрос о русской революции снова стал актуальным, и все надежды на нее конечно же связывались с обделенным и обманутым крестьянством.

Бакунин считал необходимым предупредить о неминуемом взрыве не кого-нибудь, а самого императора, из сибирских владений которого ему недавно и с таким трудом удалось бежать. Статьи, написанные на одном дыхании, впоследствии были объединены в брошюру, опубликованную спустя несколько лет под названием «Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель?». Романов, поставленный в один ряд с вождем крестьянской революции и декабристом-заговорщиком Пестелем — это «царь-освободитель» Александр II, к нему-то и обращался недавний узник Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей. Смысл обращения такой: если царь не хочет в ближайшее время получить крестьянской войны или буржуазной революции, *то он должен сам возглавить движение России по пути социального прогресса*. Избежать кровавого исхода вполне возможно, если Александр Николаевич Романов, «встав во главе движения народного, вместе с Земским Собором приступит широко и решительно к коренному преобразованию России в духе свободы и земства». В противном случае «революция примет характер беспощадной резни, не вследствие прокламаций и заговоров восторженной молодежи, а вследствие восстания всенародного». Пока еще есть шанс спасти Россию от разорения и от крови. Но готов ли к этому император? И захочет ли он это сделать? Ответ напрашивался однозначный, а будущее покажет, что царь (не только этот, но уже другой) предпочтет иной выбор и другое решение...

У Бакунина были все основания обращаться непосредственно к русскому самодержцу. Свое кредо он ясно сформулировал по приезду в Лондон в письме к декабристу Николаю Ивановичу Тургеневу (1789—1871): «Я перестал быть революционером отвлеченным и стал во сто раз больше рус-

ским... русскому человеку надо действовать по преимуществу в России и на Россию, а если хотите шире, так исключительно на славянский мир».

Вскоре он напомнил о себе и давнему другу Жорж Санд и вкратце, в полушутливом тоне рассказал ей о своих злоключениях:

«31 января, 1862 г., Лондон.

14, Альфред-Стрит. Бедфорд Сквер. В. Энд.

М[илостивая] г[осударыня]! Вы, без сомнения, позабыли бедного русского, который тем не менее был одним из самых преданных Ваших поклонников. Я Вас не забыл, и это весьма естественно: Вы некогда проявили по отношению ко мне столько благородной и доброй симпатии. Я так мало забыл Вас, что, вернувшись к жизни после обмирания и исчезновения, которое длилось около 13 лет, не будучи в состоянии лично приехать в Париж, который теперь забавляется тем, что позволяет власти произвола править собою, и, желая во что бы то ни стало напомнить о себе Вашему благосклонному воспоминанию, я направляю к Вам моего брата, который, как и я, один из Ваших, м[илостивая] г[осударыня], страстных поклонников. Он расскажет Вам, как меня схватили в 1849 году, заковали [в кандалы], держали в течение двух с половиной лет в крепостях Кенигштейне, Праге и Ольмюце, судили и приговорили к смерти в Саксонии, потом в Австрии, наконец, перевезли в Россию, где я провел еще 6 лет в крепости и четыре года в Сибири, как, наконец, разбуженный всем тем шумом, который вновь происходит на свете, а особенно волнением в мире славянском, я предался Амуру, не богу, а реке, с помощью Божьей проехал через Японию, Тихий океан, Сан-Франциско, Панамский перешеек, Нью-Йорк, Бостон, Атлантический океан и, наконец, бросил якорь в Лондоне, где погода отвратительная, но где взамен этого хорошая и прочная свобода.

Вы добры, м[илостивая] г[осударыня], значит, Вы будете довольны узнать, что я вновь свободен и готов вновь приняться за те прегрешения, за которые со мною довольно-таки немилостиво обошлись. Лишь одно изменилось, — увы! — я постарел на 13 лет. Это, без сомнения, несчастье, но что же делать? К тому же я чувствую себя достаточно молодым. Мне как раз столько лет, как гётевскому Фаусту, когда он говорит:

“Слишком стар, чтоб забавляться пустяками,

Слишком молод для того, чтоб не иметь желаний”.

Лишенный политической жизни в течение 13 лет, я жажду деятельности и думаю, что после любви высшее счас-

тье — это деятельность. Человек вправду счастлив, лишь когда он творит. Однако вот я впадаю в философию, да притом же перед Вами, м[илостивая] г[осударыня], — скиф, занимающийся умствованиями перед афинским умом! Будьте снисходительны, вспомните, что я возвратился только что из Сибири, а не из Парижа, хотя Париж ныне, кажется, слегка даже опустился до уровня Сибири.

Позвольте, м[илостивая] г[осударыня], еще раз выразить Вам чувства глубокого почтения и преданнейшей симпатии, которыми я всегда был проникнут к Вам — М. Бакунин.

Брат Александр, о котором говорится в письме, в начале 1862 года приехал в Лондон из Италии, где он вместе с другим братом, Алексеем, вот уже несколько лет занимался живописью. По предположению некоторых историков, он выполнял здесь какие-то конспиративные поручения Герцена. Ликованию Михаила не было конца. В письме к матери, братьям и сестрам, находившимся в Прямухине, он писал 3 февраля 1862 года: «Мои милые — брат Александр у меня в Лондоне, он пробыл здесь около двух недель и сегодня вечером обращается вспять в свою прекрасную Флоренцию. Мы с ним много толковали и теоретически и практически. Практически сошлись, как всегда мы, братья Бакунины, сходитья будем. Теоретически мы живем в разных мирах: он живет еще в абсолюте. Мы стараемся жить как умеем в мире действительности и часто друг друга не понимаем. Но для меня, по крайней мере, мир теоретический теперь не главный мир, — и так мы сошлись как друзья и братья, и весь прямухинский мир ожил для меня с его приездом. Мы решили с ним, что нам, братьям, следует по возможности восстановить сознательное, практическое единство между собою, чтоб мы жили и действовали заодно, по одному направлению, стремясь хоть и из разных положений и мест к одной цели».

Александр Бакунин страдал хроническим кашлем, нервными расстройствами, другими заболеваниями и нуждался в лечении под постоянным наблюдением врачей. Лучше всего ему помогал мягкий климат Италии. Михаил с беспокойством делился с родными своими наблюдениями и соображениями. Спали они с братом на одной широкой кровати. Но сон Александра — одно сплошное мучение: он бредит, кричит, вскакивает, проговаривается о вещах, что называется, не предназначенных для постороннего уха. Вскоре участник обороны Севастополя вернулся в солнечную Италию, где присоединился к Джузеппе Гарибальди и вместе с его краснорубашечниками участвовал в походе на Рим.

Тем временем Михаил Бакунин хлопотал о воссоединении с женой и ее переезде, возможно, вместе с отцом — стариком Квятковским, младшими сестрами Софьей (Зосей) и Юлией, а также братом Александром, готовившимся к поступлению в Петербургский университет, из Сибири в Европу. Он очень хотел, чтобы сначала Антося посетила Прямухина, познакомилась со свекровью и остальной бакунинской родней. Для всего этого, естественно, требовались деньги, а их по обыкновению не было. Михаил обратился к братьям, но ответа не получил. Не понимая, в чем дело, он постепенно начинал терять самообладание и послал домой письмо, полное упреков и обид. Ответа опять не получил. Наконец, ситуация прояснилась: братья Николай и Алексей не отвечают потому, что... находятся в Петропавловской крепости, куда их заключили в числе других тверских дворян, отказавшихся принять царский Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права. Тверские дворяне посчитали неправомерным и аморальным деянием освобождение крестьян от крепостной зависимости без предоставления земельного надела, который, по их мнению, должен быть выкуплен у землевладельцев (помещиков) государством (правительством) и предоставлен безвозмездно в пользование каждой крестьянской семье.

После бурных дебатов на тверском дворянском съезде в адрес императора был составлен «адрес», его подписали 112 участников (делегатов). Затем на съезде мировых посредников тринадцать человек (включая Николая и Алексея Бакуниных) сложили свои полномочия и заявили о непризнании Манифеста от 19 февраля. Последствия не заставили себя ждать: все тринадцать «подписантов» были арестованы и доставлены в Петропавловскую крепость, где их продержали до середины лета. Сенат приговорил тверских фрондеров к двум годам содержания в смирительном доме, но через неделю всех освободили под негласный надзор полиции, категорически запретив впредь занимать какие-либо государственные или выборные должности.

Обо всем этом Михаил узнал из писем жены брата Павла Натальи (урожденной Корсаковой). Она стала его самым добросовестным корреспондентом, подробно информировала о жизни не только в Прямухине, но и в Тверской губернии и во всей России. Отныне с полным основанием он станет звать ее сестрой. На плечи Натальи легла и основная часть забот по организации переезда в Европу Антоси и ее родни. На братьев в тот момент он полагаться не мог. Николай и Алексей оказались в тюрьме, а затем фактически в

ссылке, Александр находился в Италии, Павел же никогда не тяготел к эпистолярному жанру и передоверил всю переписку жене.

Однако у Михаила были все основания подозревать, что его побег из Сибири доставил родным больше проблем, чем радости. Дело было не в идеологических и политических разногласиях — по этим вопросам братья (с одной стороны, — классические русские либералы, а с другой, — «апостол свободы») определились раз и навсегда. Но существовали ведь еще семейные и просто человеческие узы, не говоря уже о дворянском долге. В конце концов кто-то просто обязан помочь его жене, оставшейся без средств к существованию, вырваться из Сибири. Вот почему в письме к Наталье — единственной ниточке, связывавшей его в тот момент с Прямухиным, он писал: «Прости мне, милая сестра, это неприятное объяснение, но я хочу быть с тобою в отношениях серьезных, а потому и должен сказать тебе, что думаю и чувствую. Братьям, сестрам я не пишу, да и писать не буду — мне надоело писать безответно, а во-вторых, мы так мало понимаем друг друга, что нам и говорить нечего. Я остался им верен и продолжаю любить их от всей души, радуюсь их успехам, горжусь их благородными действиями, но мне надоело, да наконец я нахожу себя недостойным толковать и объяснять себя людям, которые ни слушать, ни понять меня не хотят. Будем жить и действовать врознь. <...> Увы! теперь не время наслаждения и спокойствия. Времена великие, но жестокие наступают. Лихо морю-океану расколыхаться, не скоро оно потом успокоится. Все паллиативные средства, придумываемые ныне, только ускорят разгром. Надо готовиться к буре — хотите, не хотите, но надо — ни от Вас и ни от кого она не зависит. Она во всей атмосфере, и в этом отношении я не ошибаюсь: во мне есть инстинкт бурной птицы. Приближается для нас всех испытание страшное; дай Бог, чтоб каждого из нас оно нашло на своем месте и в силе. Держитесь крепко друг за друга, верьте друг в друга, любите друг друга. Такая любовь, как Ваша семейная любовь, в такое время, как наше, сокровище, отрада и сила. А мне дайте скорее мою милую Antonie. <...> Я оставлял жену в Иркутске, бедную, грустную, молодую, беспомощную, без всякой другой опоры, кроме семейства ее доброго, истинно благородного, но бессильного, не обеспеченного даже в своем собственном существовании, — не знал, правда, что я потерял право рассчитывать для нее на сердечную поддержку моего прямухинского семейства — на том основании, что у нас разные политические штандпунк-

ты. <...> До Вас, милые братья и сестры, у меня только одна просьба, — помогите мне вызвать мою жену сначала из Иркутска к Вам, потом из Прямухина в Лондон. — Мне кажется, что когда Вы ее узнаете, Вы ее полюбите; она, право, этого стоит. Но не в том дело, я ее люблю и мне она необходима. <...>».

Самой же жене он чуть позже писал: «Мы скоро... будем вместе — я буду счастлив. Сердце мое по тебе изныло. Я днем и ночью вижу только тебя. Лишь только ты приедешь ко мне, мы с тобой поедem в Италию. <...> Антося, друг неогненнный, приезжай скорее, приезжай».

Однако необходимой для переезда Антоси суммы денег у Бакуниных не было в принципе. В конце концов деньги на переезд (2000 рублей) обещал дать И. С. Тургенев, с ним Бакунин на коротке общался в Лондоне. Еще раньше по просьбе Герцена Иван Сергеевич, теперь уже знаменитый писатель, согласился выделять другу молодости ежегодный пенсион в размере 1500 рублей. Не разделяя политических взглядов Бакунина, но как проникательный художник слова видя в нем незаурядную (можно даже сказать, великую) личность и искренне сочувствуя его трагической судьбе, Тургенев сдержал обещание. Сначала он подключил к решению деликатного вопроса свою хорошую знакомую Н. Н. Рашет, но вскоре сам появился в Петербурге и взял дело в свои руки. Он добился разрешения от столичного генерал-губернатора на свидание с заключенными в Петропавловке братьями Николаем и Алексеем Бакуниными, а от них, в свою очередь, получил согласие на переезд Антоси из Иркутска в Прямухино (совершенно необходимый формальный акт ввиду отсутствия у Михаила Бакунина, продолжавшего считаться в России государственным преступником, каких-либо гражданских прав). После этого Тургенев передал жене Павла Наталье тысячу франков и пятьсот рублей для вручения Антонии Ксаверьевне*.

Личные отношения друзей при этом оставались достаточно сложными и противоречивыми. Так, Бакунин писал: «Ты прав, Тургенев, прекратим бесполезные рассуждения о вопросах политических, которые нас только раздражают,

* В конечном счете чисто гуманитарная миссия одного из популярнейших русских писателей была «по достоинству оценена» и царскими властями: его привлекли к следствию по делу о «лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами», и в марте 1863 года он был вызван для дачи показаний в сенатскую следственную комиссию. Участь Чернышевского ему, конечно, не грозила, но отношения его с официальными структурами изрядно подпортились.

ссорят и ни на шаг не подвигают. Мы оба слишком стары, чтобы менять шкуру, останемся каждый при своей старой, но также останемся и друзьями. Правда, что в этой дружбе весь выигрыш мой, ты для меня много делаешь, я же для тебя сделать ничего не могу. Но пусть будет это неравенство, лишь бы оно не надоело тебе, я с ним мирюсь...»

В своих суждениях Тургенев оказался еще более строг и гораздо менее объективен. Летом 1862 года в письме к классику украинской литературы Марко Вовчок (1833—1907) (Мария Вилинская-Маркович. — *В. Д.*), находившейся в Италии, где она познакомилась с Бакуниным, Тургенев откровенничал: «Что за человек Бакунин, спрашиваете Вы? Я в Рудине представил довольно верный его портрет: теперь это Рудин, не убитый на баррикаде. Между нами: — это развалина. Будет еще копошиться помаленьку и стараться поднимать славян, но из этого ничего не выйдет. Жаль его: тяжелая ноша — жизнь устарелого и выдохнувшегося агитатора. Вот мое откровенное мнение о нем — а Вы не болтайте». Тургенев был вполне искренен, но, к сожалению, не во всем прав...

Тем временем на горизонте появился еще один добровольный помощник — Михаил Лазаревич Налбандов (Налбандян), армянин по происхождению, далекий от каких-либо идеологических предпочтений, но обладавший практическим складом ума, неисчерпаемой энергией и желанием довести до благополучного конца такое непростое дело, как вызволение семьи Бакунина. Они были представлены друг другу в Лондоне, и Михаил Александрович доверился новому знакомому безраздельно, понимая, что в практических делах больше положиться просто не на кого*. Пока Налбандов добирался до России, переписка происходила обычным путем — по почте. Но в родном Отечестве обмен письмами совершался конспиративно — из рук в руки с помощью доверенных лиц и с использованием так называемого «шифрованного лексикона», когда одни слова заменялись другими.

Бакунин был мастером по составлению подобных «лексиконов». Некоторые из них сохранились до наших дней и опубликованы. Один в свое время был тайно передан при свидании с сестрой Татьяной еще во время заключения в Алексеевском рavelине. Другой — достаточно подробный —

* Вот его характеристика, данная Бакуниным в письме к невестке Наталье: «Он золотой человек — весь душа и весь преданность. <...> Берет не умом, а сердцем, хотя, пожалуй, как истый армянин, и очень хитер, когда надо».

был составлен специально для Михаила Налбандова. Здесь используется следующая система замены имен, фамилий, названий и иных слов: сам *Бакунин* именуется *Леонтием Федоровичем Брыкаловым*, его жена *Антония* — *Марией Осиповной*, брат *Николай* — *Петром Савельевичем*, *Павел* — *Ильей Михайловичем*, *Алексей* — *Сергеем Федоровичем*, *Наталья* (жена Павла) — *Олимпией Сергеевной*, *И. С. Тургенев* — *Ларионом Андреевичем* (Тургенев, проинструктированный Бакуниным, также отчасти использовал подобный шифр), *Герцен* — *бароном Тизенгаузеном*, *Огарев* — *Костеровым*, *Государь Император* — *Гавриловым*, *Правительство* — *Дурновым*, *Тайная полиция* — *Слепневым*, *греки* — *татарами*, *славяне* — *немцами*, *Петербург* — *Або*, *Москва* — *Миценском*, *Тверь* — *Орлом*, *Торжок* — *Моршанском*, *Прямухино* — *Рыбным*, *Иркутск* — *Калугой*, *Томск* — *Одессой*, *Западная Сибирь* — *Литвой*, *Восточная Сибирь* — *Крымом*, *Шлиссельбург* — *Таганрогом*, *крепость* — *кондитерской*, *тюрьма* — *кофейней*, «*сослан*» — «*поехал по делам*». И т. д. и т. п. Таким образом, условная фраза — «Государь сослал Бакунина в Сибирь» в зашифрованном виде должна была бы выглядеть так — «Гаврилов направил Брыкалова по делам в Литву (или Крым)».

Наконец, весь «расклад сложился»: деньги Тургенева и природная предприимчивость Налбандова сделали свое дело. 12 ноября 1862 года Антония Ксаверьевна наконец-таки выехала из Иркутска и через месяц добралась до Прямухина, где нашла радушный прием и передружила с кем только можно. Осталось дожидаться паспорта для выезда за границу, о нем хлопотал Павел Бакунин. Михаил Александрович, казалось бы, мог вздохнуть спокойно, но его захватили совсем другие дела...

* * *

Нет нужды говорить, что с момента высадки на английский берег (и, безусловно, ранее того) вся энергия Бакунина по-прежнему была направлена на подготовку революции. В России после крестьянской реформы 1861 года постепенно складывалась революционная ситуация. Еще быстрее зрела она в Царстве Польском — части Российской империи, где каждый поляк готов был отдать жизнь за свободу и независимость отчизны. Повсюду тайные революционные комитеты готовились к восстанию. Русская эмиграция была на стороне польских братьев. Бакунин небезосновательно считал, что давно ожидаемая им общеславянская революция на сей раз может начаться с Польши. Взрыв, однако, произошел не-

ожиданно для всех — в ответ на незапланированный рекрутский набор, с помощью которого царское правительство намеревалось нейтрализовать наиболее активную часть населения — молодежь. В ночь с 22 на 23 января 1863 года началось всеобщее народное восстание в Польше, Литве и в части Западной Белоруссии. Бакунин считал, что польское восстание послужит детонатором революции в России. Первой вслед за Польшей должна была подняться Финляндия. Дабы иметь возможность непосредственно влиять на события и в удобный момент включиться в них и даже возглавить, Бакунин безо всякого приглашения, и никого не поставив в известность, 21 февраля 1863 года приехал в Стокгольм.

Швеция имела свой интерес во всем этом деле — не теряла надежды вернуть Финляндию, отобранную у нее в результате Русско-шведской войны 1808—1809 годов. Король и правительство никак не могли смириться с потерей территории, испокон веков считавшейся их вотчиной. Потенциальная независимость Польши и любое поражение России также были на руку шведским геополитикам и стратегам. Поэтому на волне завышенных ожиданий и утопических планов Бакунина, прибывшего в Швецию под псевдонимом Анри Сулэ, приняли чуть ли не как главу будущего временного правительства (правда, неизвестно какого государственного образования). Ему дал аудиенцию ни больше ни меньше как сам шведский король Карл XV, в его честь был устроен грандиозный банкет, где «русский бунтарь» выступил с пламенной речью, заставившей поперхнуться не одного шведского либерала. По свидетельству очевидца, Бакунин шокировал публику уже тем, что явился на официальный прием в костюме, более подобающем для народного митинга. Он произнес блестящий спич на французском языке, непонятном большинству присутствующих. Однако все были настолько загипнотизированы этим «русским медведем», его широкими жестами и мощным голосом, напоминающим рев хищного зверя, что по окончании выступления раздался шквал аплодисментов.

Царская охранка внимательно следила за каждым шагом бывшего российского подданного. Почти все европейские страны (тем более такие, как «вечная соперница» Швеция) были наводнены российскими шпионами и осведомителями. Их многостраничные донесения не вменяли папки жандармского ведомства. Секретное досье Бакунина, дошедшее до наших дней, — одно из самых объемных в этой позорной «коллекции». Обо всех наиболее заметных делах русской эмиграции в целом и Бакунина в частности докла-

дывали лично царю. Александр II в очередной раз имел повод пожалеть, что, проявив непозволительную для монарха слабость, поддался на уговоры и выпустил Бакунина из Шлиссельбургской крепости. Дабы подпортить жизнь неукротимому революционеру, решено было еще раз, как когда-то в революционном Париже, пустить в ход гнусную клевету о нем как о тайном жандармском агенте, использовав на сей раз «Исповедь», собственноручно написанную для царя в Алексеевском равелине.

Бакунин нашел возможность достойно ответить не только Александру II, но и всей династии Романовых, опубликовав в двух номерах шведской газеты статью о пережитках российской феодальной системы в лице императорской власти, ставшей тормозом на пути прогрессивного развития: «<...> Для тех, кого удивит сила моей ненависти к петербургскому императорскому режиму, я скажу, что с режимом этим я познакомился в царствование императора Николая. А это, быть может, был наиболее мрачный период в истории наших монархов, уже самой по себе достаточно мрачной. В продолжение 30 лет это было систематическим отрицанием всякого человеческого чувства, всякой мысли, всякой справедливости. В течение всего этого времени не прислушивались ни к жалобам, ни к ропоту, подвергаясь действию этой системы удушения, которую называли Николаевским режимом: люди страдали и умирали, не смея вымолвить слово.

Император Николай был Дон-Кихотом системы, созданной Петром I и Екатериной II; он был наиболее трагическим ее выразителем. Он считал себя благодетелем и просветителем России. Что случилось бы, если бы он не был побежден в Крыму? Для России это было бы большим несчастьем. Но, к счастью для нас, его торжество оказалось уже невозможным.

Никто никогда не забудет трепета, пробежавшего по всей империи при смерти императора Николая. Его можно было назвать первым вздохом воскресшего. Чиновничество оплакивало крушение своего владычества, остальное же население содрогнулось от радостных надежд. Россия не умерла: несмотря на все усилия, императору Николаю не удалось убить ее, и было ясно, что его режим, столь ненавидимый всеми, вместе с ним сошел в могилу. Дата его смерти является днем рождения новой России. <...>».

Двухгодичное пребывание в Швеции, естественно, не ограничивалось одной лишь пропагандой, агитацией и газетной полемикой. Главной задачей, стоявшей в ту пору пе-

ред интернациональной эмиграцией, являлось формирование отряда добровольцев. Их предполагалось направить на помощь восставшим в Литве и Польше. Для успеха предприятия необходимо было подобрать надежных людей, закупить оружие и боеприпасы, арендовать пароход и отправить его со всем грузом через Балтийское море. Бакунина пригласили подключиться к волонтерам по дороге к пункту высадки десанта в районе Паланги на балтийском побережье Литвы. Руководителем военной экспедиции был полковник Теофил Лапинский, он приобрел опыт боевых действий и партизанской войны на Кавказе, где сражался на стороне горцев.

Герцену и Огареву командир польских добровольцев запомнился патологической ненавистью к России и ко всему русскому, ненавидимому им «дико, безумно, неисправимо». Но присутствие Бакунина среди волонтеров терпел — вероятно, из-за его зычного голоса, способного перекричать шум бури и вой любого ветра. Бакунин уже воображал, как высадится с десантом в Литве близ Паланги, в том самом Западном крае, где когда-то начиналась его военная служба. Волонтеры на шлюпках намеревались, насколько это возможно, ближе подойти к берегу и по мелководью, вброд, добраться до суши.

Однако с самого начала экспедицию преследовала череда неудач. У ее руководства не было никакого взаимопонимания. Замыслы польских эмигрантов из-за отсутствия элементарной конспирации и предательства стали известны царскому правительству, и оно сыграло на опережение: от самых берегов Англии пароход с польскими инсургентами сопровождал русский военный корабль, готовый в любую минуту расстрелять десант из пушек. Пока шла организационная работа в Швеции, повстанцы в Литве были разгромлены, а их героический руководитель Зигмунд Сераковский (1826—1863), тяжело раненный в позвоночник, попал в плен и в бессознательном состоянии был повешен по приговору полевого суда. Капитан зафрахтованного судна отказался вести пароход по новому маршруту и направил его в Копенгаген, где вместе с частью команды сбежал с корабля. Новый капитан повернул пароход в Швецию, где по решению шведского правительства его задержали почти на два месяца. Бакунин вынужден был отказаться от дальнейшего участия в экспедиции и вернуться в Стокгольм*.

* Спустя два месяца, учтя прошлые неудачи, поляки попытались вновь реализовать свой замысел. На сей раз действовали с соблюдением всей необходимой конспирации. Пароход с волонтерами на борту по-

Восстание в Польше не могло не потерпеть поражения. Энтузиазм плохо вооруженного и недостаточно сплоченного народа оказался бессильным против регулярных царских войск. Осторожный Герцен пытался поубавить революционный пыл Бакунина, указав на неминуемость поражения польского восстания. Что касается общеславянской революции, то здесь Искандер пробовал даже шутить (хотя поводов для шуток было очень мало). Он намекал, что Михаил «принял второй месяц беременности за девятый» и что он «запил свой революционный запой».

Безрезультатно! Бакунин рассуждал совершенно по-иному. Достаточно искры, чтобы взорвать бочку с порохом. Вот он и есть та самая искра, а горючий материал всегда под руками. Достаточно одного зажигательного выступления или искрометной прокламации, чтобы воспламенить толпу и направить ее на штурм любой твердыни деспотизма в любой части света. Он по-прежнему пытался опередить события, ускорить естественное течение времени, и реальность постоянно оборачивалась к нему не лучшей своей стороной. Говоря словами Герцена, «он *хотел* верить и верил, что Жмудь и Волга, Дон и Украина восстанут, как один человек, услышав о Варшаве, он верил, что наш старовер воспользуется католическим движением, чтобы узаконить раскол. <...> Он шагал семимильными сапогами через горы и моря, через годы и поколения — за восстанием в Варшаве он уже видел свою “славную и славянскую” федерацию, о которой поляки говорили не то с ужасом, не то с отвращением... он уже видел красное знамя “Земли и воли” развивающимся на Урале и Волге, на Украине и Кавказе, пожалуй на Зимнем дворце и Петропавловской крепости, — и *торопился* сгладить *как-нибудь* затруднения, затушевать противуречия [так!], не выполнить овраги — а бросить через них *чертов мост*». В действительности все происходило «с точностью наоборот»...

В Стокгольме Бакунин принялся с утроенной энергией «устраивать русские дела». Основания для этого были. С начала 1860-х годов в разных городах России действовало тайное революционное общество «Земля и воля», идейным вдохновителем которого по праву можно считать Николая

кинул берега Швеции, якобы направляясь в Англию. Но в Копенгагене под покровом ночи людей пересадили на шхуну, груженную оружием и боеприпасами, которая взяла курс на восток. Высадка началась, как только экспедиция достигла намеченной точки. Море бурлило, а спущенная на воду шлюпка с людьми дала течь и затонула вдали от берега. Вторая шлюпка перевернулась от порыва ветра. Из 32 человек 24 погибли.

Гавриловича Чернышевского (1828—1889). Землевольцы во многом ориентировались на герценовский «Колокол», а напечатанную в нем статью-воззвание Н. П. Огарева «Что нужно народу?» воспринимали как программу повседневной революционной деятельности. Огарев (с ним Бакунин сошелся особенно близко) излагал свои мысли простым, ясным языком. На вопрос, сформулированный в заголовке своей статьи, отвечал кратко и понятно: «Что нужно народу? — Очень просто, народу нужна земля да воля». Отсюда и название тайной организации. В качестве первоочередных задач выдвигались требования закрепления за крестьянами, освобожденными от крепостной зависимости, всей ранее находившейся в их пользовании земли, защита народа от чиновничьего произвола, установление подлинного народного самоуправления, сокращение наполовину армии и т. п. На мирный исход надежд было мало, а потому ставка делалась на крестьянские восстания, перерастающие в революцию. Ее итогом должно стать ниспровержение самодержавия и созыв бессловного Земского собора (Народного собрания), призванного установить в России республиканское правление.

Авторитетного руководства у тайной организации не было. Комитеты и группы, существовавшие в разных городах, зачастую действовали автономно. Требовалась серьезная и кропотливая работа по объединению разрозненных сил, включая и находившиеся за границей. При редакции «Колокола» был создан Совет «Земли и воли». Предстояло скоординировать его деятельность с организациями в России и как можно скорее создать на родине надежный и прочный руководящий центр. За эту работу с присущей ему энергией и взялся Бакунин. Прежде всего он планировал найти поддержку российского оппозиционного движения в либеральных кругах Швеции, создать здесь пропагандистскую базу (включая подпольную русскую типографию), а затем через Финляндию и притесняемых царским правительством раскольников Архангельской губернии наладить постоянную связь с ячейками в России, создав там мощное и действенное революционное ядро.

Однако сложившаяся ситуация сработала против этого, в общем-то, безупречного плана. После поражения восстания в Польше, исчерпания революционной ситуации в России, ареста или эмиграции ряда руководителей в деятельности «Земли и воли» наступил кризис, что в дальнейшем привело к самороспуску тайной организации. Бакунину пришлось на время отложить до лучших времен «северный вариант»

подготовки революции в России. К этому времени в Европу наконец-то прибыла его жена — Антония Бакунина. Сначала она появилась в Лондоне, ничего не зная о местопребывании мужа. Н. А. Тучкова-Огарева подробно описывает, как ее принимал опытный конспиратор Герцен:

«Однажды Герцен сидел за письменным столом, когда Жюль доложил ему, что его спрашивает очень молоденькая и хорошенькая особа.

— Спросите имя, Жюль, ведь я всегда вам говорю, — сказал Герцен несколько с нетерпением.

Жюль пошел и тотчас вернулся с изумленным выражением в лице.

— Eh bien, — сказал Герцен.

— M-me Bacounine! Comment, monsieur, pas possible? (Г-жа Бакунина! Неужели? — *фр.*) — говорил бессвязно Жюль, вероятно, мысленно сравнивая супругов.

Герцен слышал, что Бакунин женился в Сибири на дочери тамошнего чиновника-поляка. “Не она ли уж явилась?” — подумал Герцен. Поправя немного свой туалет, он пошел в гостиную, где увидел очень молоденькую и красивую блондинку в глубоком трауре.

— Я жена Бакунина, где он? — сказала она. — А вы — Герцен?

— Да, — отвечал он, — вашего мужа нет в Лондоне.

— Но где же он? — повторила она.

— Я не имею права вам это открыть.

— Как, жене! — сказала она обидчиво и вся вспыхнула.

— Поговоримте лучше о Бакуниных. Когда вы оставили его братьев, сестер? Как бишь называется их имение? Вы были у них в деревне — как зовут сестер и братьев?.. Я все перезабыл, перепутал...

Бакунина назвала их деревню и вообще отвечала в точности на все вопросы. Бакунины ей помогали достать паспорт и средства на долгий путь. Это был со стороны Герцена чисто экзамен, сделанный ей, чтобы убедиться, что она не подосланный шпион. Наконец Герцен поверил, что она действительно жена Бакунина, и предложил ей переехать в наш дом и занять пока мою комнату. Позвав мою горничную, Герцен сказал ей, чтобы она служила Бакуниной, что было затруднительно только потому, что Бакунина не знала ни одного слова по-английски.

Но все-таки Герцен не открыл Бакуниной, где находится ее муж, что ее очень оскорбило и оставило в ее душе следы какого-то неприятного чувства против Александра Ивановича.

Когда я вернулась из Осборна, Бакунина переехала уже на ту квартиру, где жил до отъезда ее муж. Мы с ней хорошо познакомились, но она более всего сошлась с Варварой Тимофеевной Кельсиевой. Она рассказывала последней многое из своей жизни и о своем браке. “Мне гораздо более нравился один молодой доктор, — говорила она, — и, кажется, я ему тоже нравилась, но я предпочла выйти за Бакунина, потому что он герой и всегда был за Польшу. Хотя я родилась и выросла в Сибири, я люблю свое отечество, ношу траур по нем и никогда его не сниму”.

В ней было много детского, наивного, но вместе с тем и милого, искреннего. В то время мы получили от Бакунина телеграмму на мое имя такого содержания: “Наталья Алексеевна, поручаю вам мою жену, берегите ее”. Впрочем, вскоре он вызвал ее в Швецию, и мы большим обществом проводили ее на железную дорогу, отправляющуюся в Дувр.

Перед отъездом из Лондона Бакунина позвала нас всех обедать и угощала польскими кушаньями, очень вкусными и которым особенно радовались наши друзья-поляки, Чернецкий и Тхоржевский. Последний был большой поклонник женской красоты, и если бы обед был и плох, да хозяйка красива, он все-таки был бы в восторге».

После долгой разлуки супруги встретились в Стокгольме. Задолго до этого в качестве постоянного места жительства они избрали Италию. Однако решили ехать туда через Париж...

* * *

Антося пришла в неописуемый восторг от суеты и мишурь парижской жизни (впрочем, как и от других европейских городов, через которые им пришлось проезжать). 5 января 1864 года в письме к невестке Наталье она писала: «А в Париже я так завертелась в новом для меня мире, что даже маменьке долго не писала. Бегала с добрыми людьми, которые мне показывали Париж, с утра до вечера, то по музеям, то по церквям. <...> Была несколько раз в театре, и была в восхищении. Не смейся, пожалуйста, над моей пустой жизнью, ведь это только на первую пору, и мне как сибирячке, ничего не знавшей и не видевшей, более другой простительно, не правда ли, Наташа?»

В Париже Бакунин в последний раз встретился с Прудон — старым друзьям и единомышленникам было что вспомнить и о чем поговорить. К Прудону Михаил Александрович по-прежнему испытывал уважение, но не идеализировал его. «Несмотря на все усилия стряхнуть с себя тради-

ции классического индивидуализма, — писал он, — Прудон оставался всю свою жизнь неисправимым идеалистом, который, как я говорил ему за два месяца до его смерти, вдохновлялся то Библией, то римским правом и всегда оставался метафизиком до кончиков ногтей. Его величайшим несчастьем было, что он никогда не занимался естественными науками и не усвоил себе их методов. У него был гениальный инстинкт, часто предсказывавший ему правильный путь, но, увлекаемый дурными или идеалистическими привычками своего ума, он постоянно впадал в старое заблуждение, вследствие чего превратился в ходячее противоречие — мощный гений, революционный мыслитель, вечно возившийся с призраками идеализма и никогда не имевший сил победить их».

Бакунин, однако, хотел как можно скорей попасть в Италию. Но сначала он побывал в Лозанне, где состоялась его последняя встреча с Н. Н. Муравьевым-Амурским. За три года, прошедших с их последней встречи, в обоих произошли разительные перемены. По существу, встретились два совершенно разных человека — государственный Муравьев и антигосударственный Бакунин. Диаметрально противоположные идейные платформы не помешали им проговорить целую ночь. Поутру они расстались навсегда, как выразился Михаил, — «не то чтобы грубо, но с окончательным выражением разрыва».

Свои надежды Бакунин связывал теперь с Италией: по его мнению, именно эта страна, где постоянно давали знать о себе бурные объединительные процессы, могла послужить примером и катализатором революции в Европе и России. Символом свободы и неисчерпаемой революционной энергии здесь по-прежнему оставался Джузеппе Гарибальди (1807—1882). После незаживающего ранения в бедро, полученного во время похода на Рим, находясь в очередной опале, по существу, изолированный от итальянского общества, он проживал в окружении близких друзей и сподвижников на приобретенном в личную собственность острове Капрера близ Сардинии — месте паломничества его почитателей со всего мира. Здесь его в последней декаде января 1864 года и навещил Бакунин с женой. Рассказ Михаила об этом визите (письмо к графине Е. В. Салиас*) стоит того, чтобы при-

* *Елизавета Васильевна Салиас*, урожденная Сухово-Кобылина (1815—1892) — родная сестра прославленного драматурга, возлюбленная Н. П. Огарева, познакомившего с ней Бакунина; писательница, публиковавшая свои произведения под псевдонимом Евгения Тур. Была замужем за французским графом Андре Салиас-де-Турнемир, с которым вскоре разошлась; мать русского романиста графа Е. А. Салиаса.

вести его полностью (или почти полностью, так как некоторые слова и обороты при публикации оказались непечатными из-за их неразборчивости):

«Гарибальди принял нас дружески и произвел на нас обоим глубокое впечатление. Он совсем выздоровел и, хотя немного прихрамывает, силен, как лев, и на ногах с утра до ночи. Он сам работает в своем саду, который, хотя и не великолепен, но чрезвычайно интересен, потому что весь посеян его рукою на скале и между скалами. Вид грустный и великолепный. Тут один белый каменный дом, громко называемый [дворцом Гарибальди], [еще] один маленький железный, третий, еще меньше, деревянный. В саду у него всё южные деревья и растения — апельсиновые, лимонные, оливковые, миндальные, виноград, фиговые... <...> и много цветов; цвели, впрочем, только миндальные деревья да прелестная белая роза. На Капрере русское лето. Мы пробыли там три дня, и все дни были прекрасные, вечером и ночью даже тепло.

При Гарибальди нашли мы одного молодого политического секретаря [Гуерзони]... <...> военного и морского [Бассо], американского товарища [Гарибальди], его двух сыновей — [Менотти] и [Риччиоти] да несколько гарибальдийцев, военных и моряков, всего человек двенадцать. Здесь совершенная демократическая и социальная республика. Собственности здесь не знают: всё принадлежит всем. Туалетов также не знают: все ходят в куртках из толстого сукна, с открытыми шеями, с красными рубашками и голыми руками; все черны от солнца, все дружно работают. <...> [Некоторые] лежат на скале в живописных позах, толкуют о политике, о прошедших и предстоящих походах или поют. Вообще это маленькое скопище здоровых, сильных и славных молодых людей на Капрере, из которых каждый ознаменовал себя каким-нибудь особенным подвигом храбрости, напомидало мне первые страницы из байроновского “Корсара”.

Но посреди них Гарибальди, величественный, спокойный, кротко улыбающийся, один вымытый и один белый в этой черной и, пожалуй, несколько неряшливой толпе и с глубокою, хотя и ясною меланхолиею во всем выражении, производит невыразимое впечатление. Он бесконечно добр, и доброта его простирается не только на людей, но на все создания. Он любит своих двух волов, своих коров, своих телят, своих баранов, — и все его знают, и лишь только он появится, все тянутся к нему, и каждого он погладит и каждому скажет доброе слово. Мне рассказывали, что раз он встретил ягненка, заблудившегося и ищущего свою мать; он

взял его на руки и в продолжение 4 часов искал его мать по скалам и, не найдя ее, принес ягненка к себе, постлал ему сена подле своей кровати, велел принести молока и губку и пролежал целую ночь с опущенною рукою и губкою, из которой ягненок сосал. На другой же день рано встал и проходил с ягненком на руках часа два или три, пока не встретил мать.

Точно так же одному молодому человеку, ломавшему су-чья без нужды, он сказал: “Зачем вы это делаете? Надо уважать всё живое”. Религия его та же, что и ваша, он верит в Бога и в историческую судьбу человека. “Далее, — говорит он, — я ничего не знаю”. Я Вам сказал, что заметна в нем глубокая, затаенная грусть. Такова, должно быть, была грусть Христа, когда он сказал: “Жатва зрела, а жателей [так!] мало”. Такова грусть нашего созревшего человека, всю жизнь посвятившего освобождению и очеловечению человечества. Так-то, но даже самые великие и самые счастливые люди не достигают своей цели. А все-таки надо стремиться и тянуть мир за собой вперед.

После одного долгого разговора Гарибальди мне сказал: “За последнее время мне жизнь надоела; я охотно расстался бы с нею, но я хотел бы умереть с пользою для моего Отечества и для свободы всех народов. Я собирался поехать в Польшу, но поляки просили мне передать, что я буду там бесполезен, а мой переезд принесет больше вреда, чем пользы, поэтому я воздержался. Впрочем, я и сам полагаю, что здесь я буду для них полезнее, чем там. Если мы сделаем что-нибудь в Италии, то это будет выгодно и для Польши, которая ныне, как и всегда, пользуется всем моим сочувствием”.

Он, ясно, со всей партией движения, готовится к весеннему делу. В чем будет состоять это дело, еще трудно сказать. Препятствий тьма. Война или, что еще лучше было бы, революция в Германии могут страшно подвинуть нас всех. Но об этом в следующем письме, которое напишу после Вашего ответа на это и на предыдущее. Теперь возвращусь к Гарибальди. Он был чрезвычайно мил и любезен с женою к немалому огорчению пьющей и красноносой англичанки (поклонницы генерала. — *В. Д.*). Провожая нас, он посадил ее [Антосю Бакунину] на лодочку, сам греб, а она длинною палкою таскала морских ежей...»

О чем еще беседовали с глазу на глаз Гарибальди и Бакунин, история умалчивает. Однако нетрудно предположить, что речь шла в том числе (если не в первую очередь) о вероятном разгроме Австро-Венгерской империи и освобож-

дении находившихся под ее игом славянских народов — идея сия никогда не оставляла Бакунина. Еще в Сибири он пришел к выводу, что итальянцы — естественные союзники славян в борьбе против австрийского полицейского государства. Не получилось поднять славян с помощью Чехии, не удалось с помощью Польши — почему бы не попробовать с юга — в Италии — ударить в подбрюшье лоскутной Австро-Венгерской империи? Здесь иноземных захватчиков ненавидели так же люто, как и на поработанных славянских территориях. За год до этого он писал чешскому корреспонденту: «Час освобождения славян близок. Все славяне должны приготовиться. Кто знает, откуда придет гроза? Из Франции, Польши или самой Австрии? Или из России? Но мы должны быть готовы встретить ее и воспользоваться ею. Мы должны понять друг друга, устроиться. Мы должны покрыть славянских братьев сетью тайных обществ. А эти тайные общества должны вмещать в себя все живое, развитое, энергичное и все, что чувствует, думает и желает чисто по-славянски. После должно все эти тайные общества соединить воедино, привести в движение *в одно время с движением в Италии, Польше и России*» (выделено мной. — В. Д.).

Обстановка благоприятствовала как никогда. Объединение Италии было не за горами — стоило только взять Рим. Одним из последних препятствий на этом пути оставалась бы Австро-Венгрия, оккупировавшая Венецию. Кому как не Гарибальди возглавить поход на север? Он был готов начать его хоть сейчас, несмотря на незажившую рану. Остальное — дело времени, разумеется, после предварительной и широкомасштабной агитационной работы, вот ее-то Бакунин брал на себя. К тому же и подходящие структуры уже имелись...

Гарибальди был не только любимым героем итальянского народа и демократической общественности всего мира. (Итальянцы называли его не просто героем, а своим «идолом», олицетворявшим единство страны). Он входил также в руководство ряда влиятельных и хорошо законспирированных масонских лож, оказывавших гарибальдийскому движению существенную организационную и материальную помощь. Поначалу Бакунин относился к масонам серьезно, не без оснований считая, что созданные ими структуры можно вполне переориентировать на подготовку революции. Опыт такой давно всем хорошо известен: французская революция XVIII века, война за независимость в Америке, движение карбонариев, отнюдь не ограничивавшееся одной лишь Италией. (Дальнейшие события, например Февральская ре-

волюция 1917 года в России, вполне подтвердили интуитивные предположения Бакунина.)

Но чтобы использовать масонские организации в своих целях, надо было стать членом хотя бы одной из их тайных лож и пройти необходимые степени посвящения. Во имя дела революции Бакунин был готов на всё. Поселившись с Антосей во Флоренции, он, благодаря рскомендательному письму, полученному от Гарибальди, вскоре сблизился с одной из таких структур. Его прямым наставником и неформальным другом стал гроссмейстер местной масонской ложи Джузеппе Дольфи, состоятельный владелец макаронной лавки, все деньги которого уходили на объединение Италии и поддержку революционеров любой национальности. Несмотря на исключительно мирную профессию и добродушный нрав, Дольфи, когда нужно, мог проявить железную волю и настойчивость, с ним и стоящими за его спиной конспирантами считались флорентийские власти.

Бакунин быстро стал душой флорентийского общества. Темпераментные, говорливые, жестикулирующие итальянцы конечно же нравились ему гораздо больше, чем чопорные, медлительные и малоразговорчивые шведы. Он вообще находил много общего между русским и итальянским народами, а в Италии чувствовал тот же родной ему *бунтарский дух*, что и в России. С кем угодно он быстро находил общий язык и незамедлительно вызывал ответную симпатию. Гроссмейстер Дольфи души в нем не чаял. Когда друг Микаэло навещал довольно-таки скромное жилище своего патрона Дольфи, такого же необъятного, рослого и громогласного, и на столе появлялась пузатая бутылка виноградного вина, в комнате больше не оставалось места для других гостей. Когда они вместе под руку шествовали по флорентийским улицам, прохожие шептали друг другу: «Идет живая баррикада».

Однако постепенно Михаил стал разочаровываться в масонах, разглядев в них буржуазную по своей сущности структуру. Именно это не в последнюю очередь препятствовало превращению гарибальдийского движения в революционную силу, способную не только объединить Италию (в чем была, естественно, заинтересована национальная буржуазия), но и провести экономические и политические преобразования в интересах народных масс. Вот почему Бакунин достаточно быстро переориентировался на другие слои и политические структуры, а о своих недавних друзьях-масонах написал: «В то время буржуазия тоже создала всемирную, могучую международную ассоциацию — *Франк-Масон*

ство. Очень ошибся бы тот, кто судил бы о Франк-Масонстве прошлого века, или даже начала этого века, по тому, чем оно является теперь. Учреждение по преимуществу буржуазное, Франк-Масонство, в своем растущем могуществе сначала и потом в своем упадке, было как бы выражением интеллектуального и морального развития, могущества и упадка буржуазии. В настоящее время, спустившись до печальной роли старой интриганки и болтуни, оно ничтожно, бесполезно, иногда вредно и всегда смешно, между тем как до 1830, и в особенности до 1793 года, оно соединяло в себе, за малым числом исключений, все выдающиеся умы, самые пылкие сердца, самые гордые воли, самые смелые характеры и представляло собой деятельную, могучую и истинно полезную организацию. Это было мощное воплощение и осуществление на практике гуманитарных идей XVIII века. Все великие принципы свободы, равенства, братства, человеческого разума и справедливости, выработанные теоретически философией этого века, сделались в среде Франк-Масонства практическими догматами и как бы основами новой морали и новой политики — душой гигантского предприятия разрушения и воссоздания. Франк-Масонство было в то время ни более ни менее, как всемирным заговором революционной буржуазии против феодальной, монархической и божеской тирании. Это был *Интернационал буржуазии*. Тем более сказанное относилось к современной эпохе...

* * *

С виду Михаил Александрович с Антосей вели ничем не примечательную жизнь флорентийских обывателей. «Живем мы тихо. Работаем мало, — писал Бакунин графине Салиас. — Я каждую неделю посылаю по два мелких листа в Стокгольм и зарабатываю таким образом 100 франков, а иногда и более в неделю. Антося принялась серьезно учиться. Иногда ходим в театр и редко вечером посещаем знакомых. <...> Одним словом, читаем, учимся, пишем, иногда болтаем и проводим время тихо, невинно, но довольно приятно».

Однако идиллическим описанное житье-бытье было только с виду. Географ и социолог Лев Ильич Мечников (1838—1888) посетивший Бакунина во Флоренции в 1864 году, впоследствии вспоминал: «Очень скоро вокруг него составилась целый штаб из отставных гарибальдийских волонтеров, из адвокатов, мало занятых судейской практикой, из самых разношерстных лиц, без речей, без дела, часто даже без убеждений, — лиц, заменяющих всё: и общественное по-

ложение, и дела, и убеждения одними только, не совсем понятными им самим, но очень радикальными вожделениями и стремлениями».

Жена Бакунина Антося показалась Мечникову гораздо моложе и без того не слишком великих лет. Она, скорее, годилась супругу в дочери, чем в жены (запоминались также ее холодные стальные глаза). Впрочем, по мнению гостя, супружеская чета не производила несуразного впечатления, а напомнила ему возвышенные стихи Пушкина о Мазепе и его юной крестнице, ставшей женой гетмана. О самом же Бакунине Л. И. Мечников написал: «Его львиная наружность, его живой и умный разговор без рисовки и всякой ходульности сразу дали, так сказать, плоть и кровь тому несколько отвлеченному сочувствию и той принципиальной преданности, с которыми я заранее относился к нему. <...> На челе Бакунина не было живописных и поэтических рубцов, но оно было своеобразно и осмысленно красиво, наперекор всем правилам классической и селадонской (здесь — «пасторальной». — *В. Д.*) эстетике. Все знали очень хорошо те тяжелые и большие раны, которые он успел понести в своей долгой и непреклонной борьбе. Сам он никогда не выставлял их напоказ; но тем не менее — или, может быть, именно поэтому — вокруг него и была привлекательная атмосфера мученичества, выносимого со своеобразной удалью и мощью. Над его картинною и широкою головою замечался ореол бойца, никогда не помышлявшего о сдаче».

Мечников не был посвящен в конспиративные дела Бакунина и его окружения (да они его и не интересовали). Не подозревал случайный гость из России и о колоссальной теоретической и организационной работе, проводимой в стенах неприметного флорентийского домика. Другим гостям из России запомнился совершенно иной Бакунин. Во Флоренции в ту пору проживал художник Николай Николаевич Ге (1831—1894), заканчивавший работу над картиной «Тайная вечеря» (ей предстояло произвести настоящий фурор в России). При знакомстве же с Бакуниным он был поначалу ошарашен полушутливым заявлением: «А мы уже распределили между нами деньги за вашу картину», но быстро нашелся и ответил: «Жаль только, что денег нет, я еще не получил, да и получу, вероятно, не так скоро...»

Между «глашатаем свободы» и художником завязались (как тот сам напишет в своих мемуарах) добрые и даже сердечные отношения. Николай Ге написал кистью и нарисовал карандашом несколько портретов Бакунина. (Не менее

известен портрет Герцена кисти Николая Ге.) Но сохранился также и словесный портрет Бакунина: «<...> Он производил впечатление большого корабля без мачт, без руля, двигавшегося по ветру, не зная, куда и зачем». Тоже в общем-то далеко от истины, ибо уж кто-кто, а Бакунин совершенно точно знал «куда и зачем». Зато зоркий глаз художника подмечал любопытные детали во внешности Бакунина: «Громадный, толстый человек с курчавой черной головой, крупные части лица его похожи очень на дядю, известного Муравьева-Виленского; с отдышкой, с аппетитом невообразимым, наделавшим целую кучу анекдотов. Такова его внешность. Обращение Бакунина с окружающими — полунасмешливое, полупрезрительное...» Некоторые современники сравнивали Бакунина с Петром Великим. Другие находили у него татарский разрез глаз, что особенно заметно на поздних photographиях. Разрез этот, однако, не татарский (тюркский), а угро-финский, доставшийся ему от венгерских предков. Про Антосю же Николай Ге напишет — «молодая, чрезвычайно красивая полька». Кроме того, окружающие безо всякой задней мысли сравнивали Бакунина и его супругу со слоном и пони на цирковой арене.

В конце 1864 года к Михаилу во Флоренцию приехал брат Павел с женой Натальей. Они рассказали подробности недавней кончины матери — Варвары Александровны. Почти все свободное время обе семьи проводили вместе: гуляли по городу, осматривали достопримечательности, посещали музеи... На лето они поехали к морю, в Сорренто, где вели совершенно беззаботную жизнь, какую обычно ведут отдыхающие.

Наталья — замечательная художница, сделала множество рисунков, где изображены Михаил с Антосей и она сама с мужем. За несколько месяцев набралось два альбома, которые теперь вместе с другими бакунинскими реликвиями (включая и остатки библиотеки) хранятся в Тверском государственном объединенном историко-архитектурном и литературном музее. Манера рисования Натальи Бакуниной весьма своеобразна: лица родных и друзей она обозначала только контурами, а себя изображала с низко надвинутой на лоб шляпой или опущенной головой.

Разговоры — чего бы они ни касались — постоянно сводились к Прямухину, где Наталья давно стала хозяйкой. Мечтательного Павла хозяйственные дела занимали мало. Михаила же интересовали мельчайшие подробности, касающиеся родового гнезда. Вскоре после отъезда брата и невестки в Россию Михаил Бакунин написал им письмо:

«Потекла наша правильная жизнь, и мы оба ею довольны. Я серьезно принялся за работу. Поутру пишу письмо к Герцену, вечером мемуары. Милая Антося с своей стороны серьезно принялась за хозяйство, покупает, распоряжается и пишет счета. Вчера после обеда варила варенье. Жизнь наша идет по часам; я встаю в 6—7 часов, обливаюсь и отправляюсь гулять, захожу к сеньоре Розалии и покупаю фруктов на 6—10 су — вишни, маленькие грушки для Антоси и фиги, последние еще дороги, за 6 штук 5 су, с тех пор, как ты, Наташа, уехала, апельсины пошли в отставку. Антося встает в 8—9 часов и отправляется купаться, а я, возвратившись (неразборчиво), пью кофе и читаю *Vukle* на террасе. Товариществует мне Тека (собака. — *В. Д.*). Кстати, мы ее всю коротко остригли, чуть-чуть не выбрили. Остались усы да шерсть на бровях да на хвосту. Таким образом мы и ее и себя избавили от миллиарда блох. Но зато она сделалась такая голенькая, что Антося на нее смотреть не может. Вчера Женнерио выкупал ее в море и вычесал всю жесткой щеткой. Ну вот, напившись кофе и прочитав несколько страниц *Бокля*, под синим итальянским небом, закусывая блестящие мысли его... (конец страницы письма оторван; продолжение на другой странице): обед нам стоит 2 f. 20 с. или 2 f. 40 с. После обеда иду в *café*, сейчас является святой маленький Митрофан и смотрит в глаза и спешит перед другими пожать мне руку, публики, впрочем, немного — ты выбрал самое демократическое *café*, — публика не приходит, а только народ. Потом иду спать — в 5.30 иду купаться, и после купанья иду с Антосею гулять. До сих пор еще знакомых нет, ни *Czicarelli* ни *Giordano* не являлись. В отчаянии я написал *Misse Reeve*, прося ее доставить нам рекомендательное письмо к какому-нибудь иностранному или даже неаполитанскому семейству, проживающему в *Sorrento*, авось познакомимся с кем-нибудь. Мне будет приятно, а для Антоси необходимо. Она у меня сделалась такая добрая, такая милая — надо же ее потешить. Вечером, наконец, на террасе пьем чай, а потом она читает романы, а я пишу мемуары, ложимся в 11—12 часов. Вот Вам вся наша жизнь, милые друзья».

Аналогичные послания писала прямухинским родственникам в Россию и Антося: «Милая Наташа! Получила твое седьмое и восьмое письмо — и, к стыду моему, признаться должна, пишу только третье. Впредь буду аккуратнее. 5 октября, по-вашему 23 сентября, мы переехали в Неаполь. Поселились на самом краю города... но зато на прекрасном месте, с воздухом чистым. Как в деревне, что в настоящее время — а холера разыгрывается здесь не на шутку, — вещь

чрезвычайно важная. К тому ж омнибусы проезжают почти мимо нас, за 15 сант[имов] везут в центр города, и я ими пользуюсь нередко. За три удобные и довольно красивые комнаты во втором этаже мы платим не более 85 франк[ов] в месяц, девушке платим 20 франк[ов] в месяц; обед нам стоит обоим вместе 3 франка в день, да положи по 2 франка в день на завтрак, вечерний чай и освещение, и тогда будешь иметь понятие о наших самых главных издержках. Несмотря на холеру, начинающую хозяйничать в Неаполе, мы здесь не скучаем и не робеем и благодаря знакомой даме, предлагающей нам нередко свою ложу, ездим довольно часто в театр. Знакомых у нас не слишком много, не слишком мало, но, несмотря на них, мы живем почти так же уединенно, как в Сорренто. Нельзя сказать, чтобы слишком весело, но и не скучно. Michel работает, а я читаю да шью...»

О двухлетнем пребывании Бакунина с женой в Неаполе рассказал в своих «Революционных воспоминаниях» русский ученый и философ-позитивист Григорий Николаевич Вырубов (1843—1913). Он не разделял никаких социалистических или анархистских идей, но очень интересовался личностью, как он сам выражался, «легендарного героя»: «У меня было к Бакунину рекомендательное письмо от Герцена и Огарева, с которым он был особенно дружен; но оказалось, что я мог бы легко обойтись без них. Он принимал с распростертыми объятиями людей молодых, средних лет и старых, умных и глупых, ученых и невежд, граждан всех стран, всяких профессий и убеждений, лишь бы они соглашались слушать его революционную проповедь, которую он умел вести весьма искусно на различных языках.

Жил он на конце города, в возвышенной местности. Из окон его просторной квартиры вид был очаровательный: виден был весь Неаполь, под разными названиями непрерывной узкой лентой окаймлявший залив, в глубине которого выделялся своей конусообразной формой величавый Везувий. Но, несмотря на то, что он редко выходил из дому, он в окно не смотрел; ему не были доступны прелести природы, да и времени у него на то не хватало — он целый день поучал кого-нибудь или писал длинные письма во все страны мира. Зато, сидя с утра до ночи на своем балконе, любовалась и восторгалась пейзажем его жена, на четверть века его моложе, тихая мечтательная Антонина. <...>

Личность Бакунина и в физическом, и в нравственном отношении поражала своими размерами. Фигура его огромная по всем трем измерениям, с курчавой головой, напоминала изображение Бога Саваофа в куполах церквей. Ел он

без разбора, что попало — невероятное количество. Чай, холодный и горячий, пил он целый день, папирос выкуривал несчетное число. При таком режиме, в особенности после долгого сидения в тюрьмах, простой смертный извел бы себя в несколько лет, а он ничего себе, прожил без особых затруднений до 62 лет. С другой стороны, его несокрушимая, железная воля, его до наивности доходившая доброта, его политические программы и боевые предприятия, его достоинства и недостатки — все это было необычно и чрезмерно. С такими качествами он, казалось бы, был создан для плодотворной деятельности, а между тем он всю жизнь провел в роли Сизифа, постоянно приготавливая политические и социальные революции, которые не менее постоянно не удавались и всякий раз падали на его плечи. Как в детских сказках, благодетельные волшебницы, щедро одарив его самыми разнообразными достоинствами, забыли дать ему чувство действительности.

Он жил в каком-то чаду, в какой-то искусственной, им самим созданной атмосфере, в которой обыкновенным людям нельзя было дышать. <...> Особенно удивляло меня и нравилось мне его необыкновенное добродушие, отсутствие всякого злопамятства; о перенесенных страшных невзгодах он говорил бесстрастно, как будто дело шло не о нем самом, а о человеке ему вовсе незнакомом. Такая объективность возможна только в исключительно стойких натурах. <...>».

Возможно, родные и большинство из окружавших Бакунина случайных (и даже неслучайных) людей даже не подозревали, что за внешним безмятежным настроением скрывается титаническая теоретическая работа. В это время он трудился над заказанной масонскими друзьями программой «Международного тайного общества освобождения человечества» (иначе — «Интернационального братства»). По существу, ему представилась возможность изложить на бумаге свое понимание социальной проблематики, революционного переустройства общества и создания справедливого строя гармонических отношений между людьми.

Каким же оно должно быть, *идеальное общественное устройство*? Есть ли вообще критерий, позволяющий определить степень развитости социальных структур всех уровней? Есть! Разумеется, есть! Это — *свобода*! «Целью данного общества, — писал Бакунин, — является объединение революционных элементов всех стран для создания подлинного Священного Союза *свободы*, против священного союза всех тираний в Европе: религиозных, политических, бюрократических и финансовых. <...> Дело идет не о том, чтобы уменьшить сво-

боду, необходимо, напротив, все время ее увеличивать, так как чем больше *свободы* у всех людей, составляющих общество, тем больше это общество приобретает человеческую сущность» (выделено мной — здесь и далее. — В. Д.).

Абсолютная свобода как раз и будет означать полное равенство. Ведь в идеальном обществе не может быть так, чтобы у одних было больше свободы, а у других меньше. «Я могу быть *свободным* только среди людей, пользующихся одинаковой со мной *свободой*, — отмечал Бакунин. — Утверждение моего права за счет другого, менее *свободного*, чем я, может и должно внушить мне сознание моей привилегии, а не сознание моей *свободы*. <...> Но ничто так не противоречит *свободе*, как привилегия. <...> *Полная свобода каждого возможна при действительном равенстве всех. Осуществление свободы в равенстве — это и есть справедливость*».

Безусловно, он понимал, что свобода не есть независимость человека от законов природы и общества; свобода — это прежде всего способность человека к постепенному освобождению от гнета внешнего физического мира при помощи науки и рационального труда; свобода, наконец, это право человека располагать самим собою и действовать сообразно своим собственным взглядам и убеждениям, — право, противопоставляемое деспотическим и властническим (как он выражался) притязаниям со стороны другого человека, или группы, или класса людей, или общества в его целом. Кроме того, личная свобода каждого человека становится действительной и возможной только благодаря коллективной свободе общества, частью которого человек является в силу естественных и непреложных законов. Но существовало ли в истории хотя бы однажды общественное устройство, отвечавшее сформулированным требованиям? Нет! Были попытки, но они не увенчались успехом именно потому, что понятие — СВОБОДА — оказалось в конечном счете отодвинутым на задний план.

Обширная программа «Интернационального братства», совмещенная с уставными требованиями, начинается с отрицания Бога. Вообще-то такой зачин был явным стратегическим и тактическим просчетом. Ибо *атеизм* менее всего подходил заказчикам — итальянским масонам или (что, в общем-то, одно и то же) карбонариям, в подавляющем числе своем бывшими глубоко верующими людьми. В продолжение уже сказанного он писал:

«Почитание человечества должно заменить культ божества. Человеческий разум признается единственным критери-

ем истины, человеческая совесть — основой справедливости, индивидуальная и коллективная свобода — источником и единственной основой порядка в человечестве. <...> Безусловное исключение принципа авторитета и государственного интереса. Свобода должна являться единственным устроющим началом всей социальной организации, как политической, так и экономической. Общественный порядок должен быть совокупным результатом развития всех местных, коллективных и индивидуальных свобод. Следовательно, вся политическая и экономическая организация в целом не должна, как в наши дни, исходить сверху вниз, от центра к периферии, по принципу единства, а снизу вверх, от периферии к центру, по принципу свободного объединения и федерации.<...> Абсолютная свобода каждого индивида, признание политических прав лишь за теми, кто живут собственным трудом, при условии, что они уважают свободу других. Всеобщее право голоса, безграничная свобода печати, пропаганды, слова и собраний (как для частных, так и для общественных собраний). Абсолютная свобода союзов, причем, однако, юридическое признание дается лишь тем из них, которые по своим целям и внутренней организации не стоят в противоречии с основными началами общества».

Затем подробнейшим образом расписывается будущая федералистская организация общества, основанная на коллективизме и взаимопомощи. Эта сторона учения Бакунина будет более подробно рассмотрена ниже. Сейчас же обратим внимание на социальное устройство обществ будущего, как оно представлялось теоретику федерализма. Интеллигентный и свободный труд, основа человеческого достоинства и всех политических прав. Земля и недра — собственность народа. Равенство мужчины и женщины во всех политических и социальных правах. Упразднение семьи, основанной на гражданском праве и имуществе. Свободный брак. Дети не принадлежат ни родителям, ни обществу. Верховная опека над детьми, их воспитание и обучение осуществляется обществом. Школа заменит церковь. Ее задача — создать свободного человека. Уничтожение института тюрем и палача. Уважение к старикам, неспособным к труду и больным, и забота о них.

Далее Бакунин рисует картину будущей революции. Она начнется с разрушения всех организаций и учреждений: церквей, парламентов, судов, административных органов, армий, банков, университетов и пр., составляющих жизненный элемент самого государства. Государство должно быть разрушено до основания и объявлено банкротом не только

в отношении финансовом, но и политическом, бюрократическом, военном, судебном и полицейском отношении. А после того, как государство окажется банкротом и даже перестанет существовать и не будет иметь возможности уплачивать своих долгов, оно уже никого не может принуждать платить свои долги, и это, естественно, станет делом совести каждого отдельного лица. Одновременно в общинах и городах проводится конфискация в пользу революции всего того, что принадлежало государству; конфискуется также имущество всех реакционеров и предаются огню все судебные дела и имущественные и долговые документы, а всю бумажную гражданскую, уголовную, судебную и официальную труху, которую не удастся истребить, объявят потерявшей силу. Таким образом завершится социальная революция, и, после того как ее враги будут лишены раз навсегда всех средств вредить ей, уже не будет никакой надобности чинить над ними кровавой расправы, которая уже потому нежелательна, что она рано или поздно вызывает неизбежную реакцию.

Тотчас после низвержения предрержащей власти общины должны приступить к своей революционной реорганизации, избрать себе вождей, создать администрацию и революционные суды, которые все должны покоиться на началах всеобщей подачи голосов и действительной ответственности должностных лиц перед народом. В то же самое время для защиты революции из добровольцев формируется коммунальная милиция. Однако никакая община не будет в состоянии защищаться, если она будет оставаться изолированной. Поэтому каждой общине необходимо распространять революцию и за свои пределы, побуждать к восстанию все соседние общины и по мере того, как это движение будет распространяться, объединяться с ними для взаимной обороны на федеральных началах. Общины заключают между собой федеральный договор, основанный одновременно на солидарности всех и на автономности каждой. Этот договор составит конституцию провинции. Для ведения общих дел коммун придется образовать провинциальное правительство и провинциальное собрание или парламент. Та же революционная потребность побудит автономные провинции объединиться в федеральные области, области — образовать национальную федерацию, а нации — составить интернациональные федерации. Так разрушенное единство и порядок, плод насилия и деспотизма, снова возродятся из лона самой свободы.

Конечная же цель революции, как уже отмечалось, уста-

новление *свободы* для всех личностей, коллективов, ассоциаций, общин, провинций, областей, наций и взаимная гарантия этой свободы посредством федерации. Как видим, разрушительный на первый взгляд проект общественного переустройства предполагает и *одновременное возрождение*, строительство справедливого общества, основанного на принципах равенства и справедливости, без чего невозможна и подлинная свобода.

Важнейшим разделом этого документа является регламентация жизни, деятельности и поведения «интернациональных братьев». По мысли Бакунина, каждый из них должен отвечать следующим требованиям: быть «правоверным», мужественным, умным, сдержанным, постоянным, твердым, решительным, беззаветно преданным, не тщеславным и не честолюбивым, интеллектуально развитым, с практической складкой; он должен, кроме того, со страстью, волей и разумением воспринять всем сердцем основные принципы катехизиса; он должен быть атеистом, должен признать, что «истина, независимая от какой-либо теологии и божественной метафизики, не имеет иного источника, кроме коллективной совести людей»; он должен быть противником авторитета и ненавидеть все проявления и последствия его в области интеллектуальной и моральной, политической, экономической и социальной: должен больше всего любить свободу и справедливость, должен понимать, что без равенства не может быть свободы; должен быть федералистом, должен признать, что каждый индивид, провинция, община, область и нация имеют право безусловно располагать собой, объединяться между собой или не объединяться, вступать в союз, с кем они захотят; он не должен быть патриотом, а если его отечество выступит против свободы и справедливости, обязан выступить против своего отечества; он должен быть социалистом, должен понять, что экономическое, социальное и политическое равенство несовместимо с правом наследования; должен иметь твердое убеждение, что так как труд является основой человеческого достоинства, то все политические и социальные права должны принадлежать одним лишь трудящимся, должен отрицать право собственности на землю и ее недра, должен признать женщину существом, равным ему во всех политических и социальных правах; должен быть искренним революционером, то есть ставить своей целью политическое и социальное освобождение трудящихся классов, то есть народа, без всякого соглашения, примирения, лживой коалиции с теми, кто по своим интересам является естественным врагом народа; он

должен видеть спасение для своей страны и для всего мира только в социальной революции; обязан вместе с тем понять, что социальная революция должна стать европейской, мировой революцией, что весь мир разделится на два лагеря, между которыми возгорится истребительная война, безостановочная и беспощадная; что социальная революция, если она разгорится хорошенько хоть в одном месте, найдет во всех странах союзников, что эти союзники уже имеются налицо теперь, что элементы социальной революции уже широко распространены почти во всех странах Европы «и что для того, чтобы создать из них действенную силу, необходимо только согласовать и сконцентрировать их», и вот это именно и является целью серьезных революционеров всех стран, которые должны образовать одновременно *открытую* и *тайную* ассоциацию для подготовки движения во всех странах, в которых это движение будет возможно, путем тайного соглашения наиболее интеллигентных революционеров этих стран.

Интернациональный брат должен иметь также революционную страсть, готовность жертвовать во имя революции своим покоем, благополучием, тщеславием, честолюбием, а часто и своими личными интересами. Он должен знать революционный катехизис, правила и законы и поклясться соблюдать их честно и верно. Он должен понять, что революционная ассоциация неизбежно сложится в тайное общество, а тайное общество не может существовать без *строжайшей дисциплины*, дело чести для каждого подчиняться ей. У него не должно быть никаких тайн перед интернациональным советом, в который он входит, за исключением тех, которые он должен хранить по своей должности, согласно законам тайного общества; если брат узнает о каком-нибудь факте, который угрожает обществу, «он должен, как бы противно ему ни было, сообщить о нем в открытом заседании интернационального совета, в который он входит». Главнейшей задачей брата является усиление мощи тайного общества и распространение его влияния, чтобы «подчинить свою страну безусловному водительству интернациональных властей». Интернациональный брат все свое политическое влияние, общественное, служебное положение отдает на службу обществу. Вся его деятельность вне тайного общества — служебная, общественная, коммерческая — протекает лишь с ведома и разрешения тайного общества. Вся его литературная деятельность, публичные и частные действия, его речи, писания, его взгляды: философские, политические и экономические должны быть согласованы с духом, тенденциями и

руководящими началами, установленными интернациональным советом.

Бакунин делил всех членов «Интернационального братства» на «почетных» («сочувствующих») и «активных». Для каждой категории была составлена отдельная инструкция. Для активных членов, беззаветно преданных делу и готовых за него отдать жизнь, она звучит так:

Клятвенное обещание активных интернациональных братьев

«Клянусь честью и совестью, что я с полным убеждением принял все философские, политические, экономические и социальные, теоретические и практические начала вашего революционного катехизиса. Я приемлю равным образом все постановления, правила и законы вашего руководящего регламента. Я предварительно безусловно подчиняюсь ему, оставляя при этом за собой мою обязанность и мое право оспаривать все второстепенные пункты такового, по которым я могу быть иного мнения, в предстоящем учредительном собрании, окончательное и верховное решение которого я вперед принимаю.

Я посвящаю отныне все мои силы, всю мою работу и всю мою жизнь на службу федералистической и социальной мировой революции, которая не может иметь никакой другой основы, кроме этих начал; и так как я убежден, что ничем не могу лучше послужить ей, как моим участием в открытой и тайной деятельности интернационального революционного общества, то и желаю быть принятым в вашу среду.

Клянусь быть преданным интернациональному обществу и оказывать ему безусловное послушание и обещаю ему быть усердным, осторожным, скромным, хранить молчание о всех тайнах, принести в жертву ему мое себялюбие, мое честолюбие и мои личные интересы, почему и отдаю в его распоряжение всецело и безраздельно мой ум, мою деятельность, все мои силы, всю мою власть, мое общественное положение, мое влияние, мое имущество и мою жизнь.

Я вперед подчиняюсь всем жертвам и служениям, которые оно возложит на меня; в уверенности, что оно не возложит на меня ничего такого, что шло бы в разрез с моими убеждениями и противоречило бы моему достоинству или превосходило мои личные средства. И все время, пока на мне будет лежать возложенная на меня служба или поручение, я буду безусловно подчиняться приказаниям непосредственных начальников, доверивших мне это дело, и клянусь выполнить его со всей возможной для меня быстротой, точ-

ностью, энергией и осторожностью и останавливаться только перед действительно непреодолимыми, по крайней мере на мой взгляд, препятствиями.

Я подчиняю отныне всю мою общественную и частную, литературную, политическую, бюрократическую, профессиональную и социальную деятельность верховному водительству советов этого общества.

Клянусь хранить чувства искреннего, теплого и преданного братства прежде всего ко всем моим интернациональным братьям, без различия страны, а затем и ко всем здешним или чужим подчиненным организациям, которые будут мне рекомендованы призванными на то властями. Все интернациональные братья, нравятся они мне или нет, найдут всегда у меня одинаковый прием, братскую помощь, совет, убежище, поддержку и защиту. Клянусь помогать им и, в случае опасности, защищать, даже рискуя при этом своим имуществом, своим положением, своей личностью и своей жизнью, содействовать им всеми имеющимися в моем распоряжении средствами во всех их общественных и частных делах и предприятиях и в особенности стараться продвигать тех из них, которые будут мне наиболее рекомендованы держащими властями.

Клянусь не говорить перед чужими ничего дурного о ком-либо из моих братьев, даже если он представляется мне виноватым и допустившим ошибку, — никогда не говорить о нем дурного в его отсутствие даже перед другими братьями, кроме того случая, когда я решил повторить ему все мои слова в открытом заседании нашего совета. Я буду особенно старательно избегать всего и устранять все, что может вызвать между братьями недоразумения, взаимное недовольство, споры и расхождения, и буду считать священной обязанностью всеми силами способствовать сохранению среди всех сочленов этой семьи совершеннейшей гармонии и полного взаимного доверия.

Глубоко уважая личное достоинство моих братьев и независимость их личной жизни, я никогда не позволю себе каких-либо малейших нескромных, злостных или просто неудобных изысканий в этой области. Если, однако, что-либо в их поведении покажется мне стоящим в явном противоречии с нашими Общими принципами и обязанностями, я со всей возможной деликатностью, но и с полной откровенностью скажу об этом таковому и, если мне покажется нужным, чтобы об этом знало общество, повторю это ему в открытом заседании совета, причем заявляю, что сам всегда готов выслушивать из уст моих братьев все заслуженные

мною замечания, как бы неприятны они ни были, раз только они внушены не доносительством и личной ненавистью, а исключительно преданностью интересам этого общества.

Равным образом я буду считать своим долгом сообщать моему совету и моим начальникам о всех дошедших до меня сведениях, какого бы рода они ни были, если только они касаются устойчивости, могущества и деятельности этого общества и могут что-либо выяснить ему.

Я отдаю себя на позор и вперед призываю на себя месть общества, если я когда-либо изменю этой клятве или только забуду о ней, оставляя, впрочем, за собой право потребовать у общества своей отставки, если почувствую себя утомленным».

* * *

Еще до приезда Павла с женой Михаил успел ненадолго съездить в Стокгольм и Лондон, где 3 ноября состоялась его встреча с Карлом Марксом. В первую очередь речь шла о вступлении Бакунина в Международное товарищество рабочих, более известное как Первый интернационал. Среди своих приверженцев Маркс к тому времени стал общепризнанным авторитетом в области политической экономии, философского материализма и диалектики. Автор множества блистательных теоретических работ, он постепенно набирался опыта в практической организационной деятельности, задавая тон в работе Генерального совета Интернационала.

Сам Маркс писал Энгельсу после лондонской встречи и состоявшихся переговоров: «Бакунин просит тебе кланяться. Он сегодня уехал в Италию, где проживает (Флоренция). Я вчера увидел его в первый раз после шестнадцати лет. Должен сказать, что он очень мне понравился, больше, чем прежде. По поводу польского движения он говорит следующее: русскому правительству это движение потребовалось для того, чтобы держать в спокойствии самое Россию, но оно никоим образом не рассчитывало на восемнадцатимесячную борьбу. Оно само спровоцировало эту историю в Польше. Польша потерпела неудачу из-за двух вещей: из-за влияния Бонапарта и, во-вторых, из-за того, что польская аристократия медлила с самого начала с ясным и недвусмысленным провозглашением крестьянского социализма. Он (Бакунин) теперь, после провала польского движения, будет участвовать только в социалистическом движении. В общем, это один из тех немногих людей, которые, по-мое-

му, за эти шестнадцать лет не пошли назад, а, наоборот, развились дальше».

Пройдет немного времени, и Маркс эту объективную оценку переменит на диаметрально противоположную. Бакунин же всегда считал Интернационал великой революционной организацией и не умалял выдающейся роли Маркса в обеспечении ее авторитета на международной арене, не закрывая, однако, глаза на ряд отрицательных черт характера самого основоположника марксизма. Но в 1864 году Бакунин еще не отказался от плана — попытаться вместе с итальянскими революционерами надавить на Австрию, а затем расшевелить славянские народы, стонущие под гнетом Австро-Венгерской монархии. С Марксом же говорить на тему славянской революции было совершенно бесполезно. (Впрочем, его итальянские друзья-масоны также были равнодушны к этой идее; один Гарибальди понимал русского панслависта.) Ко всему прочему ему не нравилось, что в программных и уставных документах Интернационала, с которыми ему удалось познакомиться, мало говорилось о *свободе*. Зато это священное слово замаячило в названии нового движения европейской буржуазно-демократической и социалистической интеллигенции, поименованного *Лигой мира и свободы*.

В Европе назревала большая война. В подготовку пацифистского конгресса, призванного бросить вызов военным приготовлениям Франции, Пруссии и других агрессивно настроенных государств, включились многие выдающиеся деятели — Виктор Гюго, Джузеппе Гарибальди, Луи Блан, Пьер Леру, Элизе Реклю, будущие руководители Парижской коммуны Жюль Валес и Гюстав Флуранс, немецкие философы Людвиг Бюхнер и Карл Грюн и даже патриарх английского позитивизма и либерализма Джон Стюарт Милль. Были приглашены также Герцен, Огарев и Бакунин. Первый от участия в работе конгресса отказался, последний, напротив, решил максимально использовать предоставленную возможность в интересах грядущей славянской и мировой революции. Вне всякого сомнения, ему импонировали интегративные тенденции нового движения и выдвинутый лозунг создания *Соединенных Штатов Европы* — идеи, которая только спустя столетие отчасти реализовалась в форме Европейского союза.

Конгресс открылся 9 сентября 1867 года в Женеве, вызвав большой интерес в Европе. На улицы города, украшенные, как на праздник, высыпали толпы ликующих обывателей, восторженно приветствовавших известных общественных де-

ятелей, а Джузеппе Гарибальди ждал подлинный триумф. Заседания конгресса проходили в огромном зале Избирательного дворца. Выступление почти каждого оратора вызывало шквал аплодисментов. Бакунина избрали вице-президентом конгресса, а Гарибальди — председателем. Сохранились воспоминания современников — уже упоминавшегося выше Григория Николаевича Вырубова и немецкого философа и писателя Карла Грюна (1817—1887), знавшего Бакунина еще со времен младогегельянского движения. Постоянно проживавший за границей Вырубов (и даже избранный в руководство Лиги от Франции) писал впоследствии в своих мемуарах о Бакунине:

«<...> Среди собравшейся международной демократии он очутился в своем настоящем элементе [так!]: он устраивал совещания, ораторствовал, писал проекты, программы, прокламации. Хорошо помню его чрезвычайно эффектное выступление на первом заседании конгресса. Когда он поднимался своим тяжелым, неуклюжим шагом по лесенке, ведущей на платформу, где заседало бюро, как всегда неряшливо одетый в какой-то серый балахон, из-под которого виднелась не рубашка, а фланелевая фуфайка, раздались крики: “Бакунин!” Гарибальди, занимавший председательское кресло, встал, сделал несколько шагов и бросился в его объятия. Эта торжественная встреча двух старых испытанных бойцов революции произвела необыкновенное впечатление. Несмотря на то что в огромном зале было немало противников, все встало, и восторженным рукоплесканиям не было конца. На другой день Бакунин произнес блестящую речь, которая, как всегда, имела шумный успех. Если оратором считать того, кто удовлетворяет требованиям литературно образованной публики, изящно владеет языком и в речах которого можно всегда найти начало, середину и конец, как поучал Аристотель, — Бакунин не был оратором; но он был великолепным народным трибуном, умение говорить массам постиг в совершенстве и, что всего замечательнее, говорил им одинаково убедительно на разных языках. Его величавая фигура, энергичные жесты, искренний, убежденный тон, короткие, как бы топором вырубленные фразы — все это производило сильное впечатление.

После конгресса он остался в Швейцарии, вступил в комитет, избранный для подготовки следующего собрания в Берне, и проявил в нем кипучую деятельность, стараясь забрать его в руки и направить на путь, не совсем, впрочем, ясный, какого-то анархического коллективизма. <...> Без революционной деятельности, без конспираций и боевых

организаций Бакунин не мог жить; это была его духовная пища, которую он, как и пищу материальную, потреблял в огромном количестве, работая всегда с лихорадочной поспешностью, как будто вот-вот вся Европа превратится в революционный лагерь. <...>».

Регламент Женевского конгресса был напряженным — приходилось укладываться в десять минут. Поэтому, получив слово, Бакунин спрятал в карман подготовленные тезисы и начал говорить экспромтом. Первым делом он обрушился на Российскую империю («европейского жандарма», по тогдашней революционной терминологии), «*всенепокорнейшим подданным*» которой он во всеулышание себя назвал: «Вступая на эту трибуну, я спрашиваю себя, граждане: каким образом я, русский, являюсь среди этого международного собрания, имеющего задачей заключить союз между народами? Едва четыре года прошло с тех пор, как русская империя, которой я, правда, всенепокорнейший подданный, возобновила свои преступления и убийства над героической Польшей, которую она продолжает давить и терзать, но которую, к счастью для всего человечества, для Европы, для всего славянского племени и для самих народов русских, ей не удастся убить.

Вот почему, не заботясь о том, что подумают и скажут люди, судящие с точки зрения узкого и тщеславного патриотизма, я, русский, открыто и решительно протестовал и протестую против самого существования русской империи. Этой империи я желаю всех унижений, всех поражений, в убеждении, что ее успехи, ее слава были и всегда будут прямо противоположны счастью и свободе народов русских и не русских, ее нынешних жертв и рабов. Муравьев, вешатель и пытатель не только польских, но и русских демократов, был извергом человечества, но вместе с тем самым верным, самым цельным представителем морали, целей, интересов, векового принципа русской империи, самым истинным патриотом, Сен-Жюстом и Робеспьером императорского государства, основанного на систематическом отрицании всяческого человеческого права и всякой свободы».

Открестившись публично от собственного двоюродного дяди — Муравьева-Вешателя (на которого, по мнению современников, он был внешне более всего похож), — Бакунин продолжил свои дифирамбы во имя свободы: «В положении, созданном для империи последним польским восстанием, ей остаются только два выхода: или пойти по кровавому следу Муравьева, или распасться. Середины нет, а желать цели и не желать средств — значит только обнаружить умственную и

душевную трусость. Поэтому мои соотечественники должны выбирать одно из двух: или идти путем и средствами Муравьева к усилению могущества империи, или заодно с нами откровенно желать ей разрушения. Кто желает ее величия, должен поклоняться, подражать Муравьеву и, подобно ему, отвергать, давить всякую свободу. Кто, напротив, любит свободу и желает ее, должен понять, что осуществить ее может только свободная федерация провинций и народов, то есть уничтожение империи. Иначе свобода народов, провинций и общин — пустые слова. Право федерации и отделение, то есть отступление от союза, есть абсолютное отрицание исторического права, которое мы должны отвергать, если в самом деле желаем освобождения народов.

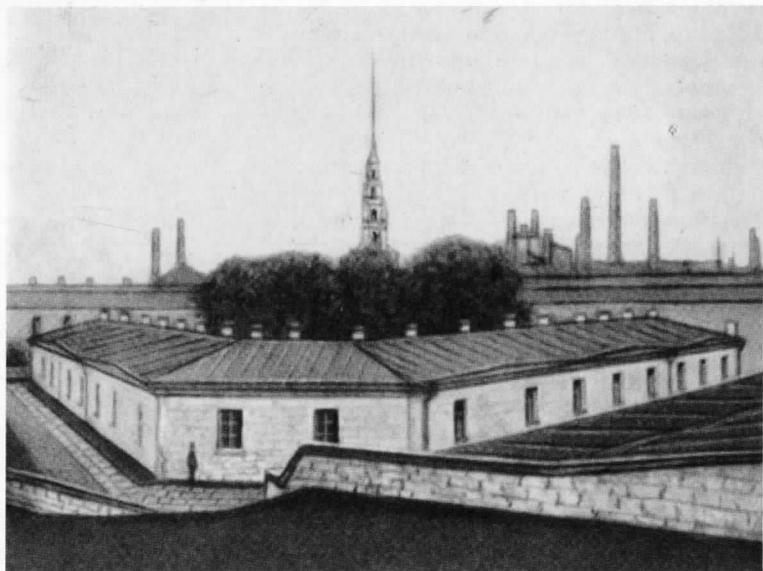
Я довожу до конца логику постановленных мной принципов. Признавая русскую армию основанием императорской власти, я открыто выражаю желание, чтоб она во всякой войне, которую предпримет империя, терпела одни поражения. Этого требует интерес самой России, и наше желание совершенно патриотично в истинном смысле слова, потому что всегда только неудачи царя несколько облегчали бремя императорского самовластия. Между империей и нами, патриотами, революционерами, людьми свободомыслящими и жаждущими справедливости, нет никакой солидарности.

То, что справедливо относительно России, должно быть также справедливо относительно Европы. Сущность религиозной, бюрократической и военной централизации везде одинакова. Она цинично груба в России; прикрыта конституционной, более или менее лживой, личиной в цивилизованных странах Запада; но принцип ее все один и тот же — насилие... Горе, горе нациям, вожди которых вернутся победоносными с полей битв! Лавры и ореолы превратятся в цепи и оковы для народов, которые вообразят себя победителями.

Эти принципы, истинные начала справедливости и свободы, должны быть непременно провозглашены именно теперь, когда недостаток принципов деморализует умы, ослабляет характеры и служит опорой всем реакциям и всем деспотизмам. Если мы в самом деле желаем мира между нациями, мы должны желать международной справедливости. Стало быть, каждый из нас должен возвыситься над узким, мелким патриотизмом, для которого своя страна — центр мира, который свое величие полагает в том, чтобы быть страшным соседям. Мы должны поставить человеческую, всемирную справедливость выше всех национальных инте-



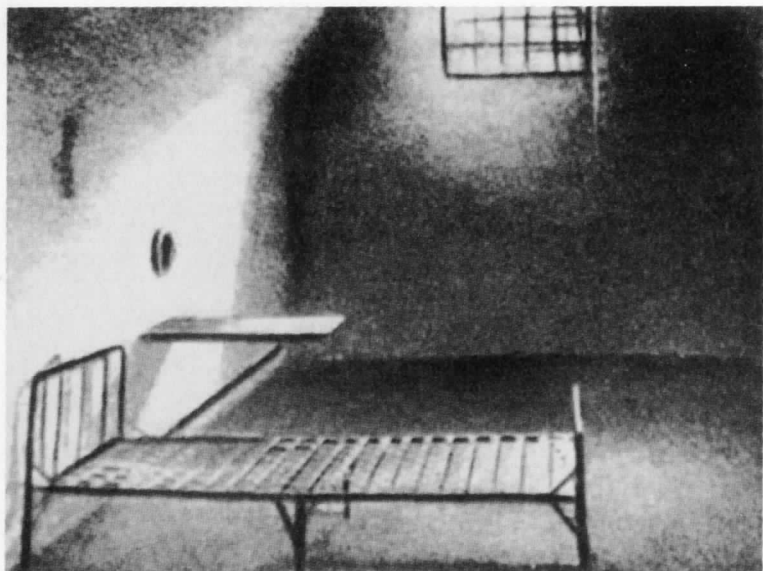
Михаил Александрович Бакунин.



Алексеевский рavelин Петропавловской крепости. Фото середины XIX в.

Шлиссельбургская крепость. Художник П. П. Свиньин. 1820-е гг.





Одиночная камера Бакунина в Шлиссельбургской крепости.

Передвижение ссыльных в Сибири.

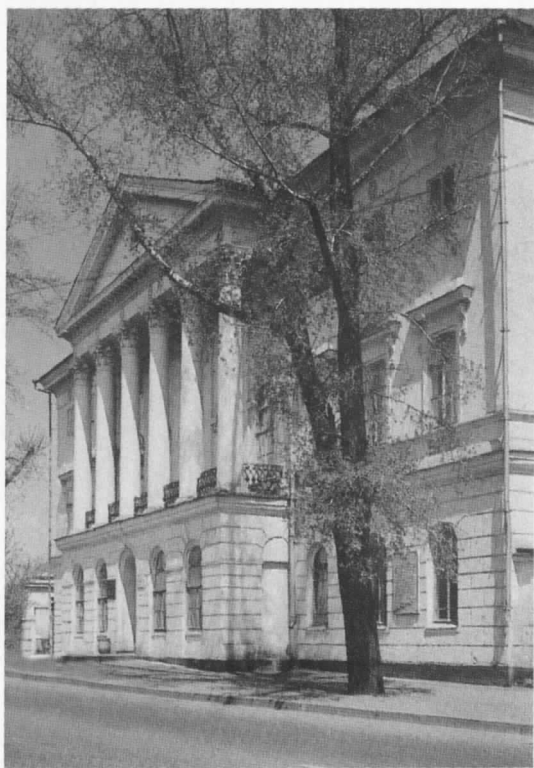




Генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н. Н. Муравьев-Амурский.
Художник К. Е. Маковский. 1863 г.



Вид города Томска
от Монастырской
рощи. *Рисунок*
середины XIX в.



Иркутск.
Бывший дворец
генерал-
губернатора.



М. А. Бакунин среди сибиряков.

Иркутск. Здание, в котором в XIX веке располагалась губернская канцелярия.





Съ мною у казначействъ сюрро — но по моему Титулу описано съ
"когда въ Иркутскъ на мѣсяцъ бѣдетъ батюшка
3^{го} Июля 1861 Иркутскъ. М. Бакунинъ

М. А. Бакунин с женой Антонией. Иркутск, 3 июня 1861 г.

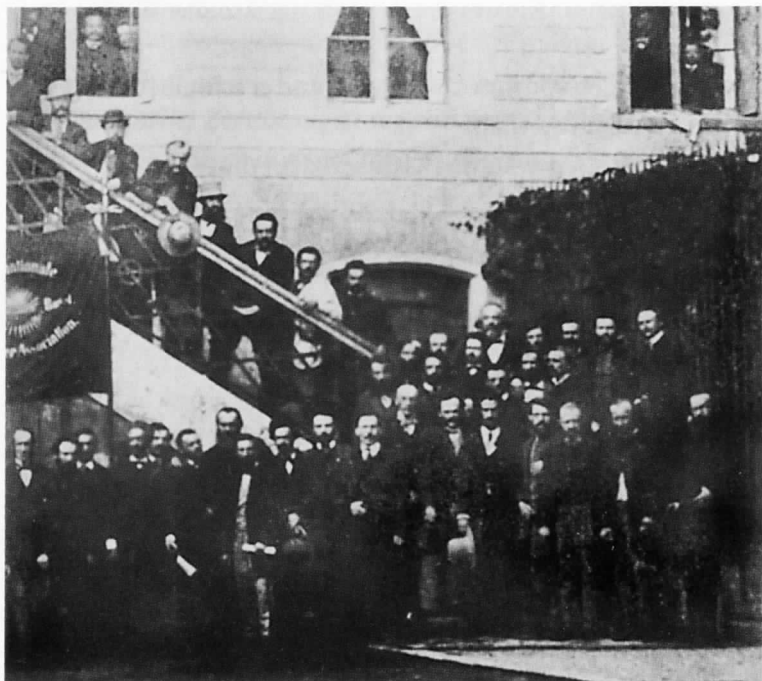


А. И. Герцен и Н. П. Огарев в Лондоне. 1860 г.

С. Г. Нечаев. *Около 1870 г.*



М. А. Бакунин среди делегатов
Бернского конгресса.





Джузеппе Гарибальди.



М. А. Бакунин.
1860-е гг.

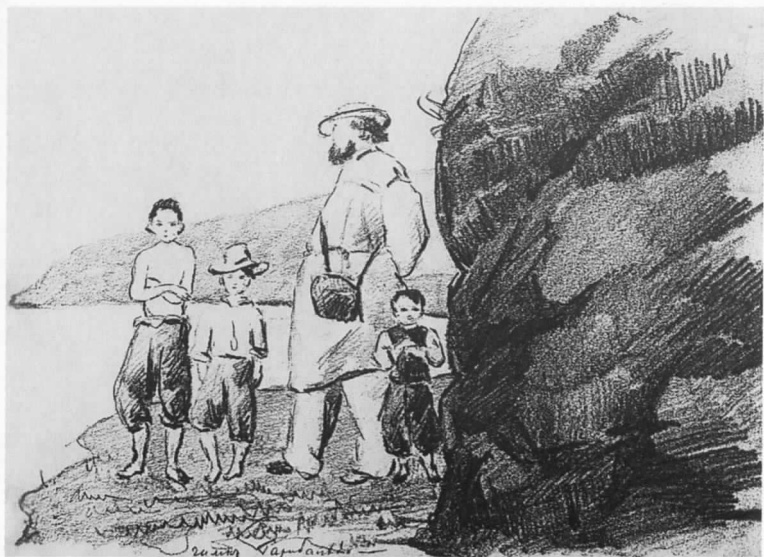
Бакунин
на прогулке
в Италии. Рисунок
Н. С. Бакуниной.





Наталья, Антония, Михаил и Павел Бакунины на прогулке.
Рисунок Н. С. Бакуниной.

Бакунин с детворой поет гарибальдийский гимн.
Рисунок Н. С. Бакуниной.





Наталья и Павел Бакунины.

Памятник
(несохранившийся)
Бакунину в Москве.



Могила Бакунина
в Берне.





М. А. Бакунин. Фото 1860-х гг.

ресов. Мы должны раз навсегда покинуть ложный принцип национальности, изобретенный в последнее время деспотами Франции, России и Пруссии для вернейшего подавления принципа свободы. Национальность не принцип: это — законный факт, как индивидуальность. Всякая национальность, большая или малая, имеет несомненное право быть сама собой, жить по своей собственной натуре. Это право есть лишь вывод из общего принципа свободы.

Всякий, искренно желающий мира и международной справедливости, должен раз навсегда отказаться от всего, что называется славой, могуществом, величием отечества, от всех эгоистических и тщеславных интересов патриотизма. Пора желать абсолютного царства свободы внутренней и внешней. Программа наших комитетов приглашает нас обсудить основания организации Соединенных Штатов Европы. <...>

Всякое централизованное государство, каким бы либеральным оно ни заявлялось, хотя бы даже носило республиканскую форму, по необходимости — угнетатель, эксплуататор народных рабочих масс в пользу привилегированного класса. Ему необходима армия, чтобы сдерживать эти массы, а существование этой вооруженной силы подталкивает его к войне. Отсюда я вывожу, что международный мир невозможен, пока не будет принят со всеми своими последствиями следующий принцип: всякая нация, слабая или сильная, малочисленная или многочисленная, всякая провинция, всякая община имеет абсолютное право быть свободной, автономной, жить и управляться согласно своим интересам, своим частным потребностям, и в этом праве все общины, все нации до того солидарны, что нельзя нарушить его относительно одной, не подвергая его этим самым опасности во всех остальных.

Всеобщий мир будет невозможен, пока существуют нынешние централизованные государства. Мы должны, стало быть, желать их разложения, чтобы на развалинах этих единств, организованных сверху вниз деспотизмом и завоеванием, могли развиваться единства свободные, организованные снизу вверх свободной федерацией общин — в провинцию, провинций — в нацию, наций — в Соединенные Штаты Европы».

Вот каким запомнил Бакунина участник Женевского конгресса Карл Грюн: «Бакунин был все тот же, по крайней мере, внутренне; внешне он поседел, одежда на нем была в беспорядке, высокий стан согбен, рот без зубов, речь большей частью неразборчива. Но в остальном он не изменился,

больше того — стал еще сердечнее, благодушнее, внимательнее. Он показал мне свою маленькую жену, — свою “спасительницу”. Я с трудом сохранил серьезность. Эта маленькая, худенькая полька рядом с русским богатырем едва доставала ему до груди. Точно пони рядом со слоном в цирке. Он отправил жену с каким-то молодым русским в театр, а для нас заказал настоящего китайского чаю с настоящим коньяком, и мы много и долго болтали. Он скупой удовлетворил мое любопытство относительно своего романтического бегства через три части света, и когда я просто заметил: “Ты бы это описал когда-нибудь”, он ответил серьезно и сухо (мы говорили ради него по-французски): “Il faudrait parler de moi-même” (то есть “пришлось бы говорить о себе самом”). Этого он не хотел: его личное “я” не имело для него значения. Потом он взял меня за руку: “Все-таки хорошо, что мы снова увиделись и в принципе так единомышленны”. <...>

Насколько мне позволяют судить мои сведения и мое знание людей, Бакунин был честный человек. Он пострадал за свои идеи, жестоко поплатился за 48-й и 49-й годы, и как бы безумны ни казались его убеждения, в нем всегда было что-то здоровое, даже сердечное. Пусть его голова не раз срывалась с цепи, но его чувствования возбуждали симпатию. Никакой задней мысли, ничего желчного, никакого коварства, мании величия, ни грана тщеславия в нем не было. Он уклонялся от славы, насмехался над известностью. Он был и остался веселым после всех перенесенных им страданий, которые десять раз сокрушили бы всякого другого; только он, гигант, стряхивал с себя бремя рока и каждый раз снова являл изумленным друзьям улыбающееся лицо...»

Зал Избирательного дворца вмещал шесть тысяч человек, и, купив за небольшие деньги билет, присутствовать на заседаниях конгресса мог любой желающий. Среди многочисленных посетителей был человек, которому впоследствии это событие дало пищу для наполнения конкретным содержанием антиреволюционного (или антинигилистического, как тогда говорили) произведения. Речь идет конечно же о Достоевском и его романе «Бесы». В 20-е годы XX столетия среди литературоведов шла дискуссия: слышал или нет Достоевский пламенную речь Бакунина, ибо она вполне могла навести на мысль о романе на злободневную тему. В то время мнения разделились, но однозначный ответ оказалось возможным получить спустя семь десятилетий, когда был расшифрован и опубликован дневник жены Достоевского Анны Григорьевны.

Достоевские жили тогда в Женеве и были в курсе главных событий, связанных с конгрессом. Перед его открытием они вместе с многотысячными толпами людей участвовали в триумфальной встрече Гарибальди и слушали его выступление. Но на заседании самого конгресса супруги появились 11 сентября — на третий день после его открытия и на второй после речи Бакунина. Послушать речи ораторов Достоевскому настоятельно порекомендовал Огарев — член оргкомитета и активный участник конгресса. Скорее всего, Огарев рассказал Достоевским, хотя бы в общих чертах, и о выступлении Бакунина.

В дневнике Анна Григорьевна застенографировала все, что происходило на конгрессе 11 сентября, вплоть до малозначительных подробностей: написала о жутком шуме в зале, напоминавшем конюшню или манеж, о расставленных скамьях (отдельно для мужчин и отдельно для дам), где супругам едва удалось найти свободное место, о том, что речи, похожие одна на другую, сначала утомили Федора Михайловича, а затем ввергли в раздражение... О Бакунине — ни слова. Однако его колоссальную фигуру трудно было не заметить и за столом председательствующих, и в кулуарах, где громогласный бас русского богатыря перекрывал любой шум.

Тем временем Бакунин развил активную деятельность среди участников конгресса и в группе, готовившей резолюции. Его огромная, как предгрозовая туча, фигура мелькала то здесь, то там. Он вмешивался в вялотекущие дискуссии, предлагал радикальные поправки, в корне менявшие с трудом согласованные тексты, и раздражался по этому поводу бурными тирадами, отпугивая тем самым потенциальных союзников. В результате Бакунин с малочисленными единомышленниками остался в меньшинстве, а Женевский конгресс принял постановления, которые мало что значили и мало к чему обязывали (во всяком случае военной угрозы, дамокловым мечом нависшей над Европой, они не устранили).

Но Бакунин был не из тех, кто пасует перед трудностями и отступает. Избранный вместе с ближайшим сподвижником Николаем Ивановичем Жуковским (1833—1895) в Центральный комитет Лиги (позднее туда же вошел Н. П. Огарев), он решил остаться в Швейцарии и довести до конца начатое дело по революционной переориентации Лиги. В это время он сблизился с достаточно многочисленной русской колонией в Берне — молодыми эмигрантами и студентами. В результате был основан журнал «Народное дело» (так называлась работа Бакунина, написанная в 1862 году,

сразу же после бегства из Сибири). Ему лично удалось повлиять на ориентацию лишь первого номера журнала (в дальнейшем руководство в нем захватили другие люди), но и этого оказалось достаточно, чтобы журнал оставил след в истории. Здесь была опубликована краткая, но емкая программа российского революционно-демократического движения на ближайшее и отдаленное будущее (в том числе и по коренному переустройству страны):

«<...> Вся будущая политическая организация должна быть не чем другим, как свободною федерациею вольных рабочих, как земледельческих, так и фабрично-ремесленных артелей (ассоциаций). И потому, во имя освобождения политического, мы хотим прежде *окончательного уничтожения государства*, хотим искоренения всякой государственности со всеми ее церковными, политическими, военно- и гражданско-бюрократическими, юридическими, учеными и финансово-экономическими учреждениями. Мы хотим полной воли для всех народов, ныне угнетенных империею, с правом полнейшего самораспоряжения на основании их собственных инстинктов, нужд и воли, дабы, федерируясь [так!] снизу вверх, те из них, которые захотят быть членами русского народа [так!], могли бы создать сообща действительно вольное и счастливое общество в дружеской и федеративной связи с такими же обществами в Европе и в целом мире» (выделено мной. — В. Д.).

Кроме того, Бакунин оказался единственным из столпов русской эмиграции, кто уловил новое веяние в настроении молодого поколения, ознаменовавшееся совершенно невиданным доселе явлением в мировой революционной практике — *«хождением в народ»*: «Теперь главную роль в нем (в движении. — В. Д.) будет играть народ. Он есть главная цель и единая, настоящая сила всего движения. Молодежь понимает, что жить вне народа становится делом невозможным и что кто хочет жить, должен жить для него. В нем одном жизнь и будущность, вне его мертвый мир. <...> И если будущность для нас существует, так только в народе. Ей (молодежи. — В. Д.) предстоит подвиг... очистительный подвиг сближения и примирения с народом». Один из «шестидесятников» (в дальнейшем один из самых стойких последователей Бакунина в России) — Виктор Черкезов (ок. 1844—1925) — вспоминал, что в Петербурге был всего один-единственный экземпляр первого номера журнала «Народное дело», столичная молодежь в течение целого месяца от руки переписывала и распространяла его, рассылала в Москву и провинцию... Призыв Бакунина, получивший со временем отклик

в сердцах молодых «штурманов будущей бури» (Герцен), лейтмотивом прошел через всю его революционную пропаганду: «Итак, бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель. Бросайте эти университеты, академии и школы... ступайте в народ, [чтобы стать] повивальной бабкой самоосвобождения народного, сплотителем народных сил и усилей...»

Между тем его контакты с далеким Прямухиным, после отъезда Павла с женой и посланных им вдогонку нескольких писем, приостановились почти на два года, пока жизнь, как уже бывало не однажды, не взяла Михаила за горло. «Друзья, братья, — пишет он 24 сентября 1867 года из Женевы, — я нахожусь в беде, и вы, если есть малейшая возможность, должны мне помочь. В долгу, как в шелку, а денег ни гроша...» Так продолжалось из месяца в месяц; спустя полтора года Михаил обращается к двум оставшимся в живых сестрам — Татьяне и Александре: «Сестры. Долги меня давят. *Мне грозит голодная смерть. Помогите*» (выделено мной. — В. Д.). Все чаще его посещает мысль о выделении причитающейся ему доли наследства, выражающейся главным образом в недвижимости — усадьба, земля, лес, — их можно было бы незамедлительно продать или заложить. Дело — заведомо хлопотное, ущемляющее законные права братьев, но ему через него еще предстояло пройти...

* * *

Чтобы склонить избранных членов ЦК Лиги мира и свободы на свою сторону, Бакунин написал целый трактат, впоследствии он вошел во все собрания сочинений под названием «Федерализм, социализм и антитеологизм: Мотивированное предложение Центральному комитету Лиги Мира и Свободы от М. Бакунина». Это теоретическая работа (как и ряд других) осталась незавершенной, но ее содержание автор почти полностью и неоднократно озвучивал на регулярных заседаниях и в кулуарных дискуссиях. В многостраничной Записке, по существу, повторены известные бакунинские идеи и представления о перспективах европейского общественного развития, конечную цель русский мыслитель видел в установлении справедливого строя, именуемого *социализмом*:

«<...> Мы не предлагаем вам, господа, ту или иную социалистическую систему. Мы призываем вас снова провозгласить великий принцип Французской Революции: каждый человек должен иметь материальные и нравственные средст-

ва для развития всей своей человечности. Принцип этот, по нашему мнению, выражается в следующей проблеме:

Организовать общество таким образом, чтобы каждый индивидуум, мужчина или женщина, появляясь на свет, имел бы приблизительно равные возможности для развития различных способностей и для их применения в своей работе; создать такое устройство общества, которое сделало бы невозможным для всякого индивидуума, кто бы он ни был, эксплуатировать чужой труд и позволяло бы ему пользоваться общественным богатством, являющимся, в сущности, продуктом человеческого труда лишь в той мере, в какой он своим трудом непосредственно способствовал его созданию. Полное осуществление этой задачи будет, конечно, делом столетий. Но история ее выдвинула, и отныне мы не можем оставлять ее без внимания, не обрекая себя на полное бессилие. <...>».

Характерно и знаменательно, что на построение социализма (его он называл новой религией народа) во всеевропейском масштабе даже такой нетерпеливый человек, как Бакунин, готовый к сиюминутной революции в любой точке земного шара, отводил не годы и десятилетия, а *столетия!* Учитывая буржуазный состав Центрального комитета, а также пацифистскую ориентацию ее учредителей и спонсоров, Бакунин с единомышленниками предлагали достаточно обтекаемые формулировки в обсуждаемых проектах:

«Лига провозглашает необходимость коренной социальной и экономической реформы, которая имеет своей целью освобождение труда народа от ига капитала и собственников на основе самой строгой справедливости, не юридической, теологической и метафизической, а просто человеческой, на позитивной науке и самой полной свободе. Она заявляет также, что страницы ее газеты будут широко открыты для всех серьезных дискуссий по экономическим и социальным вопросам, если только они будут воодушевлены искренним желанием самого полного освобождения народа как в материальном отношении, так и с точки зрения политической и интеллектуальной...»

Но ни железная логика, ни бесспорные аргументы, ни пассионарный натиск русского агитатора, ни его громоподобный голос бога-олимпийца не оказали никакого воздействия на убеждения большинства Центрального комитета Лиги. Михаил быстро понял, что с ними ему не по пути. Единственно, чего он смог добиться, чтобы на следующем, втором конгрессе, который открылся 21 сентября 1868 года

в Берне, ему предоставили максимально возможное время для доклада. Совершив в нем обстоятельный экскурс в мировую историю и подвергнув философско-социологическому анализу государственно-деспотическую организацию общества, он оглушил следующим заявлением: «Итак, я прихожу к заключению: тот кто желает вместе с нами учреждения свободы, справедливости и мира, хочет торжества человечества, кто хочет полного и совершенного освобождения народных масс, должен желать вместе с нами разрушения всех государств и основания на их развалинах всемирной федерации производительных свободных ассоциаций всех стран».

Не найдя понимания ни у делегатов конгресса, ни у его руководства (в котором уже не было ни Гарибальди, ни радикальных французских социалистов), Бакунин решил вообще порвать с Лигой. Но прежде он пригвоздил к позорному столбу окопавшихся в ней буржуазных прихвостней и «ударил картечью» по благообразной либеральной публике: «Международная ассоциация буржуазных демократов, “Международная Лига мира и свободы”, издала свою новую программу или, вернее, испустила вопль отчаяния, трогательный призыв ко всем буржуазным демократам Европы, умоляя их не дать ей погибнуть по недостатку средств. <...> В этом циркуляре Центрального комитета Лиги читателю слышится голос умирающих, силящихся разбудить мертвых. В нем нет ни одной живой мысли, все повторение избитых фраз и бессильное выражение желаний, столь же добродетельных, сколько бесплодных, над которыми история давно произнесла смертный приговор, именно за их отчаянное бессилие. <...>

Почему же Лига, заключающая в своей среде столько умных, ученых и искренно либеральных личностей, так скудна мыслью, так очевидно неспособна желать действовать и жить. Эта неспособность и скудоумие зависят не от личностей, а от целого класса, к которому эти личности имеют несчастье принадлежать. Этот класс, как политический и социальный организм, оказав в свое время цивилизации важные услуги, самой историей обречен на смерть. И это последняя и единственная услуга, которую он еще может оказать человечеству, так долго питавшему его своими лучшими силами. Но умирать она не хочет. Вот в чем единственная причина его настоящей глупости, той постыдной немощности, которая характеризует ныне все его политические предприятия, как национальные, так и интернациональные».

Заканчивая речь, Михаил видел, как инстинктивно вжимали головы в плечи некоторые дородные «переднескамеечники», а в их глазах читался неподдельный страх. Спустя три дня после открытия конгресса, 25 сентября 1868 года, Бакунин и еще четырнадцать его сторонников объявили о своем выходе из лиги и подписали «Коллективный протест членов, вышедших из состава конгресса». Вскоре они организовали новый тайный союз, назвав его «Альянсом социалистической демократии (или социалистов-революционеров)», который в перспективе должен был войти в Интернационал. Именно в рамках этой авторитетной международной организации Бакунин и его сторонники — приверженцы безграничной и неподконтрольной свободы — надеялись получить широкую автономию и избавить себя от мелочной опеки Генерального совета. С «Интернациональным братством», категорически противившимся контактам с Интернационалом, также пришлось порвать.

Сам Бакунин вступил в Интернационал еще в июле того же 1868 года. Он подал заявление с просьбой принять его в Женевскую секцию Международного товарищества рабочих. О его настроениях в тот период лучше всего свидетельствует письмо Марксу от 22 декабря: «Мой старый друг! <...> Ты спрашиваешь... продолжаю ли я оставаться твоим другом. Да, более чем когда-либо, дорогой Маркс, ибо лучше, чем когда-либо прежде, я понимаю теперь, как был ты прав, выбрав, — и нас приглашая за тобой следовать, — большую дорогу экономической революции и осмеивая тех из нас, которые блуждали по тропинкам национальных или чисто политических предприятий. Я делаю теперь то дело, которое ты начал уже более двадцати лет назад. Со времени торжественного и публичного прости, которое я сказал буржуа на Бернском конгрессе, я не знаю теперь другого общества, другой среды, кроме мира рабочих. *Моим отечеством будет теперь Интернационал* (выделено мной. — В. Д.), одним из главных основателей которого ты являешься. Ты видишь, следовательно, дорогой друг, что я — твой ученик, и я горжусь этим. Вот все, что я считаю необходимым сказать, чтобы объяснить тебе мои личные чувства и отношения...»

Это был, так сказать, последний обмен дипломатическими любезностями. Отправляя полное дифирамбов письмо в Лондон, Бакунин еще не знал, что в тот же самый день Генеральный совет по настоянию Маркса отказал «Альянсу социалистической демократии» во вступлении в Интернационал на правах независимого члена и предложил самораспуститься (что вскоре и было сделано).

Глава 9

«ВСТАВАЙ, ПРОКЛЯТЫЕМ ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ...»

Международное товарищество рабочих, или Первый интернационал, было основано самими рабочими (преимущественно английскими и французскими) 28 сентября 1864 года на грандиозном митинге в Лондоне в поддержку польского национально-освободительного восстания. Бакунин в то время находился в Швеции и, как мы знаем, также поддерживал польское восстание — не только словом, но и делом. На лондонском митинге присутствовал Карл Маркс; он не выступал, но был избран в состав руководства провозглашенной организации (названный позже Генеральным советом). Маркс (а вслед за ним и Энгельс) первыми осознали всемирно-историческое значение свершившегося факта и постепенно взяли полностью на себя руководство этим довольно-таки разношерстным органом. По просьбе Генерального совета Маркс подготовил Учредительный манифест и Временный устав товарищества, единодушно утвержденные 1 ноября того же года. С этого момента создания авторитет Интернационала возрастал в геометрической прогрессии — не по дням, а по часам. Рабочая солидарность представляла собой силу, с которой не могли не считаться европейские и американские правители. Хорошо организованные стачки и митинги сделались повседневной реальностью в жизни двух континентов.

Маркс давно склонял Бакунина к вступлению в Интернационал, видя в нем недюжинного, фактически равного себе теоретика и, главное, прирожденного организатора и агитатора, подлинного народного трибуна, обладавшего даром магического воздействия на массы, к тому же давно тяготевшего к социалистической идеологии и разделявшего главные ее положения. Ведь не кому-то еще, а именно Бакунину принадлежит первый русский перевод «Манифеста Коммунистической партии», написанного и опубликованного Марксом и Энгельсом еще в 1848 году.

До вступления в Интернационал Бакунина и его сподвижников состоялось два конгресса — в Женеве (сентябрь 1866 года) и в Лозанне (сентябрь 1867 года). Появление на горизонте бакунинцев с их «Альянсом социалистической демократии» сразу создало для товарищества множество проблем. И первая — можно ли принимать в Интернационал совершенно самостоятельную организацию, чьи цели и задачи во многом расходятся с программными и уставными положениями самого Интернационала? Проблема разрешилась быстро и однозначно: никаких «надстроечных» структур Международное товарищество рабочих иметь не должно. Незыблемый для Маркса и его соратников принцип *централизма* (обязательный для любой мало-мальски уважающей себя политической организации) вступил в противоречие с бакунинской концепцией *децентрализма*.

Но не только организационно-уставные принципы стали камнем преткновения и возвели непреодолимую стену между двумя выдающимися деятелями международного революционного движения XIX века. Немецкий социалист (а под конец жизни — коммунист) Франц Меринг (1846—1919), глубоко почитавший Карла Маркса и написавший одну из самых лучших биографий своего учителя (не потерявшую своей актуальности и по сей день), не утратил (в отличие от большинства единомышленников) способности объективно оценить значение Бакунина. Меринг отмечал, что Бакунин был насквозь революционной натурой и обладал, подобно Марксу, талантом заставлять людей прислушиваться к своему голосу. Для бедного эмигранта, не имевшего ничего, кроме своего ума и воли, было поистине настоящим подвигом завязать первые нити интернационального рабочего движения в целом ряде европейских стран — в Испании, Италии и России. Однако стоит только назвать эти страны, чтобы сразу понять, насколько непреодолимым было противоречие между Бакуниным и Марксом. Оба они предугадывали скорое приближение революции, но Маркс, изучавший рабочее движение в Англии, Франции и Германии, видел именно в крупнопромышленном пролетариате ядро революционной армии. Бакунин же рассчитывал на воинствующую толпу деклассированной молодежи, на крестьянские массы и даже на люмпен-пролетариат. Он, однако, мирился со своей судьбой, считая, что хотя наука и является компасом жизни, но все же она еще не есть сама жизнь, а творить по-настоящему может только жизнь.

Тем не менее среди немецких социалистов за Бакуниным уже тогда закрепилось прозвище «Воплощенный Сата-

на». По существу, столкнулись две глыбы, два титана, два антипода, а значит, и две непримиримые идеологии, несовместимые мировоззрения, диаметрально противоположные представления о стратегии и тактике революционной борьбы. Их поединок достоин кисти или резца художников эпохи Возрождения, а их теоретическая борьба напоминала столкновение двух гигантских лавин. Но были еще и чисто психологические, а потому во многом субъективные, моменты во взаимоотношениях этих двух великих людей. Гнев и обида (которые, как известно, плохие советчики) застлали их разум, и на передний план выдвинулись мелкие факты и доводы. Именно они возобладали в скором времени во взаимных претензиях и обвинениях и как непререкаемая догма были восприняты соратниками того и другого. В результате о трехлетней борьбе Маркса и Бакунина, закончившейся поражением последнего, можно сказать: «Двум медведям тесно в одной берлоге».

Оба извели ведра чернил и исписали горы бумаги, не стесняясь в выражениях и особенно не задумываясь, насколько выдвинутые обвинения и привлеченные для их обоснования аргументы соответствуют действительному положению дел. Посудите сами. Предоставим сначала слово Бакунину: «Г[осподин] Маркс играл и играет слишком важную роль в социалистическом движении немецкого пролетариата, чтобы можно было обойти эту замечательную личность, не постаравшись изобразить ее в нескольких верных чертах. По происхождению г[осподин] Маркс еврей. Он соединяет в себе, можно сказать, все качества и все недостатки этой способной породы. Нервный, как говорят иные, до трусости, он чрезвычайно честолюбив и тщеславен, сварлив, нетерпим и абсолютен, как Иегова, господь Бог его предков, и, как он, мстителен до безумия. Нет такой лжи, клеветы, которой бы он не был способен выдумать и распространить против того, кто имел несчастье возбудить его ревность или, что все равно, его ненависть. И нет такой гнусной интриги, перед которой он остановился бы, если только, по его мнению, впрочем, большею частью ошибочному, эта интрига может служить к усилению его положения, его влияния или к распространению его силы. В этом отношении он совершенно политический человек.

Таковы его отрицательные качества. Но и положительных в нем очень много. Он очень умен и чрезвычайно многосторонне учен. Доктор философии, он еще в Кёльне около 1840 года был, можно сказать, душою и центром весьма заметных кружков передовых гегельянцев. <...> Редко мож-

но найти человека, который бы так много знал и читал, и читал так умно, как г[осподин] Маркс. Исключительным предметом его занятий была уже в это время наука экономическая. С особенным тщанием изучал он английских экономистов, превосходящих всех других и положительностью познаний, и практическим складом ума, воспитанного на английских экономических фактах, и строгою критикою, и добросовестною смелостью выводов. Но ко всему этому г[осподин] Маркс прибавил еще два новых элемента: диалектику самую отвлеченную, самую причудливо тонкую, которую он приобрел в школе Гегеля и которую доводит нередко до шалости, до разврата, и точку отправления коммунистическую. <...>

Г[осподин] Маркс... высказал и доказал ту несомненную истину, подтверждаемую всей прошлой и настоящей историей человеческого общества, народов и государств, что экономический факт всегда предшествовал и предшествует юридическому и политическому праву. В изложении и в доказательстве этой истины состоит именно одна из главных научных заслуг г[осподина] Маркса. <...> Около 1845 года г[осподин] Маркс стал во главе немецких коммунистов и вслед за тем, вместе с г[осподином] Энгельсом, неизменным своим другом, столь же умным, хотя менее ученым, но зато более практическим и не менее способным к политической клевете, лжи и интриге, основал тайное общество германских коммунистов или государственных социалистов...»

Это фрагменты главного труда Бакунина «Государственность и анархия». В незавершенной работе «Мои личные отношения с Марксом» (1871) он продолжает конкретизировать свои обвинения: «Маркс, — странная черта в столь умном и столь преданном человеке, черта, находящая себе объяснение только в его воспитании немецкого ученого и литератора и в особенности в его нервозности еврея, — Маркс крайне тщеславен, тщеславен до грязи и бешенства. Если кто-либо имел несчастье, хотя бы самым невинным образом, задеть его болезненное, всегда обидчивое и всегда раздраженное тщеславие, Маркс становится непримиримым его врагом; с этого момента он считает все средства дозволенными и действительно употребляет самые позорные, непозволительные средства, чтобы унижить своего врага в общественном мнении. Он лжет, измышляет и распространяет грязнейшие поклепы. <...>

Маркс любит свою собственную личность куда сильнее, чем своих друзей и апостолов, и никакая дружба не может противостоять самому мелкому оскорблению его тщеславия.

Значительно легче он прощает измену своей философской и социалистической системе; он рассматривает подобную измену как доказательство глупости или, по меньшей мере, умственной неполноценности своего друга, и это тешит его. С той минуты, как он перестает видеть в друге своем соперника, который мог бы достичь до его высоты, друг, пожалуй, даже станет ему милее. Но он никогда никому не простит погрешности в отношении его собственной личности: его надобно боготворить, поклоняться ему как идолу, чтобы он вас любил; надо, по меньшей мере, бояться его, чтобы он терпел вас. Он любит окружать себя ничтожествами, лакеями и льстецами. Несмотря на это, в его близком кругу можно найти несколько выдающихся людей. <...>

Сам еврей, он объединяет вокруг себя, в Лондоне и во Франции, но главным образом в Германии, целую массу маленьких более или менее смысленных, интригующих, шустрых евреев, спекулянтов, каковы евреи повсюду, торговых или банковских агентов, литераторов, политиков, корреспондентов газет всевозможных оттенков, одним словом, маклеров в литературе, наподобие того, как они являются маклерами в коммерции, одной ногой в банке, другой в социалистическом движении, а задом рассевшихся на немецкой прессе, ибо они заполнили все газеты, — и вы можете вообразить, до чего тошнотворна в результате литература.

И вот весь этот еврейский мир, который образует секту грабителей, вампир, прожорливый паразит, мир, тесно и крепко спаянный не только вопреки границам государств, но и вопреки всем различиям в политических мнениях, — этот еврейский мир в настоящее время в большей своей части находится в распоряжении, с одной стороны, Маркса, а с другой — Ротшильда. Я уверен, что Ротшильды ценят заслуги Маркса, а Маркс, со своей стороны, испытывает инстинктивное влечение и глубокое почтение к Ротшильдам.

Это может показаться странным. Что может быть общего между коммунизмом и крупным банком? О! Коммунизм Маркса желает мощной государственной централизации, а такая в настоящее время невысказана без центрального государственного банка; а там, где будет подобный банк, там паразитирующая еврейская нация, нация, спекулирующая народным трудом, всегда найдет средства для своего существования...

Как бы то ни было, факт заключается в том, что большая часть этого еврейского мира, преимущественно в Германии, находится в распоряжении Маркса. Достаточно ему подать знак, чтобы они начали кого-нибудь преследовать, и целый

поток брани, грязных поклепов, смешной и низкой клеветы обрушился на несчастного во всех социалистических и не-социалистических, республиканских и монархических газетах. <...>».

Эти свои мысли и выводы Бакунин десятки раз повторяет на разные лады. Так, обращаясь к итальянским интернационалистам города Романьи, он пишет: «Как же случилось, что мои друзья и я, мы отделились от Маркса и его друзей? Сему есть две причины. Во-первых, теории наши различны, можно даже сказать, диаметрально противоположны. Маркс — авторитарно, централистически настроенный коммунист. Он хочет того же, чего хотим мы: полного торжества экономического и социального равенства, — но в государстве и при посредстве государственной власти, при посредстве диктатуры очень сильного и, так сказать, деспотического, провизорного правительства, то есть путем отрицания свободы. Его экономический идеал — государство в качестве единственного владельца земли и всех видов капитала, государство, обрабатывающее землю с помощью сельскохозяйственных ассоциаций, хорошо оплачиваемых и руководимых инженерами, снабжающее капиталом все промышленные и торговые ассоциации.

Мы хотим достичь того же торжества экономического и социального равенства путем уничтожения государства и всего, что зовется юридическим правом и, с нашей точки зрения, является перманентным отрицанием человеческих прав. Мы хотим перестройки общества и объединения человечества не сверху вниз, при посредстве какого бы то ни было авторитета и с помощью социалистических чиновников, инженеров и других официальных ученых; мы хотим перестройки снизу вверх, путем свободной федерации освобожденных от ярма государства рабочих ассоциаций всех видов.

Вы видите, трудно представить себе две более противоречащих одна другой теории, чем наши. Однако существует еще одно, на этот раз чисто личное расхождение между нами. Мы ни в какой степени не удивлены, не огорчены, не оскорблены тем, что Маркс и его друзья исповедуют учение, отличное от нашего. Враги всякого, как доктринерского, так и практического абсолютизма, мы склоняемся с уважением не перед теориями, которых не можем признать истинными, но перед правом каждого следовать своим собственным теориям и проповедовать их. Мы жадно читаем все, что публикует Маркс, потому что всегда находим в этом много весьма поучительного.

Маркс настроен иначе. В своих теориях он столь же абсолютен, как и на практике, поскольку для него это возможно; его действительно выдающийся ум уживается рядом с двумя отвратительными недостатками: он тщеславен и ревнив. Ему был ненавистен Прудон потому лишь, что великое имя это и заслуженная его слава уязвляли его. Нет тех гадостей, которых он не писал бы о нем. Маркс эгоцентричен до безумия. Он говорит: мои идеи и не хочет понять, что идеи не принадлежат никому, что стоит хорошо посмотреть, и всегда окажется, что именно лучшие и величайшие идеи являются продуктом инстинктивной работы всех; единичному индивидууму принадлежит лишь выражение их, их оформление. Маркс не хочет понять, что идея, даже выраженная им самим, с того момента, как она понята и воспринята другими, становится собственностью этих других в той же мере, как и его.

Маркс, и без того склонный к самопочитанию, был вконец испорчен обожанием учеников своих, которые сделали из него нечто вроде доктринера-папы; а для психического и морального здоровья умнейшего даже человека ничего нет столь рокового, как обожание и почитание его непогрешимым. Все это еще более усилило эгоцентричность Маркса, так что он начинает ненавидеть всякого, кто не хочет гнуть перед ним шею. Вот главная причина ненависти к нам Маркса и марксистов. К этому надобно добавить, что, ненавидя кого-либо, они считают допустимой в отношении к нему всякую подлость. Нет тех гадостей, той клеветы и лжи, которой они не стали бы распространять на его счет в своих частных беседах и переписке, равно как и в газетах. Таков метод борьбы со своими противниками немцев вообще, и в особенности немецких евреев. Маркс — немецкий еврей, так же, как и многие другие главные и второстепенные вожди той же партии в Германии; впрочем, в этом отношении мадзинисты начинают походить на марксистов. Хочется сказать, что все авторитаристы на один лад. Кажется мне, всего, что я сказал, достаточно, чтобы разъяснить Вам причину расхождения нашего».

Критикуя Бакунина, Маркс также не стеснялся в выражениях и в карман за словом не лез. Его письма к единомышленникам пестрят оскорбительными эпитетами в адрес недавнего «старого друга», в одночасье превратившегося в лютого врага — «шарлатан», «невежда», «фигляр», «интриган», «подонок», «наглец», «осел» и т. д. Заодно досталось и его национальности: «Ни одному русскому я не верю...» Не отставал от Маркса и Энгельс: «...жирный, проклятый русский»,

«баран», «сволочь» или же вот еще: «Сибирь, брюхо и молодая полька превратили Бакунина в форменного быка», а его окружение — «панславистский сброд», «подлая банда негодяев и мошенников». Конечно, не гоже вождям мирового пролетариата и основоположникам великого учения опускаться до таких вещей, но что поделать — из песни слова не выкинешь.

Бакунин, как мы видели выше, в долгу не оставался, хотя выглядел гораздо сдержаннее и, насколько можно судить по сугубо личной переписке, — объективнее. Даже перед Герценом, к которому Маркс всегда относился предвзято, Михаил продолжал защищать главу Интернационала. 28 октября 1869 года он писал из Женева: «Насчет Маркса вот мой ответ. Я знаю так же хорошо, как и ты, что Маркс точно так же виноват против нас, как и все другие, и даже, что он был зачинщиком и подстрекателем всех гадостей, возводимых на нас. Почему же я его пощадил и даже похвалил, назвал великаном? По двум причинам, Герцен. *Первая причина — справедливость.* Оставив в стороне все его гадости против нас, нельзя не признать, я, по крайней мере, не могу не признать за ним, огромных заслуг по делу социализма, которому он служит умно, энергически и верно вот уже скоро 25 лет... <...> и в котором он несомненно опередил нас всех. Он был одним их первых, чуть ли не главным основателем интернационального общества. А это в моих глазах заслуга огромная, которую я всегда признавать буду, что бы он против нас ни делал.

Вторая же причина — политика и, по-моему, совершенно верная *тактика.* <...> В этом *черном* мире единственной почвой, на которой построится будущее, я, любезный Герцен, признаю и политику и тактику, изучаю внимательно все его сильные и слабые стороны, равно *умности*, как и глупости, и стараюсь соображаться с ними так, чтобы и дело народное продвигалось, — это, разумеется, главная и первая цель, — но также и так, чтоб и мое положение в нем укреплялось. Мое обращение с Марксом, который меня терпеть не может, да я думаю, и никого, кроме себя и разве близких своих, не любит. Моя политика и тактика с ним да служит тебе на это доказательством.

Маркс, несомненно, полезный человек в интернациональном обществе. Он в нем еще до сих пор один из самых твердых, умных и влиятельных опор социализма, — одна из самых сильных преград против вторжения в него каких бы то ни было буржуазных направлений и помыслов. И я бы никогда не простил бы себе, если бы для удовлетворения лич-

ной мести я уничтожил или даже уменьшил его несомненно благодетельное влияние. А может случиться и вероятно случится, что мне скоро придется вступить с ним в борьбу, не за личную обиду, а по вопросу о принципе, по поводу государственного коммунизма, которого он и предводительствуемая им партия, английская и немецкая, горячие поборники. Ну, тогда будем драться не на живот, а на смерть. Но все в свое время, теперь же время еще не пришло.

Я пошадил и превознес его также из тактики, из личной политики. Как же ты не видишь, что все эти господа вместе — наши враги и составляют фалангу, которую нужно прежде разьединить, раздробить, чтобы легче [было] ее разбить. Ты ученее меня и потому лучше меня знаешь, кто первый сказал: "*Divide et impera*" («Разделяй и властвуй». — В. Д.). Если б я пошел теперь открыто войною против Маркса, три четверти интернационального мира обратилось бы против меня и я был бы в накладе, потерял бы единственную почву, на которой хочу стоять. Начав же войну нападением на эту сволочь, я буду иметь за себя большинство, да и сам Маркс, в котором, как тебе известно, злостной радости, *Schadenfreude* [злорадства], — тьма тьмушая, будет очень доволен, что я задел и отделал его друзей...»

Безусловно, главным в полемике между «заключеными друзьями» — Марксом и Бакуниным — оставался вопрос о революции, ее движущих силах и конечных целях. Маркс, Энгельс и их соратники делали ставку на *рабочий класс*, являющийся гегемоном по отношению ко всем прочим слоям населения, а конечной целью революции объявляли *диктатуру пролетариата*. Но Бакунин вполне резонно спрашивал: диктатура по отношению к кому? Понятно, что бешеное сопротивление эксплуататорских классов придется преодолевать железной рукой. Но дальше-то что? Кого подавлять следующими? Крестьян? Интеллигенцию? Но и это еще не всё! Маркс и его сторонники полагали, что в результате революции и захвата власти пролетариат овладеет старой «государственной машиной» и использует ее в своих интересах, а позже она отомрет.

«Ничего подобного! — возражал Бакунин. — Как только прежние властные структуры заполнят новые люди, эти последние незамедлительно превратятся в полчища таких же паразитов, какие существовали во все времена и испокон веков!» И оказался, между прочим, прав! Ведь чем руководствуется чиновничество любой из эпох? Этому паразитическому сословию нужно во что бы то ни стало доказать свою нужность и полезность при очевидных для него самого не-

нужности и бесполезности*. Новая административно-командная система формально и по функциям своим окажется ничем не лучше, чем старая. Кроме того, она незамедлительно клонирует из самой себя другие уродливые бюрократии — политическую, партийную, профсоюзную, научную, молодежную, военную, церковную, культурную и т. д. и т. п.

Что из того, если на месте прежних дворян или представителей третьего сословия у рычагов управления окажутся вдруг рабочие и крестьяне? Первое время они, так сказать, — по инерции, еще как-то будут вспоминать и заботиться о народе, не забывая, конечно, и про себя. Но вскоре все, начиная с самых верхов, перессорятся, и на первый план выдвинутся личные шкурнические интересы. Одним словом, начнут вести себя, как пауки в банке. Закончится же все это смертоубийством — кто кого. Типичный пример — якобинцы в 1793 году. Те же, кто уцелеет, быстро позабудут об исходных принципах или превратят их в пустые лозунги для обманутого народа и создадут себе же на погибель сверхбюрократического монстра с жесточайшей системой регламентации и запретов.

Вот почему после победы революции, в которой будут участвовать все без исключения прогрессивно настроенные силы, «государственно-бюрократическую машину» нужно тут

* У Бакунина был давний счет к русскому чиновничеству. Еще в годы первой эмиграции в работе «Русские дела» он писал: «Только законенный немецкий бюрократ, никогда не выходящий за порог своей канцелярии, никогда не заглядывавший ни в какие другие книги кроме своих реестров и таблиц, мог быть повергнут в глубокое изумление чудесным, столь крепко спаянным организмом русского чиновничества. Сведущий критик должен как раз в этом усмотреть наиболее опасное и наиболее разрушительное место всей системы. Как ни богат относящийся сюда материал, если бы мы пожелали осветить его примерами, но мы хотим быть сейчас краткими и сказать, что, начиная с верхушки этой пирамиды и вплоть до ее основания, все чиновники крадут самым циническим образом. Это является настолько общим правилом, это считается настолько тесно связанным со службою, что начальник в крайнем случае попрекнет своего подчиненного разве тем, что тот *не по чину* берет. Это разложение составляет необходимое следствие нищенских окладов, получаемых бедною по своему происхождению массою чиновников, также и того безобразного положения, что никаких моральных понятий о долге в принципе для них совершенно не существует да и не может существовать ввиду безусловного послушания и полнейшей несамостоятельности, которые требуются от каждого хорошего русского чиновника в качестве его первой и единственной обязанности. Обман настолько здесь укоренился, что чиновник, имеющий идеальное представление о своих обязанностях, рассматривается остальными как враг, который или бывает вынужден действовать так же, как и они, или же подвергается утонченнейшим издевательствам и ужасающим преследованиям. Честный человек среди воров должен погибнуть.

же сломать, традиционные управленческие ячейки с их ненасытным, как саранча, классом чиновничества ликвидировать, а вместо них ввести немногочисленные, избираемые народом, публично подотчетные ему, сменяемые в любое время вольные союзы и ассоциации. Если говорить совсем кратко, марксисты хотели завоевать власть, а бакунисты — ее уничтожить. Кроме того (с точки зрения Бакунина), Маркс, Энгельс и их адепты чересчур увлеклись весьма абстрактными понятиями вроде общественно-экономической формации, общественного бытия и общественного сознания, общественных отношений, базиса, надстройки и т. п. Русского же революционера в первую голову занимали совершенно иные проблемы: как уничтожить деспотизм, насилие, принуждение как таковые, как сделать так, чтобы свобода раз и навсегда стала ведущим принципом человеческого общежития. А есть ли на свете больший враг всякой свободы, чем государство?

В любом случае Бакунин отстаивал приоритет личности, а не государства (какое бы содержание в это понятие ни вкладывалось). Ибо государство — *всегда насилие* над личностью, над свободой, над здравым смыслом. «В этом весь вопрос, господа, — обращался он к читателям. — Так как государство — это насилие, угнетение, эксплуатация, несправедливость, возведенные в систему и ставшие основными условиями самого существования общества. У государства, господа, никогда не может быть морали. Его мораль и его

Ни о чем не подозревая, он или будет сделан соучастником преступления с помощью подлога в документах, или же объявлен политически неблагонадежным и горе ему, если в обоих случаях у него не найдется покровителя при дворе! Он должен уйти, “он — якобинец, он не хочет брать взятку!” — говорят о нем, и высшее начальство в своих собственных интересах помогает отделаться от чудака, позволившего себе иметь иное понятие о государственной службе. *Видимость* — вот все, что требуется в России от хорошего чиновника; видимость приносит повышение в чине, ордена и деньги, *существо* же ведет в Сибирь. В результате всего этого, несмотря на столь искусно скомпонованный механизм, в чиновном мире царит величайшая дезорганизация. Нет ни одного сенатора, ни одного министра, ни одного начальника департамента в Петербурге и провинции, которые не крали бы. Даже жены чиновников используют эту привилегию своих мужей. Супруга *министра полиции* Бенкендорфа привозила целые пароходы контрабанды в Кронштадтский порт и содержала через посредство своих крепостных служанок большие торговые склады. <...> Таким образом, русский чиновный мир оказывается неисправимым, он угнетает народ, парализует даже хорошие, благодетельные предначертания царя или совершенно их игнорирует и этим ведет его к падению». Это написано в середине XIX века, но с тех пор мало что изменилось; разве что царя больше нет да здомство стало более изощренным, но российские чиновники все так же чувствуют себя хозяевами жизни.

единственная справедливость — это высший интерес своего собственного сохранения и своего всемогущества, интерес, перед которым все, что есть человеческого, должно склоняться. Государство — это само отрицание человечества. Оно является таковым вдвойне: и как противоположность человеческой свободе и человеческой справедливости (внутри), и как насильственное нарушение всемирной солидарности человеческой расы (за своими пределами)».

В конечном счете, так называемый интерес государства при ближайшем рассмотрении оказывается интересом элиты и бюрократии, коим в высшей степени наплевать на интересы широких народных масс. Каждый отдельно взятый госслужащий-бюрократ и бесчисленная орда мздоимцев — естественный тормоз социального прогресса; от них следует избавиться как можно скорее. Чиновники — бездушные приделки «государственно-бюрократической машины» — не нужны в принципе, поэтому их необходимо гнать поганой метлой, а состоящее из них бюрократическое чудовище уничтожить. А кто главный нарушитель личной свободы? Опять же государство в лице своих неисчислимых «церберов» — госслужащих разных рангов! Для того чтобы прийти к такому выводу, вовсе не обязательно провести десяток лет в тюрьме и ссылке.

Особо Бакунин предостерегал от узурпации власти и установления новой диктатуры со стороны ученого сословия: «<...> Под управлением народным они [марксисты] разумеют управление народа посредством небольшого числа представителей, избранных народом. Всеобщее и поголовное право избирательства [так!] целым народом так называемых народных представителей и правителей государства — вот последнее слово марксистов, так же как и демократической школы, — ложь, за которую кроется деспотизм управляющего меньшинства, тем более опасная, что она является как выражение мнимой народной воли. Но эти избранные будут горячо убежденные и к тому же ученые социалисты. Слова “ученый социалист”, “научный социализм”, которые беспрестанно встречаются в сочинениях и речах лассальянцев и марксистов, сами собою доказывают, что мнимое народное государство будет не что иное, как весьма деспотическое управление народных масс новой и весьма немногочисленную аристократией действительных или мнимых ученых. Народ неучен, значит, он целиком будет освобожден от забот управления, целиком будет включен в управляемое стадо. Хорошо освобождение!»

Не говоря уже о метафизике вообще, продолжает Бакунин (ею даже в эпохи самого блестящего процветания зани-

мались буквально единицы), наука в более широком смысле слова в настоящее время доступна только меньшинству. Например, у нас в России на восемьдесят миллионов жителей сколько насчитается серьезных ученых? — спрашивает «апостол анархии». И отвечает: людей, толкующих о науке, можно, пожалуй, насчитать тысячи, но сколько-нибудь знакомых с ней не на шутку вряд ли найдется несколько сотен. Но если наука должна предписывать законы жизни, то огромное большинство, миллионы людей должны быть управляемы одной или двумя сотнями ученых, в сущности, даже гораздо меньшим числом, потому что не всякая наука делает человека способным к управлению обществом. А много ли таких ученых не только в России, но и во всей Европе? Может быть, двадцать или тридцать человек! И эти двадцать или тридцать ученых должны управлять целым миром! Можно ли представить себе деспотизм нелепее и отвратительнее этого?

Будем уважать ученых по их заслугам, заключает Бакунин, но для спасения их ума и их нравственности не должно давать им никаких общественных привилегий и признавать за ними другого права, кроме общего права свободы проповедовать свои убеждения, мысли и знания. Власти им, как никому, давать не следует, потому что кто облечен властью, тот по неизменному социалистическому закону непременно сделается притеснителем и эксплуататором общества.

Сосредоточение верховной власти в руках немногих, считал Бакунин, одинаково недопустимо и пагубно как в масштабах целого государства (где она уже закреплена многовековой традицией и должна быть разрушена), так и в масштабах отдельно взятой организации, наподобие хотя бы Интернационала. «<...> Мы убеждены, — писал он в одной из франкоязычных швейцарских газет, — что, если Международное товарищество рабочих будет разделено на две группы: одну, заключающую в себе громадное большинство и состоящую из членов, вся наука которых будет состоять только в слепой вере в теоретическую и практическую мудрость своих вождей; и другую, состоящую только из нескольких десятков правителей, — это учреждение, которое должно освободить человечество, превратится само в некоторого рода олигархическое государство — худшее из всех государств. Это прозорливое, ученое и искусное меньшинство, которое примет на себя всю ответственность и права правительства, тем более самодержавного, что его деспотизм заботливо прячется под внешней оболочкой учтивого уважения к воле и решениям, всегда им самим продиктованным, этой якобы народной воле; это меньшинство, говорим мы, повинуюсь

необходимости и условиям своего привилегированного положения и подвергаясь общей участи всех правительств, постепенно будет становиться все более и более деспотичным, зловредным и реакционным. Международное товарищество рабочих только тогда может стать орудием освобождения человечества, когда оно прежде само освободится. <...>».

Конечно же Бакунин понимал определяющее значения *экономического фактора* в общественном развитии в целом и в социальной революции в частности. Его высказывания не оставляют на сей счет никакого сомнения: «Мы убеждены в том, что если бы — по предписанию Марата и по значительно более скромному и грозному выполнению Робеспьера и Сен-Жюста — мы снесли сто тысяч и более голов, то этим мы ничего не достигли бы; в то время как, напротив, если смело и основательно взяться за *экономическую* реорганизацию общества и при этом *устранять* со всей необходимой для того энергией все, препятствующее превращению социальной несправедливости в справедливость, — мы создали бы новый мир».

Не было полной ясности и с рабочим движением. Бакунин прекрасно понимал, что организованный пролетариат представляет собой несокрушимую силу в борьбе с эксплуататорской системой. Но как быть с Россией, где рабочие явно в меньшинстве и к тому же слабо организованы, а основную массу населения составляет крестьянство? На что марксисты отвечали: Россия для революции еще не созрела, нужно дожидаться, когда здесь сформируется достаточно сильный рабочий класс, способный возглавить революцию. Ничего подобного! — вновь возражал Бакунин. Русский человек — по природе своей бунтарь, и вовсе неважно, в какой части общества вспыхнет первая искра мятежа. Это может быть и дворянство — как уже бывало с декабристами, но, скорее всего, и даже вне всякого сомнения, ориентироваться следует на крестьянскую революцию, по типу тех войн, какие однажды уже потрясли Россию в XVII и XVIII веках.

Мощные восстания той эпохи под водительством Степана Разина и Емельяна Пугачева — вполне достойный пример для грядущей крестьянской революции с той разве разницей, что на сей раз ее возглавит, как выражался Бакунин, «коллективный Стенька Разин». Отсюда и знаменитый, леденящий душу призыв «К топору зовите Русь!», долгое время приписывавшийся Герцену или Чернышевскому; на самом же деле, как установили современные исследователи, он принадлежал Бакунину. Для русских революционеров XIX столетия это была вполне актуальная, животрепещущая

проблема. Для руководства же Интернационала и его вождей она почти что ничего не значила.

В условиях репрессивно-деспотических режимов Бакунин и его сподвижники делали ставку на создание *тайных организаций*, способных мобилизовать народные массы и подготовить в урочный час их вооруженное выступление. Такая тактика освободительной борьбы вовсе не нова. Она именуется *бланкизмом*, по имени французского революционера и социалиста-утописта Луи Огюста Бланки (1805—1881), почти половину жизни проведенного в тюремном заключении за подготовку заговоров и осуществление (во всех случаях — неудачных) переворотов. Другой, еще более достойный, пример перед глазами — Гарибальди и его усилия по объединению Италии, где хорошо законспирированная работа прекрасно сочеталась с активными вооруженными выступлениями. Опыт средневековых рыцарских и религиозных орденов, плавно перешедших в разветвленную масонскую сеть, также не игнорировался. Все это нашло отражение и в программе «Альянса», написанной Бакуниным:

«<...> Революция, как мы ее понимаем, или, вернее, какой она неизбежно выдвигается ныне силой вещей, носит, по существу, международный или всеобщий характер. Перед лицом угрожающей коалиции всех привилегированных интересов и всех реакционных сил Европы, располагающих всеми ужасающими средствами, которые дает им умелая организация, перед лицом глубокого раскола, повсюду царящего теперь между буржуазией и рабочими, — никакая национальная революция не сможет добиться успеха, если она тотчас же не распространится на все другие нации; но она никогда не сможет перешагнуть границы одной страны и принять характер всеобщности, если в себе самой она не будет содержать всех элементов этой всеобщности, то есть если она не будет революцией откровенно социалистической, разрушающей государство и создающей свободу путем равенства и справедливости; ибо отныне ничто не сможет объединить, наэлектризовать, поднять великую, единственно подлинную силу века — рабочих, кроме лозунга полного освобождения труда на развалинах всех учреждений, стоящих на стороне наследственного землевладения и капитала. <...> Так как предстоящая революция может быть только всеобщей, Альянс, или — скажем прямо — заговор, который должен ее подготовить, организовать и ускорить, также должен быть таковым».

Безусловно, Бакунин осознавал слабость заговорщической тактики, указывал на ее многочисленные просчеты и

неудачи, подчеркивал (как это видно из приведенной цитаты), что без опоры на широкие рабочие и крестьянские массы любое восстание обречено на поражение. В противоположность «Альянсу» деятельность Интернационала была целиком и полностью направлена на *открытую* пропаганду своих программных установок и организацию различных политических акций. Естественно, такая стратегия и тактика, приемлемые для стран Западной Европы и Америки с вполне сформировавшейся буржуазной демократией, совершенно не подходили для России, где демократией и не пахло. Потому-то здесь и приходилось ориентироваться главным образом на нелегальную деятельность и создание тайных революционных ячеек.

Прирожденный подпольщик и конспиратор, Бакунин перенес накопленный им за многие годы опыт и на функционирование «Альянса социалистической демократии». Несмотря на заявления о его самороспуске, приносить священные принципы в жертву Марксову большинству члены «Альянса» не собирались.

«Социальная революция в том виде, в каком ее представляют себе, какой желают и на какую надеются латинские и славянские рабочие, — бесконечно шире той, которая обещана им немецкой, или марксистской, программой, — писал Бакунин. — У них речь идет не о мелочно-расчисленном освобождении рабочего класса, осуществимом лишь в течение очень долгих сроков, но о полной и реальной эмансипации всего пролетариата не только в отдельных странах, но у всех народов, как цивилизованных, так и нецивилизованных, — ибо новая, действительно народная цивилизация будет создана самим фактом этой всемирной эмансипации. И первым словом этой эмансипации будет *свобода*, не та политическая, буржуазная *свобода*, что провозглашается и восхваляется г[осподином] Марксом и иже с ним, как первый шаг к победе, но великая *свобода* человечества, *свобода*, которая, разбив все догматические, метафизические, политические и юридические оковы, ныне гнетущие мир, даст всему миру, — как сообществам, так и отдельным лицам, — полную автономию движения и развития, раз навсегда освободив их от всякого рода надзирателей, управителей и опекунов.

Вторым словом этой эмансипации будет солидарность. Не марксистская солидарность, организованная сверху вниз каким-либо правительством и предложенная, хитростью или силой, народным массам; не та солидарность всех, что является отрицанием *свободы* каждого в отдельности и тем самым становится ложью, фикцией; не та солидарность, кото-

рой оборотная сторона — рабство, но солидарность, которая является утверждением и осуществлением всякой *свободы*, которая проистекает не из какого-либо политического узаконения, но из самой коллективной природы человека, солидарность, смысл которой в том, что *ни один человек не свободен, покуда не свободны все окружающие его*, все оказывающие малейшее, прямое ли, косвенное ли, влияние на его жизнь. Эта истина прекрасно выражена в “Декларации прав человека”, обнародованной Робеспьером, где говорится, что рабство последнего из людей есть рабство человечества» (выделено мной. — В. Д.).

Очень скоро Международное товарищество рабочих дало трещину. Большинство секций поддерживало Маркса, меньшинство — Бакунина. Романские Италия и Испания, франкоговорящая часть Швейцарии (Юрская федерация), а также Бельгия и Голландия симпатизировали «русскому смутьяну», Англия, Германия, Франция (с оговорками), Скандинавские и ряд других европейских стран, а также США — приняли сторону Маркса. И та и другая сторона прекрасно понимали, что раскол обычно предшествует деградации и смерти, поэтому во что бы то ни стало пытались сохранить единство. Но это оказалось возможным лишь после изгнания из своих рядов конкурентов. Лучше это получилось у Маркса и Энгельса, сумевших противопоставить романской эмоциональности, импульсивности и несобранности трезвый немецкий расчет, организованность и дисциплину.

Первая проба сил произошла в сентябре 1869 года на Четвертом (Базельском) конгрессе Интернационала и закончилась вничью. Бакунин выступал здесь по вопросу о праве наследования (один из пунктов программы «Альянса») и был поддержан многими делегатами. Перед конгрессом марксисты попытались дискредитировать непокорного русского с помощью давно протухшего средства — обвинения в том, что он, дескать, является агентом царского правительства. Такую информацию поместила среди прочих и берлинская газета «Volksstaat», издаваемая сподвижником Маркса Вильгельмом Либкнехтом (1826—1900). Бакунин апеллировал к Базельскому конгрессу и одержал полную победу. Состоялся товарищеский суд, который обвинил Либкнехта в «преступном легкомыслии» и потребовал публичного извинения. Тот признал, что был введен в заблуждение, и протянул оклеветанному Бакунину руку для примирения. Михаил охотно пошел на мировую и, дабы доказать, что инцидент исчерпан, поджег перед всеми постановление товарищеского суда и прикурил от него папиросу.

К следующему, Пятому конгрессу, проходившему в Гааге в сентябре 1872 года, марксисты мобилизовали все силы, чтобы исключить Бакунина из Интернационала. И они добились своего главным образом путем предварительного организационного манипулирования: некоторые их делегаты получили дополнительные мандаты; например, Маркс имел три, а Энгельс два мандата (то есть голоса). Кроме того, было сделано все, чтобы в конгрессе не участвовали представители Итальянской федерации, к тому времени порвавшей с Генеральным советом. Утверждение мандатов заняло три дня из четырех, отведенных на работу конгресса, и лишь в последний день делегаты смогли перейти к обсуждению повестки дня.

На конгрессе работала следственная комиссия из пяти человек, которую возглавлял друг Маркса и Энгельса Теодор Куно (1846—1934). Она рассмотрела представленные документы и большинством голосов (три против двух) вынесла решение об исключении Бакунина из Интернационала. Против проголосовали испанские делегаты, причем дело не ограничилось дебатами. Один из испанцев достал револьвер, направил его на председателя комиссии и с криком: «Такой человек заслуживает, чтобы его пристрелили!» — чуть было не использовал оружие по назначению, но был вовремя остановлен другими членами комиссии. После того как конгресс утвердил решение комиссии, ни один русский представитель не считал возможным остаться на его заседании.

Исключение Бакунина больше походило на расправу. В докладе комиссии по данному вопросу черным по белому написано, что она руководствовалась *не столько фактами, сколько моральным убеждением*, и попросила конгресс выразить ей доверие на сей счет. Франц Меринг, проанализировавший в биографии Маркса все аспекты «бакунинского дела», пришел к выводу: «заключительная сцена» Гагского конгресса безусловно недостойна имени Интернационала. Постановление комиссии, принятое под колоссальным нажимом, было нелегитимным и вообще не имело юридической силы, хотя бы еще потому, что один из ее членов оказался провокатором, посланным на конгресс с единственной целью — дестабилизировать его работу. Ни один из пунктов обвинения не был доказан на основе неопровержимых фактов и документов, большая часть из них была сфальсифицирована Николаем Утиным (о нем речь пойдет ниже). Причем персональная ответственность за подобную недобросовестность, как не побоялся сказать правоверный марксист Меринг, лежала лично на Марксе. Единственное, что можно было поставить в вину Бакунину — это его «бузотерство» (слова Мерин-

га), сверхактивность, широту русской души, мало совместимой с европейской чопорностью, и, к великому сожалению, «антисемитизм», который «русскому медведю» никак не могли простить евреи, составлявшие значительную часть делегаций (и в частности, самой представительной — немецкой)*.

Но победа Маркса оказалось пирровой. Он понимал, что позиции марксистов пошатнулись и на следующем конгрессе они вряд ли получат поддержку большинства. Симпатизировавшие Бакунину французские бланкисты открыто возмущались тем, что его исключили из Интернационала, и могли в любой момент взять державшуюся на компромиссе власть в свои руки. (Их вождь, находившийся в заключении, не прочитал ни одной работы Маркса, зато вскоре был избран почетным председателем Парижской коммуны.) Поэтому марксисты хотели перенести штаб-квартиру Генерального совета из Европы в Америку. Несмотря на противодействие многих делегатов, Гаагский конгресс принял соответствующее решение, и штаб-квартира совета была переведена в Нью-Йорк.

Но и сторонники Бакунина не сложили оружия. Через несколько дней они провели свой конгресс в швейцарском городе Сент-Имье. При этом они очень удачно использовали резолюцию о переводе руководящих структур Международного товарищества рабочих в Нью-Йорк, объявив, что тем самым организация во главе с Марксом утратила всякую связь с европейским рабочим и революционно-освободительным движением и может считаться ликвидированной. Действительным же наследником и правопреемником Интернационала, согласно решению альтернативного конгресса, должна быть признана группа, оставшаяся на европейском континенте во главе с Бакуниным. За ним пошли

* Вот одно из характерных высказываний Бакунина по данному поводу из письма Альберу Ришару от 1 апреля 1870 года, которое обычно расценивается как антисемитское: «Либкнехт... <...> опубликовал против нас статью одновременно глупую и подлую, написанную пройдохой, которого зовут Боркгейм, маленьким евреем, орудием Маркса. Заметь, что все эти наши враги, все эти шавки — евреи: Маркс, Тесс, Боркгейм, Либкнехт, Якоби, Вейсс, Кон, Утин и мн[огие] другие — евреи. Все они принадлежат к этой предприимчивой, интриганской, эксплуататорской и буржуазной нации — по традиции и по инстинкту. Маркс, самый достойный среди них, обладает большим интеллектом, но в то же время следует признать, что он совершенно неуживчивый человек, отвратительный характер, тщеславный, раздражительный, завистливый, подозрительный, скрытный, вероломный, способный на все и интриган донельзя, как, впрочем, все евреи. Я начал серию писем в ответ всем этим еврейским и немецким шавкам. Я хочу покончить с ними...» Резко? Безусловно! Впрочем, мало чем отличается от русофобских заявлений Маркса типа: «Ни одному русскому я не верю...»

испанская, итальянская, английская, бельгийская, голландская и романоязычная швейцарская делегации. С этого момента и на протяжении пяти лет в мире действовали две, по существу равноправные, организации — марксистская и бакунистская. Деятельность последней внешне выглядела даже более успешной, ибо ей удавалось почти ежегодно проводить представительные международные конгрессы, в то время как перебазирувавшийся в США Генеральный совет за то же время не смог собрать ни одного.

Бакунистское Международное товарищество рабочих и просуществовало дольше марксистского. Через пять лет, в 1881 году, анархисты на своем съезде в Лондоне провозгласили создание «Черного Интернационала». Тогда же у международного анархизма появился новый лидер — русский революционер Петр Алексеевич Кропоткин (1842—1921). Как и Бакунин, он был потомственным дворянином, к тому же еще и князем*, что не помешало ему стать выдающимся ученым-географом и путешественником, прежде чем он стал лидером мирового анархизма. Кропоткин никогда не встречался с Бакуниным, хотя и бывал в Швейцарии после своего легендарного бегства из Петропавловской крепости, когда «отец анархии» был еще жив. И тогда, и позже имя пламенного революционера было постоянно на слуху. Однако говорили о нем не как о вожде, слово которого закон, а как о друге и товарище, называя его независимо от возраста просто по имени — Мишель.

«Поразило меня больше всего то, — пишет Кропоткин, — что нравственное влияние Бакунина чувствовалось даже сильнее, чем влияние его как умственного авторитета. В разговорах об анархизме или о текущих делах федерации я никогда не слыхал, чтобы спорный вопрос разрешался ссылкой на авторитет Бакунина. Рабочие никогда не говорили: “Бакунин сказал то-то” или: “Бакунин думает так-то”. Его

* Более того, Кропоткин принадлежал к княжескому роду Рюриковичей. В данной связи нельзя не отметить тяги дворянской элиты к анархизму (вопреки бытующему мнению о нем как идеологии люмпенизированного населения и деклассированных слоев общества). Лев Толстой, которого еще при жизни отнесли к разряду *религиозных анархистов* (за что, собственно, он был отлучен от церкви), как хорошо известно, был графом. Крупнейший русский мыслитель XX века Николай Бердяев, также принадлежавший к старинному аристократическому роду, указывал в своих философских мемуарах «Самопознание» на присущий ему от рождения «природный анархизм», склонность к бунтарству и отвращение ко всякому государству и любой форме власти. Что касается деклассированных элементов, то в описываемый период среди приверженцев Бакунина представителей рабочего класса было ничуть не меньше, чем среди последователей Маркса.

писания и изречения не считались безапелляционным авторитетом, как, к сожалению, это часто наблюдается в современных политических партиях. Во всех тех случаях, где разум является верховным судьей, каждый выставлял в спорах свои собственные доводы. Иногда их общий характер и содержание были, может быть, внушены Бакуниным, но иногда и он сам заимствовал их от своих юрских друзей. Во всяком случае, аргументы каждого сохраняли свой личный характер. Только раз я слышал ссылку на Бакунина как на авторитет, и это произвело на меня такое сильное впечатление, что я до сих пор помню во всех подробностях, где и при каких обстоятельствах это было сказано. Несколько молодых людей болтали в присутствии женщин не особенно почтительно о женщинах вообще.

— Жаль, что нет здесь Мишеля! — воскликнула одна из присутствовавших. — Он бы вам задал! — И все примолкли.

Они все находились под обаянием колоссальной личности борца, пожертвовавшего всем для революции, жившего только для нее и черпавшего из нее высшие правила жизни. <...>».

Анархистский «Черный Интернационал» никогда не имел необходимого авторитета на международной арене, чего нельзя сказать о Втором (Социал-демократическом) интернационале, учрежденном в Париже 14 июля 1889 года, ровно через сто лет после взятия Бастилии. Под именем Социалистического интернационала (Социинтерна) он существует и поныне. Кроме того, в истории международного рабочего движения известен Третий (Коммунистический) интернационал, основанный в 1919 году В. И. Лениным и распущенный в 1943 году И. В. Сталиным*.

Подводя итог беспрецедентной борьбы за лидерство в Первом интернационале, Франц Меринг отмечал: «Бакунин... заслужил более отрадную смерть и более почетную память, чем сохранили о нем если не весь рабочий класс, то все же многочисленные круги этого класса, за интересы которого он так мужественно боролся и так много страдал. При всех недостатках и слабостях Бакунина история обеспечит ему почетное место среди передовых борцов международного пролетариата — вопреки тому, что это почетное место будут оспаривать всегда, пока есть на земле филистеры, все равно, натягивают ли они себе на длинные уши полицейский ночной колпак или стараются скрыть свои трясущиеся кости под львиной шкурой Маркса».

* В настоящее время в виде нескольких обособленных организаций существует еще и Четвертый (Троцкистский) интернационал, учрежденный в 1938 году в Париже.

Между тем Маркс и Энгельс вместе и порознь продолжали критиковать Бакунина и его соратников. Особо выделяется их совместный труд под названием «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих» (1873 год), написанный при участии зятя Маркса — Поля Лафарга. Карл Маркс даже форсировал изучение русского языка, дабы в подлиннике прочитать работу Бакунина «Государственность и анархия». (Ее подробный конспект с многочисленными выписками по-русски и критическими замечаниями, составленный в 1874—1875 годах, сохранился и неоднократно публиковался.)

Разоблачительную и недоброкачественную информацию Генеральному совету Интернационала в изобилии поставлял некто Николай Исаакович Утин (1841—1883), пользовавшийся расположением Маркса и Энгельса. Это был профессиональный интриган и фальсификатор. Сын водочного миллионера-выкреста, он в начале 1860-х годов участвовал в студенческих волнениях и, спасаясь от полиции, оказался за границей, в Швейцарии, где и познакомился с Бакуниным. Отношения между патриархом революционного движения и молодым эмигрантом не сложились с самого начала, хотя некоторое время им пришлось сотрудничать. Вот мнение об Утине самого Бакунина, которое разделяли и другие русские изгнанники (в частности, Герцен и Огарев):

«Он произвел на меня самое странное впечатление — впечатление тщеславно-беспокойного жидка, лезущего из кожи для того, чтобы сделать себя во что бы то ни стало и каким бы то ни было средством известным. <...> Прежде всего поразили меня его драматизм, фразерство, а потом его непроходимая бестолковость. Редко я встречал в человеке такое отсутствие простоты в мысли, в чувстве, в слове и в деле. Вечно преследуемый мыслью о самом себе, этот несчастный человек в самых обыденных поступках и малейших проявлениях своей страдальчески-исковерканной личности силится доказать себя и себе, и другим; он не умеет ни есть ни пить просто; не может позабыть ни на одну минуту, что он страшный революционер и конспиратор, неутомимый террорист и, вместе с тем, человек, обрешивший себя на великий подвиг и на высокую жертву, на мучение, на верную гибель для спасения человечества вообще и России в особенности. Эта фраза, перешедшая в него, вероятно, вместе с восточную кровью, воплотилась во всем его существо. Она делает его в одно и то же время беспрестанным мучеником и комедиантом и — увы — неутомимым интриганом. Вечное

позирование, рисование и становление себя на подмостки, тщеславные и пустозвонно-великодушные речи, одним словом, весь этот выпендренный и комический драматизм маленького человека, тщетно силящегося сделаться чем-нибудь, действует отталкивающим образом на всякого серьезного человека, особенно на мужчин; но зато нередко производит действие обаятельное на женщин, ищущих впечатлений и содержания. Вот почему у г-на Утина приверженцев немного, но зато есть с полдюжины поклонниц, принимающих его мишуру за чистое золото и приносящих ему немалую пользу. Посредством их распространяет он свои клеветы, составляя сети свои, ловит новых людей и сооружает себе пьедесталик...»*

Именно Утину удалось отстранить Бакунина от руководства журналом «Народное дело» после выхода первого номера. И это он, Утин, на протяжении длительного времени поставлял Марксу и Энгельсу разного рода фальшивки и сплетни, касающиеся российского революционного движения. Его разлагающая деятельность внутри русской эмиграции была настолько успешной и эффективной, что заслужила высокую оценку российской охранки и правительства. Странная карьера Утина завершилась его личным обращением к царю с просьбой о помиловании. Получив его, он вскоре вернулся в Россию, где стал официальным военным поставщиком во время Русско-турецкой войны 1877 года и в результате финансовых афер приумножил миллионы, доставшиеся ему от отца. Так что в данной ситуации интуиция подвела не Бакунина, а Маркса.

Точно такими же аферами — только политическими — Утин занимался в Интернационале, где даже ухитрился организовать и возглавить Русскую секцию. Особенно успешно ему удавалось подливать масла в огонь борьбы между Бакуниным и Марксом, в результате чего она делалась все более и более ожесточенной. В частности, Утин убедил Маркса, что провокационные документы и письма, касающиеся перевода и издания на русском языке первого тома «Капитала», написаны не Нечаевым (как это было на самом деле), а Бакуниным. Бакунин действительно взялся за перевод главного труда Маркса и даже получил от издателя задаток — 300 рублей (треть от всей договорной суммы). Пере-

* Дополнительную характеристику Утину Бакунин дает в письме Альберу Ришару: «Это мелкий честолюбец худшего сорта. <...> Ума у него нет, он не способен сформулировать ни одной мысли, но он не лишен известного интриганского искусства, он льстив, проницателен и неутомим в интриге».

вод не заладилась с самого начала — отчасти из-за дефицита времени, отчасти из-за колоссального объема и сгущенной абстрактности материала, который предстояло перевести (в письме Герцену он назвал научное детище Маркса «экономической метафизикой»). Кроме того, непонятным казалось пристрастие Маркса к цитированию устаревших газетных статей и обильным статистическим данным. Бакунин давно уже разочаровался в теоретической философии и при случае вспоминал собственный давний афоризм: «Кто опирается на абстракцию, тот и умрет в ней». Революцию с помощью абстракций (или в абстрактной сфере) не совершить. Для ее осуществления и победы нужны ружья, пушки, боеприпасы, самоотверженность тысяч бойцов и воля талантливых командиров.

Но условия издательского контракта необходимо было выполнять. Тем более что и Маркс ревниво следил за графиком работ и считал дни, оставшиеся до их завершения. Вот тут-то и появился Сергей Нечаев, сыгравший в этом деле крайне негативную роль. Он также считал, что издание «Капитала» на русском языке вряд ли приблизит революцию в России и Бакунин должен сосредоточить все свои силы не на рутинном переводе, а на подготовке прокламаций: ими Нечаев со своими сторонниками — будущими боевиками — намерен был наводнить Российскую империю. Издание же «Капитала» не отменялось вовсе, а несколько сдвигалось по времени. Нечаев быстро нашел нового переводчика и брался урегулировать все финансовые вопросы. И урегулировал, но только своими «нечаевскими» методами. Он припугнул издателя, продемонстрировав для пушей убедительности револьвер и предложив забыть и о выданном авансе, и о сроках выполнения контракта.

Ничего этого Бакунин не знал. В чем можно было обвинить его лично, так это в излишней доверчивости, от которой страдал всю жизнь. В ту пору он полностью доверял (разве он один?) Нечаеву и был только рад, что тому так быстро удалось разрешить столь деликатное дело. Но спустя некоторое время Маркс предъявил комиссии Гаагского конгресса документ, полученный им от Утина и якобы написанный от имени мифического «революционного комитета», где содержались угрозы и шантаж в адрес русского издателя «Капитала» на тот случай, если тот вознамерится настаивать на возвращении задатка, выданного Бакунину. «Документ», шитый белыми нитками, скорее всего был написан самим Утиным. Впоследствии он исчез из «следственного дела».

Франко-прусская война 1870—1871 годов, в результате которой Франция потерпела сокрушительное поражение, породила у Бакунина новые надежды на активизацию революционного движения в Европе. Его симпатии целиком и полностью были на стороне оккупированной Франции*. При этом ему представлялось, что создавшаяся ситуация благоприятствует не только всенародному сопротивлению захватчикам, но и перерастанию крупномасштабной военной схватки двух империалистических держав в гражданскую войну в самой Франции. В этом русский революционер видел ее спасение. Он писал: «<...> Кроме искусственной государственной организации, в стране есть только народ; *стало быть, Франция может быть спасена только непосредственным действием, не политическим, [а] народа* — массовым восстанием всего французского народа, организующегося стихийно, снизу вверх, для разрушения, для дикой войны на ножах».

* «Франция, — писал он, — эта великая нация, которую ощущение своего действительного исторического величия часто толкало на безрассудные и преступные безумства, но которая, несмотря на эти временные уклонения и на эти злополучные увлечения самонадеянной силы, до сих пор всем миром справедливо признавалась естественным вождем и благородным инициатором всего человеческого прогресса и всех завоеваний свободы; эта Франция, вся история которой в 1789—1793 годах была не чем иным, как энергичным протестом и непрерывной борьбой света с мраком, человеческого права с ложью, божественного права и юридического права, демократическо-социальной всемирной республики с тиранической коалицией королей и эксплуатирующих и привилегированных классов; эта Франция, с которой еще и ныне связаны все надежды угнетенных наций и поработанных народов, гибнет на наших глазах». И еще: «Мир настолько привык следовать инициативе Франции, видеть ее всегда смело идущей впереди, что и теперь, когда она, раздавленная бесчисленными армиями и преданная всеми своими официальными властями, равно как явной немощью и глупостью всех своих буржуазных республиканцев, весь мир, все нации Европы, изумленные, встревоженные, подавленные ее видимым упадком, все еще ждут от нее своего спасения. Они ждут от нее сигнала к освобождению, лозунга, примера. Все взоры обращены... на Париж, Лион, Марсель. Революционеры всей Европы тронутся не прежде, чем тронется Франция. <...> Таково еще и в настоящее время, несмотря на все ее несчастья, а, может быть, именно благодаря этим ужасным несчастьям, впрочем, вполне заслуженным, — таково еще и теперь и даже в большей степени, чем когда-либо, великое положение революционной Франции. От смелого водружения и от успеха ее знамени мир ждет своего спасения». «Если Франция будет побеждена, — неоднократно повторял Бакунин в эти дни, — то перспективы революции в Европе будут отодвинуты минимум на полвека». Он ошибся не намного — Октябрьская революция в России свершилась спустя сорок четыре года после капитуляции Франции и гибели Парижской коммуны.

И конкретизировал свою мысль, обращаясь к французским патриотам: «Нет, дорогие друзья, Франция не погибнет, если вы не хотите погибнуть сами, если вы люди, если вы обладаете темпераментом, если в сердце вашем есть настоящая страсть, — если вы хотите ее спасти. Вы не можете больше спасти ее путем общественного порядка, государственной силой. Все это, благодаря пруссакам, — я говорю это, как истинный социалист, — теперь одни развалины. Вы не можете даже спасти ее путем революционного усиления политической власти, как это сделали якобинцы в 1793 году. Так спасите ее путем *анархии*. Разнуздайте эту народную анархию как в деревнях, так и в городах, разверните ее во всю ширь так, чтобы она катилась как бешеная лава, снося и разрушая на своем пути все: всех врагов и пруссаков. Это геройский и варварский способ, я знаю. Но это последний и отныне единственно возможный способ. Вне его нет спасения для Франции. Так как все нормальные силы разложились, ей остается только отчаянная и дикая энергия ее детей, — которые должны выбрать или рабство, — путь буржуазной цивилизации, или свобода, — путь свирепой борьбы пролетариата». «И когда пробьет час революции, — обращался «отец анархии» к своим единомышленникам, — [вы провозгласите] ликвидацию государства и буржуазного общества, вместе со всеми юридическими отношениями; [вы провозгласите] анархию, то есть подлинную, открытую народную революцию, анархию юридическую и политическую и экономическую организацию победоносного мира трудящихся снизу вверх и от периферии к центрам. <...> Так или иначе революция, революция делается неизбежной — сначала во Франции и Италии, а затем в той или иной степени повсюду! Да здравствует революция!»

Конечно, призыв к стихийной и массовой поножовщине сегодня заставит содрогнуться каждого, кто представляет ужасы гражданской войны. Уже в XIX веке они привели к морю крови и горам трупов во время войны Севера против Юга в США или при расправе с защитниками Парижской коммуны. Но следующий, XX век затмил предшествующие события воистину иррациональными масштабами ничем не оправданных смертей безвинных людей во время бесчисленных гражданских войн. Россия, Мексика, Испания, Кампучия, Ангола, Мозамбик, Эфиопия, Сомали, Афганистан — вот далеко не полный перечень стран, где рекомендованный Бакуниным иллюзорный способ построения «справедливого общества» обернулся (прежде всего для народных масс) бесчисленными бедами и невзгодами.

Разрабатывая планы революционного восстания во Франции, Бакунин опирался на существовавшие в различных городах ячейки сочувствовавших ему активистов, в основном молодежи. В письме от 7 февраля 1870 года к одному из своих французских сподвижников, Альберу Ришару, он с восхищением отмечал: «Ах! мой дорогой, как эти ребята работают, какая дисциплинированная и серьезная организация и какая мощь коллективного действия, где все личности стираются, отказываются даже от своего имени, от своей репутации, от всякого блеска, от всякой славы, принимая на себя лишь риски, опасности, самые суровые лишения, но в то же время сознавая, что они сила, что они действуют. <...> Личность исчезла, а на месте личности — невидимая, неведомая, вездесущая рать, действующая повсюду, каждый день умирающая и каждый день возрождающаяся, их хватают десятками, они возрождаются сотнями; гибнут личности, но рать бессмертна, и мощь ее растет с каждым днем, ибо она пустила глубокие корни в мире черных рук и черпает из этого мира бесчисленное множество рекрутов. Вот та организация, о которой я мечтал, мечтаю до сих пор и которую хотел бы видеть у вас...»

(Обращаю внимание на первейший принцип всякой революционной организации, как его понимал Бакунин: *дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина* — вот такая в общем и целом получается анархия. — В. Д.) На алтарь *революционного коллективизма* Бакунин в любое время готов был положить и собственный авторитет. В том же письме Альберу Ришару он отмечал: «Не пишешь ли ты мне, что если я того пожелаю, то смогу сделаться Гарибальди социализма? Очень мне надо сделаться Гарибальди, да и вообще играть роль! Дорогой мой, я умру, и меня съедят черви. Но я хочу, чтобы наша идея восторжествовала. <...> Для торжества этой идеи я хочу не выставления, более или менее драматического, моей собственной персоны, я хочу не моей власти, а нашей власти, — власти нашего коллектива, нашей организации, нашего коллективного действия, ради которых я первый готов отказаться от своего имени, от своей личности, вычеркнуть их. Дорогой мой, время исторических и блестящих личностей прошло, и тем лучше. В этом истинный залог торжества демократии...»

Бакунин решил действовать по такой схеме: в условиях полной неразберихи и замешательства (точнее — шока), вызванных победой прусской армии и ее быстрым продвижением вглубь французской территории, побудить народные массы к всеобщему восстанию — сначала во Франции,

а затем в Испании, Италии и франкоговорящей части Швейцарии. Такая тактика, рассчитанная на внезапность, должна была привести, по расчетам «апостола мировой революции», к ликвидации государства как такового и послужить сигналом к священной народной войне против прусских оккупантов. Достаточно одной искры, чтобы огонь охватил всю Францию, с тем чтобы вскоре быстро превратиться в мировой пожар. К миссии «поджигателя» Бакунин был готов давно. Он искренне верил: в урочный час и в урочном месте его пламенное слово зажжет многотысячные толпы, от которых революционный энтузиазм перекинется на миллионы. Оставалось только ждать подходящего момента.

4 сентября 1870 года, через три дня после разгрома французской армии под Седаном и сдачи на милость победителя императора Наполеона III, в Париже вспыхнуло восстание, свергнувшее монархию и провозгласившее республику. Революционные выступления прокатились по всей стране. Особенно стремительно и бурно ситуация развивалась в Лионе, Марселе и Тулузе. Лион — крупнейший промышленный центр, а в XIX веке — еще и второй (в настоящее время — третий) по величине город Франции, негласно считавшийся ее второй столицей. Здесь при первом же известии о революции рабочие и представители других слоев населения захватили городскую ратушу и подняли на ней красный флаг*. В тот же день образовался Комитет общественного спасения, взявший всю полноту власти в свои руки. С точки зрения Бакунина, это в корне противоречило его антигосударственной модели дальнейшего развития революционной ситуации во Франции и распространения стихийного народного бунта, если не на всю, то, по крайней мере, на Южную и Юго-Западную Европу.

В Лионе у Бакунина было несколько сподвижников (среди них Альбер Ришар), они призывали его срочно включиться в организационную и агитационную работу. Заняв деньги на дорогу, Бакунин 9 сентября 1870 года выехал из Швейцарии во Францию и 15 сентября прибыл в Лион. Повсюду на оккупированных территориях мародерствовала прусская солдатня, а в самой столице политики-республиканцы никак не могли поделить власть и судорожно иска-

* Кстати, черные флаги, ставшие впоследствии символом анархистов, впервые появились именно в Лионе. В 1831 году восставшие лионские ткачи вышли на улицы города под черными знаменами и провозгласили знаменитый лозунг: «Жить работая или умереть сражаясь!»

ли компромисса с ненавистным врагом. Ибо еще большую смертельную опасность французская буржуазия видела в собственном народе: стихийное выступление широких масс могло произойти в любое время. Сформированное в Париже так называемое «правительство национальной обороны» безуспешно пыталось организовать сопротивление пруссакам с помощью деморализованной регулярной армии и всячески тормозило развертывание крупномасштабного партизанского движения, боясь дать народу оружие, которое он в любой момент мог повернуть (и обязательно повернул бы) против собственных национал-предателей и либерал-оборонцев.

По прибытии в Лион Бакунин остановился на конспиративной квартире своего давнего друга портного Луи Паликса и немедленно приступил к объединению антибуржуазных и антиправительственных сил. Он провел несколько собраний патриотов-интернационалистов, на которых объяснил им свое видение развития революционной ситуации. Затем на грандиозном митинге был образован Центральный комитет спасения Франции, призванный объединить революционно-демократические силы всей страны (и как минимум — отеснить на задний план буржуазную исполнительную власть в Лионе). Большинство комитета были сторонниками Бакунина, разделявшими его идеи о скорейшем развертывании революции во Франции и сопредельных с ней странах. Ближайшей целью было объявлено создание «революционных коммун» по всей стране и распространение их влияния от периферии к центру (а не наоборот!).

Сам Бакунин, как иностранец, официально не входил ни в какие политические структуры, но был, как теперь принято выражаться, *неформальным лидером движения*: принимал активное участие в организационной работе, в демонстрациях, митингах, в подготовке программных документов и агитационных материалов. На митинге 26 октября бакунинский Центральный комитет спасения Франции объявил о создании Революционной федерации коммун Французской республики и принял написанную Бакуниным программу радикального переустройства всей страны. (В письме к Огареву он сообщил, что идет ва-банк: «Я иду на пан или пропал. Надеюсь на близкое торжество».) Отпечатанную на красной бумаге программу расклеили в виде листовок по всему городу. Часть листовок отправили в провинцию. «Красная афиша», как ее прозвали, по сей день считается одним из самых выразительных документов революционно-демократического движения второй половины XIX века:

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА. РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОММУН

Плачевное положение, в котором находится страна, бессилие официальных властей и индифферентизм привилегированных классов привели французскую нацию на край гибели. Если революционно-организованный народ не поспешит действовать, то его будущее погибло, революция погибла, все погибло. Взвесив размеры опасности и принимая во внимание, что нельзя ни на минуту откладывать отчаянного выступления народа, делегаты федерированных Комитетов Спасения Франции совместно с Центральным Комитетом предлагают немедленно принять следующее решение:

Статья 1. Административная и правительственная «государственная машина», ставшая бессильной, упраздняется. Французский народ возвращает себе полноту прав.

Статья 2. Все уголовные и гражданские суды закрываются и заменяются народным правосудием.

Статья 3. Уплата налогов и ипотек прекращается. Налоги заменяются взносами федерированных коммун, взимаемыми с богатых классов соразмерно потребностям Спасения Франции.

Статья 4. Распавшееся государство не может впредь вмешиваться в платеж частных налогов.

Статья 5. Все существующие муниципальные организации распускаются и заменяются во всех федерированных коммунах Комитетами Спасения Франции, которые будут осуществлять все виды власти под непосредственным контролем народа.

Статья 6. Каждый комитет губернского города пошлет двух делегатов, которые все вместе составят революционный Конвент Спасения Франции.

Статья 7. Этот Конвент немедленно соберется в ратуше Лиона, как второго города Франции и более всех других способного энергично озаботиться защитой страны.

Этот Конвент, опираясь на весь народ, спасет Францию. К оружию!!!

(Под прокламацией стояло 26 подписей, включая бакунинскую.)

Поначалу казалось, что судьба благоволит Бакунину и его сподвижникам. Ввиду хозяйственной и финансовой разрухи муниципальный совет Лиона принял решение о снижении поденной оплаты рабочим национальных мастерских (во Франции они создавались для преодоления безработицы). На эту меру властей было решено ответить многотысячной демонстрацией и митингом перед ратушей. У Центрального

комитета спасения Франции появилась блестящая возможность возглавить и направить в нужное русло стихийное выступление народных масс. Всю ночь шло подготовительное собрание. Первым на нем выступил Бакунин. Он настаивал на том, чтобы все участники манифестации были вооружены, что позволило бы немедленно перейти от слов к делу и захватить ратушу. Однако большинство членов Центрального комитета это предложение не поддержало.

Утром 28 сентября центральную площадь Лиона заполнили тысячи рабочих и горожан с красными знаменами. Одновременно началась агитация в казармах национальной гвардии, многие солдаты и офицеры стали склоняться на сторону народа. На площади толпа, возбужденная энергичными призывами, оттеснила стражу и ворвалась в ратушу. Начался митинг. Часть ораторов выступала с балкона, другая переместилась в заполненный народом зал заседаний муниципалитета. Во время выступления Бакунина в ратуше в сопровождении вооруженной охраны появился мэр Лиона и приказал немедленно арестовать русского эмигранта и его французских соратников. Соппротивление казалось бесполезным, но в это время рабочие ринулись на защиту своих вождей, разоружили национальных гвардейцев и освободили арестованных. Правда, за время краткосрочного ареста гвардейцы успели обобрать Бакунина, лишив его бумажника со всеми деньгами и записной книжки с важными адресами и заметками.

На какое-то время хозяином положения стал Центральный комитет спасения Франции. Бакунин убеждал товарищей арестовать разбежавшихся представителей власти и разоружить национальную гвардию, отказавшуюся принять сторону восставшего народа. Вместо этого они, как это обычно бывает в подобных случаях, занялись дележом «портфелей». Буржуазные республиканцы между тем не дремали. Подавляющее большинство вооруженных национальных гвардейцев оставалось на их стороне. Вскоре они плотным кольцом окружили заполненную народом площадь и вытеснили оттуда митингующих. Бакунин и его друзья оказались в ловушке. Через десять дней он так описывал в одном из писем произошедшее:

«Вы читали в газете... более или менее правдивый рассказ о нашей первой (и не последней) попытке в Лионе 28 сентября. Факт тот, что начало было великолепно. Мы были господами положения. Несмотря на сопротивление буржуазной национальной гвардии, мы овладели ратушей, нам помогал народ, сначала безоружный, а потом сбежавшийся с

оружием в руках. Почему мы не остались там? — спросите Вы. Виною этому отсутствие революционного опыта у нескольких наших друзей, которые развлекались революционными фразами в то время, когда надо было действовать и не слушать обещаний реакционеров, которые, видя себя побежденными, обещали все, а потом не выполнили ничего. А в особенности это вина генерала Кюзере, чтобы не сказать — его трусость и измена. Он принял от победоносного Комитета командование над ратушей и республиканскими гвардейцами, которые окружили ее массой и были за нас. Желая одновременно угодить и буржуям и народу, он позволил первым тайком пробраться в ратушу, тогда как республиканские гвардейцы, считая победу окончательной, начали расходиться. Таким образом, Комитет неожиданно увидел себя окруженным врагами. Я был там с друзьями и говорил им беспрестанно: «Не теряйте времени в пустых спорах, действуйте, арестуйте всех реакционеров. Разите реакцию в голову». Посреди этих речей я оказался окруженным буржуазными национальными гвардейцами под предводительством одного из самых ярых реакционеров Лиона, самого мэра, г-на Генона. Я отбивался, но меня потащили и заперли в какой-то дыре, порядочно потрепав меня. Час спустя батальон вольных стрелков, обратив в бегство буржуазных гвардейцев, освободил меня. Я вышел с моими освободителями из ратуши, где не было больше ни одного члена Комитета...»

Но вскоре разошлись и рабочие. Дело в том, что «отцы города» вовремя осознали свой просчет и отменили дискриминационное решение о снижении оплаты труда в национальных мастерских, о чем во всеуслышание объявили на площади. Страсти улеглись, и митингующие постепенно успокоились. Прокурор приказал арестовать Бакунина как иностранного смутьяна и одного из главных зачинщиков беспорядков. Тому пришлось срочно перейти на нелегальное положение, а на другой день тайно уехать в Марсель. В прощальном письме к Паликсу он писал: «Дорогой друг, я покидаю Лион с глубокой грустью и с мрачными предчувствиями. Я начинаю думать теперь, что Франция погибла. Она делается вассальным княжеством Германии, и ее голос, некогда столь мощный, этот голос, возвещавший свободу всему миру, не будет пользоваться никаким влиянием в советах Европы. Место ее живого и реального социализма займет доктринерский социализм немцев, которые будут говорить только то, что позволят им сказать прусские штыки, вернувшиеся домой после победы. Бюрократический и военный

разум Пруссии в союзе с кнутом петербургского царя водворят спокойствие и общественный порядок на всем континенте Европы, по крайней мере, на 50 лет. Прощай свобода, прощай социализм, справедливость для народа и торжество человечности! Все это могло бы выйти из современного разгрома Франции, и все это вышло бы из него, если бы французский народ, если бы лионский народ этого захотел. Но не будем больше об этом говорить. Совесть моя подсказывает мне, что я исполнил свой долг до конца. Мои лионские друзья также знают это, а до остального мне дела нет...»

Скрываясь в окрестностях Марселя и ожидая революционного выступления трудящихся (в случае, если вражеские войска приблизятся к городу), Бакунин продолжил работу над книгой «Кнутогерманская империя и социальная революция», которую начал еще в Лионе.

Позже Бакунин назовет «Кнутогерманскую империю» (к сожалению, оставшуюся незавершенной) своим *духовным завещанием*. В самом деле, в определенной степени здесь обобщены его теоретические выводы и опыт, накопленный за время революционной деятельности в Италии, Швейцарии и Франции. В Марселе он пробыл недолго: отсутствие средств к существованию требовало возвращения в Швейцарию. Обратный путь не обошелся без приключений. Под покровом ночи его, загримированного, вывезли на лодке в открытое море, где он пересел на пароход, идущий в Геную, и уже оттуда отправился в Локарно.

Между прочим, в своих прогнозах Бакунин не ошибся: в конце октября в Марселе произошло восстание рабочих, которые с красными знаменами бросились на штурм городской ратуши, практически без боя захватили ее и провозгласили коммуну. Это стихийное выступление было вызвано известием о капитуляции Рейнской армии под Мецем, что открывало путь прусским войскам вглубь Франции. Марсельская коммуна просуществовала несколько дней: у рабочих не было лидеров, способных возглавить и повести за собой массы.

Вслед за Марселем вновь восстал Лион, но и здесь революционное выступление захлебнулось по той же самой причине. Быть может, если бы Бакунин не покинул Францию, события развивались бы по совершенно иному сценарию. Его энергии вполне хватило бы, чтобы воспламенить народ, а харизма прирожденного лидера и вождя способна была обеспечить должную организацию масс. Но он уже не успевал ни в Марсель, ни в Лион. Сумел только предупредить,

что в одиночку ни одна из новообразованных коммун — ни Марсельская, ни Лионская, ни Парижская — ничего сделать не в состоянии и обречены на гибель. Победа возможна лишь при объединении всех усилий.

На случай успеха Бакунин еще до падения бонапартистского режима Наполеона III подготовил проект декрета*, регламентирующего постреволюционную жизнь во Франции; его первая статья гласила: «Революционные коммуны Парижа, Лиона, Марселя, Лиля, Бордо, Руана, Нанта и пр., приготовив солидарно и направив революционное движение для низвержения императорской тирании, объявляют, что они не считают свою задачу оконченной прежде, чем они обеспечат революцию применением принципов равенства, которые они исповедуют. Вследствие этого они соединяются федеративно, становятся на время авторитарными и предпринимают следующее...»: (далее идут еще четырнадцать основных и пять дополнительных конституционных статей будущей «безгосударственной» Французской социалистической республики).

* * *

В ту пору Бакунин много занимался философией. Но уже не той, что четверть века назад. Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель и даже Фейербах были давно пройденным этапом. Будущее философии бывший гегельянец видел не в абстрактных и спекулятивных конструкциях, а в единстве теории и практики, любознательности и естествознания. На тех же позициях, как известно, стоял и Герцен, однако в отличие от него Бакунин больше ориентировался на набиравший силу *позитивизм*, основоположником которого считался Огюст Конт (1798—1857). Однако было бы неправильно назвать философскую позицию Бакунина чисто позитивистской; в его мировоззрении по-прежнему доминировали диалектика и материализм, а в более широком плане — даже и *пантеизм*.

* В целом же к управлению при помощи декретов Бакунин относился отрицательно. Известно его недвусмысленное высказывание на сей счет: «Я решительный враг революции путем декретов, которая есть следствие и применение идеи революционного государства, — т. е. реакции, скрывающейся за внешним обликом революции. Системе революционных декретов я противопоставляю систему революционных дел, единственно действительную, последовательную и верную. Авторитарная система декретов, желая навязать свободу и равенство, разрушает их. Анархическая система действий вызывает и создает их неминуемо, вне всякого вмешательства какой-нибудь официальной или авторитарной силы».

Наиболее наглядно это выразилось в обширном трактате, при жизни автора не опубликованном и получившем название «Философские рассуждения о божественном призраке и действительном мире человека».

Бакунин давно был атеистом, тем не менее относился к объективному миру пантеистически. Он даже готов был признать существование Бога при условии, что таковым будет считаться Природа. Дабы не возникало никаких двусмысленностей и недопониманий, он сформулировал свое *философское кредо*, или, как он еще его называл, *аксиому*: «Все, что есть, — существа, составляющие бесконечное целое мироздания, все вещи, существующие в мире, независимо от того, какова, впрочем, их общая природа как в отношении количества, так и в отношении качества, вещи, самые различные и самые сходные, большие и малые, близкие или очень отдаленные, — необходимо и бессознательно оказывает друг на друга непосредственно и прямо либо путем косвенных передач непрерывное действие и испытывает непрерывное противодействие; все это бесконечное количество особых действий и противодействий, совокупляясь в общее и единое движение, порождает и составляет то, что мы называем *жизнью, мировой взаимосвязью и причинностью, природою*. Для меня неважно, назовете вы это Богом, Абсолютом, если это вам нравится, лишь бы вы не придавали этому слову Бог иного смысла, нежели тот, который я только что уточнил: речь идет о *мировой, естественной, необходимой и действительной*, но ни в коем случае не о предопределенной, заранее обдуманной, предусмотренной *комбинации, о бесконечности особых действий и противодействий, которые непрерывно оказывают друг на друга все действительно существующие вещи*. Таким образом, определенная мировая взаимосвязь, Природа, рассматриваемая в смысле безграничного Мироздания, навязывается нашему уму как рациональная необходимость; но мы никогда не сможем охватить ее действительным образом, даже в своем воображении, и в еще меньшей степени можем ее распознать, ибо мы можем распознать только бесконечно малую часть Мироздания, которая проявляется при посредстве наших чувств. Что же касается всего остального, то мы его предполагаем, не имея даже возможности констатировать его действительное существование».

Почти в то же самое время Бакунин написал работу «Бог и государство» (известна в двух вариантах). Надо ли говорить, что к Богу здесь было столь же негативное отношение, как и к государству?..

Зимой 1871 года Бакунина в Локарно посетил разделявший его взгляды молодой русский студент, обучавшийся в Швейцарии, — Михаил Петрович Сажин, известный также под псевдонимом Арман Росс (1845—1934) и бывший членом бакунинского «Альянса социалистической демократии». Его рассказ о повседневной жизни своего великого учителя, написанный на склоне лет, стоит того, чтобы привести его полностью:

«В эту зиму Мишель (обыкновенно все мы называли Бакунина этим именем) в своих письмах ко мне звал меня приехать к нему, да я и сам очень хотел съездить и пожить с ним несколько дней, но все как-то не удавалось, задерживало то то, то другое. И вот вдруг Озеров (русский сподвижник Бакунина. — *В. Д.*) из Женевы сообщил, что Мишель очень бедствует и немного прихварывает. Это послужило сильным импульсом, и я дня через два-три поехал к нему, собрав среди молодежи франков, помнится, около полтора-раста, купив чаю и табаку фунта по два. Тогда еще не было железной дороги через Сен-Готард и приходилось ехать и по железной дороге, и на пароходе по четырехкантонному озеру, и в дилижансе, и, наконец, через самый Сен-Готард на санях, так как он был завален снегом. Все путешествие продолжалось полтора суток. Приехав в Локарно и оставив свой саквояж в конторе дилижансов, я отправился к Бакунину и пришел как раз к обеду. Мишель не ожидал меня, но очень доволен был моим приездом. Обед состоял из супа и жареной картошки. Я до сих пор помню очень отчетливо и ясно все, что я увидел и услышал, — так меня поразила беднота жизни его с семьей. Он занимал квартиру в две комнаты во втором этаже двухэтажного дома, очень маленького. Внизу жили хозяева. Между этими комнатами был коридор, который служил столовой и прихожей, потому что с лестницы ход был прямо в этот коридор. Одну комнату занимал Мишель, а другую — его жена с двумя маленькими детьми. Обстановка была самая убогая, мебелишка самая простая, так, в комнате его стояли: кровать, стол, три-четыре стула и сундук, в котором лежало белье, а единственная суконная черная пара висела на гвозде; были еще простые полки с книгами. И стол, и кровать, и табуретки, и стулья были простые, белые. Когда я передал чай, табак и деньги, Мишель расцеловал меня и позвал жену, которая, увидав все это на столе, громко сказала: “Ну, вот мы будем и с мясом. Надо сейчас же уплатить булочнику и мяснику, сколько можно, и тогда мы снова будем иметь у них кредит”.

Бакунин обычно после обеда, от 7 до 9 часов спал, затем

до 10—11 часов продолжалось чаепитие, после чего он работал до 3-х часов ночи, спал он от 3—4-х до 10 утра. В 12 часов ходил читать газеты, и затем до обеда я проводил с ним все время в разговорах. Он интересовался моей жизнью в Англии, расспрашивал о моих тамошних знакомых, о разговорах с ними, а когда перешли к Цюриху, то тут он старался выведать от меня решительно все, что я знал о каждом русском студенте или студентке. Через день-другой он снова возвращался к характеристике какого-либо лица, о котором уже говорилось раньше, и спрашивал о нем дополнительно. Когда он весной 1872 года приехал в Цюрих (он прожил здесь два-три месяца), он знал заочно от меня почти всех русских, учившихся в Университете и Политехникуме, и указывал мне мои ошибки в оценке их. Удивительная вещь — он обладал талантом скоро, близко и душевно сходить с людьми, когда эти люди казались ему полезными в революционном отношении. Я помню, что уже на другой день чувствовал себя с ним совершенно свободно и легко, точно таким же молодым и вполне равным себе. Ведь мне тогда было двадцать пять лет, а ему почти шестьдесят, да разве возможно сравнить его прошлую жизнь, богатую таким огромным опытом, его огромные знания и т. д. соответственно с моими, и тем не менее я несколько не чувствовал его безусловного превосходства. Когда он был в Цюрихе, то я то же самое наблюдал в отношениях его ко всей окружавшей его молодежи, а ведь тогда было несколько десятков лиц, и он со всеми был одинаков. Я прожил с ним тогда неделю, и это время до сих пор я помню очень хорошо, оно было для меня драгоценно. Он выведал от меня всю подноготную, да и я узнал многое, что меня интересовало в революционных делах Европы. До Парижской коммуны я заехал к нему еще один раз ненадолго, и мы встретились с ним, как старые близкие приятели; но полная интимность с ним и с его самыми близкими друзьями и соратниками наступила только после моего возвращения из Парижской коммуны, то есть летом 1871 года, так что “искус” мой продолжался почти год...»

Об упоминаемых Сажиним детях Бакунина необходимо сказать особо. Ближайшее окружение Михаила Александровича считало, что их отцом на самом деле являлся приверженец Бакунина молодой итальянский адвокат Карло Гамбуцци. Нравы в тогдашней революционной среде — как российской или эмигрантской, так и иностранной — были достаточно свободными. Знаменитый роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», где достаточно мягко, но недву-

смысленно пропагандировалась свободная, любовь «новых людей» — русских революционеров, Антония Ксавьерьевна вряд ли читала. Да и кто станет жить по книгам? Сам Бакунин никогда не подтверждал, но и не опровергал циркулировавших вокруг жены слухов. У него самого в сибирской ссылке остался внебрачный сын, о котором, кроме факта его существования, к сожалению, ничего не известно.

Следует также принять во внимание, что в последнее десятилетие жизни здоровье Бакунина было сильно подорвано застарелыми болезнями и в интимных отношениях супругов наступило вполне естественное охлаждение. Тем не менее с Антосей у него до конца дней сохранялись теплые отношения. Детей, носивших его фамилию, он искренне любил. После смерти Бакунина его вдова сразу же вышла замуж за Гамбуцци, и следы ее с тех пор затерялись. Как рассказал мне исследователь родословной семьи Бакуниных В. И. Сысоев, сын Михаила Александровича Бакунина — Карл Михайлович Бакунин — в конце XIX века приезжал в Прямухино с целью выяснения вопроса о своих возможных правах наследования, но вернулся в Европу ни с чем. По данным Ю. М. Стеклова, он покончил жизнь самоубийством.

Безвыходное материальное положение заставило Бакунина еще в 1868 году поставить перед братьями вопрос о выделении ему причитающейся одной шестой доли наследства, с тем чтобы немедленно ее продать (или заложить) и таким образом рассчитаться с долгами. Переписка с братьями приобрела в основном деловой характер и касалась главным образом вопросов раздела имущества. Большинство братьев (в особенности — их жены) не желали раздела и не торопились с принятием окончательного решения, что вынудило Михаила даже заявить однажды: ежели проволочки продолжатся и далее, он продаст свою долю какому-нибудь иностранцу, а тот будет добиваться своих прав уже через суд. Однако родные, несмотря на неприятие его мировоззрения, по-прежнему любили Мишеля, втайне гордились им.

Многое изменилось и в отношениях Бакунина с его лучшими друзьями — Герценом и Огаревым. Мудрого и осторожного Герцена пугали крайний радикализм и непредсказуемость поведения друга. Огарев — тот был попроще: как поэту, ему как раз таки импонировали многие бунтарские идеи и чисто русские черты характера Мишеля — широта души, доброта и участливость, доверчивость и незлопамятность, беззаботность и рассеянность, льющиеся через край оптимизм и веселье. Как известно, после поражения европейской революции 1848—1849 годов в воззрениях и наст-

роениях Герцена: произошел перелом: он стал скептически относиться к революционному движению в целом, а в России — в особенности. Он не видел реальных сил, способных пробудить народ ото сна и поднять его на революцию. Теперь он ориентировался на длительную эволюцию и формирование предпосылок социального переустройства общества, а также политическое просвещение народа с помощью нелегальных газет, книг, прокламаций.

В противоположность этому Бакунин делал ставку на революцию *«немедленно и любой ценой»*. Он считал, что революционные предпосылки можно быстро и в «назначенное время» искусственно создать, для чего достаточно организационных усилий немногих, но обязательно талантливых революционеров. Бакунин искренне верил, что и сам способен одной пламенной речью наэлектризовать толпу людей и повести ее на штурм любой Бастилии. Герцен же видел в этом обыкновенный экстремизм и авантюризм, попытку проигнорировать закономерности объективного развития и перескочить через еще не пройденные этапы социальной эволюции. В конечном счете, непримиримые разногласия с Бакуниным привели к появлению последней герценовской теоретической и публицистической работы, обращенной непосредственно к старому другу. Она так и называется — «К старому товарищу» и написана в виде четырех писем.

Свое мнение Герцен сформулировал в предельно деликатной (я бы сказал даже — в элегической) форме, на которую способен был, пожалуй, один только он. Вот, к примеру, заключительные аккорды второго письма: «<...> Ни ты, ни я, мы не изменили наших убеждений, но разное стали к вопросу. Ты рвешься вперед по-прежнему с страстью разрушенья, которую принимаешь за творческую страсть... ломая препятствия и уважая историю только в будущем. Я не верю в прежние революционные пути и стараюсь понять шаг людской в былом и настоящем, для того чтоб знать, как идти с ним в ногу, не отставая и не забегая в такую даль, в которую люди не пойдут за мной — не могут идти. И еще слово. Высказывать это в том кругу, в котором мы живем, требует если не больше, то, конечно, не меньше мужества и самостоятельности, как брать во всех вопросах самую крайнюю крайность. Я думаю, ты со мной согласишься в этом».

Тогда же, подводя итоги своей долгой и совсем не гладкой дружбы с Михаилом, он писал: «О Бакунине я говорил и придется еще много говорить. Его рельефная личность, его эксцентрическое и сильное появление, везде — в кругу московской молодежи, в аудитории Берлинского университета,

между коммунистами Вейтлинга и монтаньярами Коссидьера, его речи в Праге, его начальство в Дрездене, процесс, тюрьма, приговор к смерти, истязания в Австрии, выдача России, где он исчез за страшными стенами Алексеевского рavelина, — делают из него одну из тех индивидуальностей, мимо которых не проходит ни современный мир, ни история.

В этом человеке лежал зародыш колоссальной деятельности, на которую не было запроса. Бакунин носил в себе возможность сделаться агитатором, трибуном, проповедником, главой партии, секты, иересиархом, бойцом. Поставьте его куда хотите, только в крайний край, — анабаптистом, якобинцем, товарищем Анахарсиса Клоца, другом Гракха Бабефа, — и он увлекал бы массы и потрясал бы судьбами народов, — “Но здесь, под гнетом власти царской”, Колумб без Америки и корабля, он, послужив против воли года два в артиллерии да года два в московском гегелизме, торопился оставить край, в котором мысль преследовалась, как дурное намерение, и независимое слово — как оскорбление общественной нравственности».

Фактически такую же нелюбимую правду он высказал Михаилу в одном из писем: «Пятьдесят лет своей жизни ты провел вырванный из практической жизни. Смолоду брошенным в немецкий идеализм, который время, согласно схеме, превратило в созерцательный реализм, не познавшим России ни во время своего заключения, ни после Сибири, но переполненным огромной страстной жадной благородной деятельностью, ты жил в буре призраков, студенческих шалостей, смелых планов, пустяковых решений. После десяти лет заключения ты вышел тем же теоретиком со всей неопределенностью, болтуном без скрупулезности в денежных делах, обуреваемый тихим, но неуклонным эпикуреизмом и испытывающим зуд к революционной деятельности, в которой только революции нет».

Постепенному отчуждению между Герценом и Бакуниным способствовали не только идейные расхождения, но также и некоторые непреодолимые психологические мотивы. Бакунин до конца дней продолжал сохранять дружеские отношения с давним своим приятелем — поэтом Георгом Гервегом — личным врагом Герцена, соблазнителем его жены и разрушителем семьи. Хорошо известно также столкновение Бакунина с сыном Герцена Александром, которого отец во время польского восстания 1863 года направил в Швецию — по существу, для контроля за деятельностью находившегося там же непредсказуемого Бакунина. Во время конфликта Герцен, естественно, встал на сторону сына, об-

виненного Бакуниным в мальчишестве, бонапартизме, авантюризме, наглости и политическом дилетантстве. Неоднократно, в самой нелицеприятной и саркастической форме критиковал Герцен анархическое кредо Бакунина, связанное с уничтожением государства, старался как можно реже публиковать его статьи в своих изданиях (и, в частности, в газете «Колокол»), откровенно недолюбливал жену Мишеля — Антосю и держался по отношению к ней с демонстративной отчужденностью, наконец, первым подхватил и всячески содействовал распространению обидного для Михаила иронического прозвища — «Большая Лиза», сопряженного с известной сентиментальной повестью Карамзина «Бедная Лиза»*.

И все же никто лучше Герцена не осознавал величия Бакунина, его уникальной роли в русском освободительном движении. Даже когда они разошлись, Герцен продолжал защищать Михаила от нападков и наветов. Когда интриган Николай Утин попытался в очередной раз очернить Бакунина в глазах Герцена, тот с присущим ему достоинством ответил: «<...> Я не могу согласиться с Вашим мнением, очень враждебным, относительно Бакунина. Бакунин слишком крупен, чтобы с ним поступить *sonnagerment* [бесцеремонно. — *фр.*]. У него есть небольшие недостатки — и огромные достоинства. (Та же мысль повторяется и в мемуарах Герцена, объединенных под названием «Былое и думы». — В. Д.) У него есть прошедшее, и он — сила в настоящем. Не полагайтесь на то, чтобы всякое сменяющееся поколение интенсивно было лучше предыдущего. <...> В людях, как в винах, есть *сги* [зависимость от климата, почвы, сорта винограда и т. п. — *фр.*]. Я думаю, что Бакунин родился под кометой» (выделено мной. — В. Д.).

* Справедливости ради стоит отметить, что в глазах окружающих (особенно временных знакомцев) Герцен проигрывал в сравнении с Бакуниным. На сей счет сохранилось свидетельство Николая Ге, в одно и то же время писавшего портреты и Герцена, и Бакунина. Затем тайно (записав другими изображениями) ему удалось провезти их в Россию. Во Флоренции, где происходили сеансы, в то время сложилось обширное землячество русских художников (в основном молодежи). Все они так или иначе стремились к знакомству и общению со своими знаменитыми соотечественниками. Но Герцен практически не шел на контакт, а в случае непредвиденного общения вел себя с незнакомыми людьми замкнуто и настороженно. Напротив, Бакунин моментально становился душой любой компании: его рокошующий бас и заразительный смех располагали к себе и зрелых людей, и молодежь. Кроме того, многие мемуаристы обратили внимание и на такую бакунинскую черту: сам постоянно нуждавшийся и неделями (а то и месяцами) сидевший без денег, он готов был отдать последнюю копейку такому же нуждающемуся, как он, или не задумываясь прийти на помощь оказавшемуся в затруднительном положении соотечественнику.

Смерть Герцена, последовавшая 9 (21) января 1870 года в Париже, поразила Бакунина в самое сердце. «Огарев! Неужели это правда? — писал он другу. — Неужели он умер? Бедный ты! Бедные Natalie обе! Бедная Лиза! Друг, на наше несчастье слов нет. Разве только одно слово: умрем в деле. Если можешь, напиши хоть одно слово».

* * *

Парижская коммуна была провозглашена 18 марта 1871 года. Рабочий Париж восстал и взял власть в свои руки в ответ на попытку официальных властей вывести из осажденного пруссаками города артиллерию и разоружить национальную гвардию. Над парижской ратушей вознеслось красное знамя. Правительство «национальной обороны» во главе с Адольфом Тьером бежало в Версаль. В результате демократических выборов большинство в коммуне составили депутаты социалистической ориентации (прудонисты, бланкисты, бакунисты и несколько марксистов). Сам Бакунин увидел в Парижской коммуне подтверждение своей главной идеи — фактической отмены государственной формы правления. Он восторженно приветствовал парижских коммунаров, среди которых было немало его друзей. Уже после ее поражения, кстати, им предсказанного заранее, Бакунин писал: «Я — сторонник Парижской Коммуны, которая, будучи подавлена, утоплена в крови палачами монархической и клерикальной реакции, сделалась через это более жизненной, более могучей в воображении и в сердце Европейского пролетариата; я — сторонник Парижской Коммуны в особенности потому, что она была смелым, ясно выраженным отрицанием Государства».

На эту тему он готов был говорить бесконечно: «Что это практическое отрицание Государства имело место именно во Франции, бывшей доселе по преимуществу страной политической централизации, и именно в Париже, в историческом центре той великой французской цивилизации, которая и положила начало отрицанию государства, — это факт громадной исторической важности. Париж, развенчивающий себя и с энтузиазмом отрекающийся от своей власти во имя свободы и жизни Франции, Европы, целого мира! Париж, снова ставший инициатором и тем снова подтвердивший свое историческое призвание, показав всем рабским народностям (а какие же из современных народов не находятся в рабстве!) единственный путь освобождения и спасения! Париж, нанесший смертельный удар политическим традициям

буржуазного радикализма и положивший реальное основание революционному социализму! Париж, вновь заслуживший проклятия всех реакционеров Франции и целого мира! Париж, в смертельной ненависти к ликующей реакции похоронивший самого себя под дымящимися развалинами! Париж, спасший ценою своего разрушения честь и будущность Франции и доказавший человечеству, что если жизнь, ум, нравственная сила и исчезли в высших классах, то зато они, могучие и полные будущности, сконцентрировались в пролетариате! Париж, освятивший новую эру, эру решительного и полного освобождения народных масс, эру их солидарности, ныне вполне осуществленной помимо государств с их искусственными границами! Париж, провозгласивший себя гуманитарным и атеистичным и заменивший божественные вымыслы великою реальностью социальной жизни и верой в науку, которая заменила ложь и неправду религиозной, политической и юридической морали принципами свободы, справедливости, равенства и братства, этими вечными основами всякой человеческой морали! Геройский, рациональный и верующий Париж, запечатлевший своим великодушным падением, своею смертью могучую веру в судьбы человечества и завещавший эту веру, еще более могучую и живую, грядущим поколениям! Париж, затопленный кровью своих самых благородных сынов, — это человечество, пригвожденное к кресту сплоченной Европейской международной реакцией с благословения всех христианских церквей и великого жреца неправды — папы! Будущая же международная и солидарная революция народов будет воскресением Парижа!»

Где бы ни появлялся Бакунин в это судьбоносное для Европы время, что бы ни делал, что бы ни говорил или ни писал — на первом плане для него по-прежнему оставалась давняя, неискоренимая пламенная страсть, выражаемая одним-единственным словом — СВОБОДА! В работе, посвященной анализу деятельности и гибели Парижской коммуны, содержится настоящий гимн этому священному для него понятию:

«Я — фанатический приверженец свободы, видящий в ней единственную среду, где могут развиваться и процвести ум, достоинство и счастье людей; не той формальной свободы, жалованной, размеренной и регламентированной государством, которая есть вечная ложь и которая в действительности представляет не что иное, как привилегию избранных, основанную на рабстве всех остальных, не той индивидуалистической, эгоистичной, скудной и призрачной свободы, ко-

торая была провозглашена школой Ж. Ж. Руссо и всеми другими школами буржуазного либерализма и которая смотрела на так называемое общее право, выражаемое государством, как на ограничение прав каждого отдельного лица, — что всегда и неизбежно сводит к нулю право каждого отдельного индивида.

Я имею в виду одну свободу, достойную этого имени, свободу, предоставляющую полную возможность развить все способности интеллектуальные и моральные, скрытые в каждом человеке, свободу, не признающую иных ограничений, кроме предписанных законами нашей собственной природы, что равносильно, собственно говоря, совершенному отсутствию ограничений, так как эти законы не изданы каким-либо законодателем, вне нас, рядом с нами или превыше нас стоящим; они нам присущи, неотделимы от нас, составляют самую основу нашего существа, как материального, так и интеллектуально-морального; вместо того чтобы извращать их, мы должны их рассматривать как необходимые условия и настоящую, действительную причину нашего стремления к свободе.

Я имею в виду такую свободу каждого, которая, входя в соприкосновение с свободой других людей, не останавливается перед ней, как перед предельным рубежом, но, напротив, находит в свободе других свое подтверждение и возможность расширяться до бесконечности; я имею в виду свободу каждого отдельного индивида, не ограничиваемую свободой всех, свободу в солидарности, свободу в равенстве; свободу, восторжествовавшую над грубой силой и над самым принципом авторитета — неизменным идеалом этой силы; свободу, которая, ниспровергнув всех небесных и земных идолов, положит основание новому миру, — миру человеческой солидарности на обломках всех церквей и всех государств».

Во истину, весь мир изменился, неизменными и непоколебимыми остались только убеждения русского «апостола свободы», не устававшего утверждать: только в условиях ничем не ограниченной свободы полностью раскрепощается личность и пробуждаются ее творческие потенции, а перед человеческим разумом расступаются доселе недоступные горизонты...

Глава 10

ШИВА-РАЗРУШИТЕЛЬ

Программная работа Бакунина «Государственность и анархия» заканчивается знаменательным призывом*: «<...> На нашем знамени... огненными, кровавыми буквами начертано разрушение всех государств, уничтожение буржуазной цивилизации, вольная организация снизу вверх посредством вольных союзов — организация разнузданной чернорабочей черни, всего освобожденного человечества, создание нового общечеловеческого мира». В других работах пояснялось, что именно подлежит уничтожению — политическая система государства, банки и финансовая монополия в целом, церковь, правоохранительные органы и юридические институты, университеты, армия, полиция (все они созданы эксплуататорским меньшинством в первую очередь для подавления — физического, материального, морального и идеологического — эксплуатируемого большинства). В приведенном тезисе ничего нового нет: в разных вариантах эти мысли красной нитью проходят через другие печатные труды и агитационные материалы «отца анархии», не говоря уже о его многочисленных устных выступлениях и заявлениях.

Однако (что уже неоднократно отмечалось выше) для Бакунина как прирожденного диалектика, впитавшего ее непосредственно из немецкой классической философии, «разрушительный тезис» просто не мог существовать исключительно в первично-изолированной форме. Свою истинность он обретал только в неразрывном единстве с последующими шагами, приводящими к *диалектическому синтезу*. Поэтому, подобно верховному ведийско-индуистскому богу Шиве, олицетворяющему два неразрывно связанных и взаимодополняющих начала — разрушение и созидание, — Бакунин также постулирует или мысленно производит *разруше-*

* Эта работа осталась незавершенной. Планировалась еще вторая ее часть, а к первой были сделаны два прибавления.

ние ради созидания. Во все той же «Государственности и анархии» он провозглашает: «Будет время, когда не будет более государств — а к разрушению их стремятся все усилия социально-революционной партии в Европе, — будет время, когда на развалинах политических государств оснуется, совершенно свободно и организуясь [так!] снизу вверх, вольный братский союз вольных производительных ассоциаций, общин и областных федераций, обнимающих безразлично, потому что свободно, людей всех языков и народностей. <...> Таков широкий народный путь, путь действительного и полнейшего освобождения, доступный для всякого, и потому действительно народный, путь *анархической* социальной революции, возникающей самостоятельно в народной среде, разрушающей все, что противно широкому разливу народной жизни, для того, чтобы потом из самой глубины народного существа создать новые формы свободной ответственности».

Бакунин не часто называл себя анархистом, а свое учение анархизмом, хотя слово «анархия» встречается уже в самой первой его печатной работе «Гимназические речи Гегеля». При этом он вкладывал в эти понятия далеко не тот же самый смысл, какой обычно вкладывала широкая публика, большинство непримиримых его противников и даже сторонников. Бакунисты отрицали не только государство как инструмент тотального насилия над народом вообще и над всякой личностью в частности. Они, к примеру, отвергали парламентские формы политической борьбы вместе с всеобщим избирательным правом. «Одним словом, — провозглашал Бакунин, — мы отвергаем всякое законодательство, всякую власть, всякое привилегированное, патентованное, официальное и законное влияние, хотя бы оно и вытекало из всеобщего голосования, ибо мы убеждены, что оно всегда будет выгодно господствующему меньшинству эксплуататоров и вредно огромному большинству оскорбленных. В этом смысле мы действительно анархисты».

Представляя грядущую социальную революцию как единство двух диалектически взаимосвязанных сторон — отрицательной и положительной, — Бакунин видел в негативном аспекте уничтожение всего, что «разоряет и угнетает народную жизнь», к числу же позитивных задач относил создание совершенно новой организации «более или менее освобожденного общества». Под ним мыслилась *добровольная, абсолютно свободная федерация коммун и ассоциаций трудящихся, создаваемых на основе действительного желания народа, а не путем «произвола и фантазии главарей»*. Таков

вкратце идеал анархического переустройства и будущей организации общества. Отсюда понятно, почему Бакунин и его единомышленники предпочитали называть свою социальную концепцию не только и даже не столько анархизмом, сколько *федерализмом* (а себя, соответственно, именовали *федералистами*)*.

Что касается термина *анархии* (от греч. *anarchia* — «безвластие», «безначалие»), то к настоящему времени это понятие достаточно дискредитировано совместными усилиями критиков и оппонентов разного калибра и различной политической ориентации, но еще больше — самими анархистами, безуспешно пытавшимися реализовать его на практике. Причем «практика» выражалась не только в актах индивидуального террора. Применительно к собственно анархистам, последний более прижился на Западе; в России пальма первенства оставалась у «бомбистов»-народовольцев и социалистов-революционеров (эсэров), одинаково высоко чтивших Бакунина как одного из своих идейных предтеч. В России практическая реализация анархических идей известна и в другой, так сказать, «натуральной» форме — в попытке создания в годы Гражданской войны «безвластного государства» (со столицей в Гуляйполе) на украинской территории, занятой повстанческой армией убежденного анархиста Нестора Ивановича Махно (1888—1934).

«Анархизм есть свободная жизнь и независимое творчество человека, — писал Махно. — <...> Природа человека анархична: она противится всему, что ее стесняет. <...> Анархизм вносится в человеческую жизнь природой человека; коммунизм — логическим развитием анархизма. <...> Неизменное в научном анархизме — это его естественная сущность, которая в своих основных чертах выражается в отрицании всяких цепей, всякого порабощения человека. Вместо цепей и рабства, которые царят над жизнью человека и которых и социализм не уничтожает, *анархизм сеет свободу и безграничное право на нее человека*» (выделено мной. — В. Д.).

* Федералистские увлечения Бакунина подчас доходили до абсурда. Например, он неоднократно высказывал мысль, что для установления подлинного федеративного устройства в России нужно сначала раздробить ее на части, предоставив автономию не только ее национальным окраинам — Польше, Финляндии, Закавказью, Бессарабии, но также Украине и даже Сибири. Лишь после этого можно говорить о федеративном объединении, которое следует начать с создания «Великой вольной федерации Всеславянской», включающей не только великороссов, малороссов и белорусов, но и другие славянские народы, освободившиеся от немецкого, австрийского и османского господства.

Касательно объективно-природных корней анархизма «бабка» Махно как в воду глядел. В середине XX века лозунг «Анархия — мать порядка», давно ставший карикатурным стараниями неразборчивых беллетристов и кинематографистов, вдруг получил неожиданное подтверждение со стороны естественно-математических наук, причем на самом что ни на есть высоком уровне. Речь идет о теоретических работах нобелевского лауреата, бельгийского физико-химика русского происхождения Ильи Романовича Пригожина (1917—2003), где дается комплексное обоснование современной *синергетики** (за это, собственно, и была присуждена Нобелевская премия). Согласно Пригожину, если перевести сложный язык математических формул на житейские понятия, то выходит, что объективный мир, включая человека, представляет собой нелинейные системы, находящиеся в состоянии первозданного хаоса. Хаос первичен, порядок же есть производное от него и потому вторичен**. Без исходного хаоса порядок попросту не мог бы возникнуть и не смог бы существовать. Кроме того, именно хаотическое движение обеспечивает жизнь, а порядок — смерть. Одна из наиболее известных книг Ильи Пригожина, написанных им в соавторстве с Изабеллой Стенгерс, так и называется — «Порядок из хаоса». Вот и посудите теперь, кто, в конечном счете, оказался прав — анархисты или их многочисленные критики?

Конечно, прямая экстраполяция чисто природных закономерностей на общественную жизнь в современной философии не поощряется, но никто и не пытается это сделать. Речь идет о некоторой общей закономерности: *никакой порядок не возникает непосредственно из порядка; в той или иной степени ему всегда предшествует хаос*. А выводы делай-

* Синергетика (от гр. *synergos* — «совместно действующий») — направление в науке, занимающееся изучением связей между элементами (подсистемами) структуры в сложных открытых (то есть обменивающихся веществом и энергией с внешним миром) системах и самоорганизации в них.

** Сама по себе эта мысль не нова: согласно классическому варианту древнегреческой теогонии и космогонии, исходным началом в мире выступает первозданный и неупорядоченный Хаос, он-то и превращается в упорядоченный Космос. В этом случае Хаос (вселенский анархический беспорядок) также оказывается первичным по отношению к Космосу (упорядоченному миру людей и вещей). Отсюда уже (при переводе архаической теогонической схемы на язык современных понятий), собственно, и получается: Хаос (Анархия) — это Мать (и одновременно Отец) Космоса (Порядка), или (если совсем кратко): *анархия — мать порядка*. Аналогичные представления присущи также другим индоевропейским и неиндоевропейским мифологиям и мировоззрениям.

те сами! Бакунин лишь обнажал существо проблемы, хотя некоторые из его последователей пытались ее абсолютизировать. По счастью, не все. Наиболее крупный из русских идеологов анархизма, продолжателей дела Бакунина, П. А. Кропоткин всю свою долгую жизнь посвятил обоснованию простых и понятных каждому «анархических истин»: анархия в природе неразрывно связана с *взаимопомощью*, она же является главным фактором эволюции (вопреки Дарвину, сводившему первооснову жизни к борьбе за существование).

Что касается социальной сферы, то здесь анархический идеал в будущем должен реализоваться в форме справедливости, солидарности, нравственности и гуманизма. Никакая борьба не может иметь успеха, если она остается бессознательной, если она не отдает себе конкретного, реального отчета в своих целях. Никакое разрушение существующего, считал Кропоткин вслед за Бакуниным, невозможно без того, чтобы уже в момент разрушения и борьбы, ведущей к разрушению, люди не представляли себе в уме, что появится на месте разрушения. Невозможно даже теоретически критиковать существующее, не рисуя уже себе в уме более или менее определенный образ будущего. Сознательно или бессознательно *идеал* — понятие о лучшем — рисуется в уме каждого, кто критикует существующие учреждения. Это особенно относится к человеку действия. Сказать людям: «Давайте сначала разрушим капитализм или самодержавие, а потом мы увидим, что поставить на их место», — значило бы просто обманывать себя и других. Никакие реальные силы нельзя создать обманом. И действительно, даже тот, кто говорит таким образом, имеет какое-нибудь представление о том, что он желал бы увидеть на месте того, на что он нападает.

Бакунину грядущее общество равенства, гармонии и справедливости рисовалось в русле неоднократно обнародованных идей. Будущая социальная организация непременно должна быть реализована по направлению снизу вверх, посредством свободной ассоциации или федерации рабочих, начиная с союзов, коммун, областей, наций и кончая великой международной федерацией. И только тогда осуществится целесообразный, жизнеспособный строй, тот строй, в котором интересы личности, ее свобода и счастье не будут больше противоречить интересам общества. Говорят, замечает Бакунин, что интересы отдельных лиц несовместимы и несогласуемы с интересами общества, что их гармония никогда не будет фактически осуществлена в силу их органической противоположности. На такое возражение он отвечал:

если до настоящего времени эти интересы никогда и нигде не были во взаимной согласованности, причина этого было государство, жертвовавшее интересами большинства в пользу привилегированного меньшинства. И вся эта пресловутая несовместность и эта мнимая борьба личных интересов с интересами общества есть не что иное, как политическое надувательство и ложь, получившая свое начало в теологической лжи, измыслившей доктрину первородного греха, чтобы обесславить человека и уничтожить в нем сознание своей ценности. Именно такая ложная идея о несовместимости интересов в свое время была усвоена и философией...

А как понимали анархисты XX века — продолжатели дела Бакунина и Кропоткина — будущий «идеальный» строй жизни? Точно так же, как и их учитель. Никаких властей, которые навязывают другим свою волю, никакого владычества человека над человеком, никакой неподвижности в жизни, а вместо того — постоянное движение вперед, то более скорое, то замедленное, как бывает в жизни самой природы. Каждому отдельному лицу предоставляется, таким образом, свобода действий, чтобы оно могло развить все свои естественные способности, свою индивидуальность, то есть все то, что в нем может быть своего, личного, особенного. Другими словами — никакого навязывания отдельному лицу каких бы то ни было действий под угрозой общественного наказания или же сверхъестественного мистического возмездия: общество ничего не требует от отдельного лица, чего это лицо само не согласно добровольно в данное время исполнить. Наряду с этим — полнейшее равенство в правах для всех.

«Мы представляем себе общество равных, — писал П. А. Кропоткин, — не допускающих в своей среде никакого принуждения; и, несмотря на такое отсутствие принуждения, мы нисколько не боимся, чтобы в обществе равных вредные обществу поступки отдельных его членов могли бы принять угрожающие размеры. Общество людей свободных и равных сумеет лучше защитить себя от таких поступков, чем наши современные государства, которые поручают защиту общественной нравственности полиции, сыщикам, тюрьмам — то есть университетам преступности, — тюремщикам, палачам и судам. В особенности сумеет оно *предупреждать* самую возможность противообщественных поступков путем воспитания и более тесного общения между людьми. Поэтому мы вправе сказать, что анархия представляет собой известный общественный идеал, существенно отличающийся от всего того, что до сих пор восхвалялось большинством философов, ученых и политиков, которые

все хотели управлять людьми и давать им законы. Идеалом господствующих классов анархия никогда не была. Но зато она часто являлась более или менее осознанным *идеалом масс*».

До самого последнего вздоха Кропоткин продолжал трудиться над трактатом (он называется «Этика»), посвященным доказательству тезиса о тождественности анархической и коммунистической морали. Главную книгу своей жизни восьмидесятилетний Кропоткин завершал уже при советской власти. Ее самой он, будучи убежденным антигосударственником, естественно, не признавал, хотя конкретные шаги, направленные на улучшение жизни и благосостояния народа, приветствовал и даже встречался с В. И. Лениным: тот лично приезжал к патриарху русского революционного движения для обсуждения в неформальной обстановке животрепещущих вопросов.

* * *

Однако за полвека до этого в «анархической среде», где задавал тон Бакунин, на повестке дня стояли совершенно другие проблемы, связанные с активизацией революционной ситуации в России. На определенное время здесь возобладали идеи, связанные с именем, быть может, самой одиозной фигуры революционного движения XIX века Сергея Геннадьевича Нечаева (1847—1882). На несколько лет судьбы Бакунина и Нечаева тесно переплелись. Их первая встреча произошла в 20-х числах марта 1869 года в Женеве, когда Сергей, преследуемый охранкой за участие в студенческих волнениях, с чужим паспортом бежал за границу. До этого он преподавал в столичном приходском училище и одновременно считался вольнослушателем Петербургского университета. На Бакунина новоявленный гость произвел неизгладимое впечатление. Но не тем, что представился функционером несуществующего Всероссийского революционного комитета, чудом бежавшим из Петропавловской крепости, а революционной одержимостью, несгибаемой волей и страстностью, гипнотически действовавшей на окружающих.

Именно эти качества позволили Нечаеву спустя некоторое время — будучи уже не мнимым, а настоящим узником Алексеевского рavelина — до такой степени «перевербовать» охрану, что она была готова не только к освобождению заключенного, но и к вооруженному выступлению на его стороне против официальной власти. Кому еще в мировой истории удавалось такое? Если бы не предательство провокатора, неизвестно, чем бы все кончилось.

Так вот, когда Нечаев пришел к человеку, которого считал главным идейным вдохновителем революционной российской молодежи, Бакунин поверил ему сразу и безоговорочно. Огарев тоже (он, собственно, и направил Нечаева к Михаилу). Только Герцен засомневался в искренности молодого эмигранта, а написанную им прокламацию посчитал не слишком грамотной и содержательной.

Их конечно же покоробили некоторые черты характера и особенности поведения молодого адепта: угловат, несдержан, мало эрудирован, груб, грызет ногти — первый признак нервного, неуравновешенного человека. Но в глазах — огонь и пламень, в движениях — неукротимая энергия, отрывистая речь выдает прирожденного вожака. А разве Степан Разин или Емельян Пугачев другими были? Отнюдь! Еще грубее! Еще безграмотнее! Еще безнравственнее! Главное ведь совсем в другом: как народ пробудить и поднять на святое дело, а потом в узде удерживать и непрерывно следить, чтобы никто и ничто не отклонилось от заданного направления! Для этого нужны именно такие люди, как Нечаев, — фанатично преданные революции, имеющие магическое воздействие на окружающих, способные к полному самоотречению во имя свободы. Только «неподкупные Робеспьеры» способны возглавить революцию и без колебания, недрогнувшей рукой развязать массовый террор, жертвой которого, в конце концов, они сами и становятся. Ну и, наконец, далеко не последний аргумент — молодость! За плечами Бакунина и Герцена с Огаревым — богатая событиями, но уже почти что до конца *прожитая* жизнь. А у Нечаева молодость, жажда конкретной и содержательной деятельности, неизбывная энергия так и прут через край. Так пусть же использует он их сполна на дело революции в России.

Бакунин и Огарев возлагали огромные надежды на молодую Россию, считая, что только она одна и способна всколыхнуть застоявшееся болото русской жизни. Вот что писал Бакунин в пору своего знакомства и сближения с Нечаевым в одну из французских газет: «<...> Я заявляю с гордостью и радостью, что наша русская молодежь, — я говорю, само собой разумеется, о большинстве ее, — горячо реалистична и материалистична в теории, но в то же время идеалистична на практике в том смысле, что она с таким ярким рвением домогается истины, что равнодушно переносит жесточайшие лишения, зачастую даже недостаток в необходимой одежде, голод и холод, и для нее победа великого принципа равенства, составляющего ныне все ее исповедание, сто-

ит превыше всех соображений карьеры, доходного места и личностей. Их юношеский энтузиазм не гасится теми соображениями относительно будущего, от которых кровь в жилах ваших студентов течет более вяло и которые обуславливают то, что в самых задорных и воинственных героях ваших университетов уже обнаруживаются задатки завтрашнего филистера, мирного и преданного подданного. И, в противоположность буржуазной молодежи Парижа, она не растрчивает свою энергию и силы на публичных балах. Наша учащаяся молодежь, вышедшая, по большей части, из народа и вследствие своей бедности принадлежащая еще народу, ведет — по крайней мере большинство ее — жизнь самоотречения: она страдает, она учится, и она устраивает разговоры.

Благодаря этому практическому идеализму, воодушевляющему ее, она и способна ныне посвятить себя всецело великому делу освобождения народа. Этот идеализм порождается двумя причинами: основной причиной является, несомненно, именно это тяжелое положение, эта благая нищета нашей молодежи. Она видит, что не только ее настоящее, но и все ее будущее осуждено вследствие политической, экономической и общественной организации империи. Не так ли? Ведь мы оба, гражданин редактор, в достаточной мере социалисты, чтобы знать, что материальные условия оказывают чрезвычайно мощное влияние на характер и на теоретические и практические стремления отдельных лиц. Поэтому мы, значительно менее кровожадные, нежели государственные мужи всех оттенков — реакционеры или якобинцы, мы требуем, чтобы во время всеобщей социальной революции, приближающейся гигантскими шагами, с неуклонной последовательностью уничтожались государства, привилегированные положения и так называемые правовые отношения, существующие ныне между людьми и вещами, — но не люди. Не так ли?»

У Бакунина в квартире была свободная кровать, где обычно ночевал кто-нибудь из приезжих посетителей, и Нечаев не отказался от его гостеприимства. Наступил «медовый месяц» в их отношениях. Вернее, под одной крышей они провели не один, а почти четыре месяца. Представленный Сергеем план издания массовых тиражей листовок и агитационных брошюр, которые он сам же и брался нелегально переправлять в Россию, не только не вызывал сомнений, но и внушал оправданный оптимизм. И вскоре прокламации и брошюры посыпались как из рога изобилия — одна хлеще другой. Автором большинства из них был

Бакунин, отчасти — Огарев, большой мастер «листовочного жанра».

Бакунин с Огаревым поспособствовали также тому, чтобы Нечаев получил от Герцена денежные средства для своей издательско-пропагандистской деятельности и организации революционных акций в России. Речь идет о так называемом «бахметьевском фонде», его распорядителями являлись Герцен и Огарев. История этого фонда такова. Летом 1857 года в Лондон к Герцену приехал молодой русский помещик Павел Александрович Бахметьев. Собственно, помещиком к тому времени он уже быть перестал, так как продал свое богатое имение и навсегда покинул Россию с тем, чтобы основать коммуну, построенную на социалистических принципах, не где-нибудь, а аж на Маркизских островах в Полинезии. Перед отплытием в поисках «золотого века» Бахметьев передал значительную сумму из имевшихся в его распоряжении средств «для русской пропаганды» и на дело революции в России. Следы самого Бахметьева после этого полностью теряются, неизвестно даже, достиг ли он вообще новых «блаженных островов» или погиб по дороге, но деньги, врученные Герцену и Огареву, лежали нетронутыми до появления Нечаева. Несмотря на абсолютное недоверие к этому человеку, Герцен был вынужден пойти навстречу настойчивым уговорам Бакунина и Огарева (а последний имел к тому же право решающего голоса) и передал молодому русскому макиавеллисту половину из находившихся в его распоряжении средств.

Итак, работа закипела вовсю, печатный станок в одной из женеvских типографий заработал в полную силу, пропагандистское колесо закрутилось, а в Россию разными нелегальными путями стали поступать пакеты и свертки с «готовой продукцией». Нечаев, естественно, также не оставался в стороне. Летом все того же 1869 года он издал в Женеве первый номер журнала «Народная расправа», текст которого «от корки до корки» написал сам. Идеи Бакунина здесь льются через край на каждой странице: «Мы имеем только один отрицательный неизменный план — беспощадного разрушения. <...> Сосредоточивая все наши силы на разрушении, мы не имеем ни сомнений, ни разочарований; мы постоянно одинаково, хладнокровно преследуем нашу единственную, жизненную цель».

Однако, оседлав любимого бакунинского конька — *разрушение*, Нечаев не обратил внимания на другую часть этого тезиса — *созидание*. Из-за недостаточной образованности он просто не понимал, что у ученика Канта, Фихте, Гегеля

и Шеллинга *отрицание* в принципе не способно носить «зряшный» характер. У Бакунина *отрицание* не могло быть не чем иным, кроме как *диалектическим отрицанием*, всегда предполагавшим новый, более высокий и более развитый этап в развитии целостности. В революционном гимне «Интернационал» тоже поется: «Весь мир насилья мы разрушим / До основания, а затем / Мы наш, мы новый мир построим, / Кто был никем, тот станет всем!» Автор приведенных слов — французский пролетарский поэт Эжен Потье (1816—1887), депутат Парижской коммуны и член Международного товарищества рабочих — был знаком с Бакуниным и его идеями и, как можно судить по приведенным строкам, вполне их разделял. Ведь *разрушение мира насилья до основания* — это чисто *бакунинский лозунг!* Однако у Потье, как и у Бакунина, речь вовсе не идет о разрушении ради разрушения или отказе от участия в строительстве нового общества. Напротив, упор делается именно на строительство последнего.

В действительности же коллизия между Бакуниным и Нечаевым заключается не в том, что нужно или не нужно строить новый мир на развалинах старого, а в том, когда это следует начинать и кто это будет делать. Бакунин и Потье считали, что это будем делать «мы», а Нечаев — что «не мы», выплескивая тем самым из купели вместе с водой и ребенка: «Мы прямо отказываемся от выработки будущих жизненных условий, как несовместной с нашей деятельностью; и потому считаем бесплодной всякую исключительно теоретическую работу ума. Мы считаем дело разрушения настолько серьезной и трудной задачей, что отдадим ему все наши силы и не хотим обманывать себя мечтой о том, что у нас хватит сил и умения на созидание». Однако абсолютизация никого еще не приводила к положительному конечному результату...

Среди выпущенных в Женеве прокламаций особенно выделялась написанная лично Бакуниным агитка под названием «Постановка революционного вопроса», которая и привела к окончательному и давно назревавшему разрыву между ним и Герценом. Особенно коробил интеллигентного и осторожного Герцена пассаж о разбойниках как потенциальной силе будущей русской революции. Вот что писал Бакунин: «Разбой — одна из почетнейших форм русской народной жизни. Разбойник — это герой, защитник, мститель народный; непримиримый враг государства и всякого общественного и гражданского строя, установленного государством; боец на жизнь и на смерть против всей

чиновно-дворянской и казенно-поповской цивилизации... Кто не понимает разбоя, тот ничего не поймет в русской народной истории. Кто не сочувствует ему, тот не может сочувствовать русской народной жизни, и нет в нем сердца для вековых неизмеримых страданий народных. Тот принадлежит к лагерю врагов — к лагерю сторонников государства... Лишь в разбое доказательство жизненности, страсти и силы народа... Разбойник в России настоящий и единственный революционер, — революционер без фраз, без книжной риторики, революционер непримиримый, неутомимый и неукротимый на деле, революционер народно-общественный, а не политический и не сословный... Разбойники в лесах, в городах, в деревнях, разбросанные по целой России, и разбойники, заключенные в бесчисленных острогах империи, составляют один, нераздельный, крепко связанный мир — мир русской революции. В нем, и в нем только одном, существует издавна настоящая революционная конспирация. Кто хочет конспирировать не на шутку в России, кто хочет революции народной, тот должен идти в этот мир... Следуя пути, указываемому нам ныне правительством, изгоняющим нас из академий, университетов и школ, бросимся, братцы, дружно в народ, в народное движение, в бунт разбойничий и крестьянский и, храня верную крепкую дружбу между собой, сплотим в единую массу все разрозненные мужицкие [крестьянские] взрывы. Превратим их в народную революцию, осмысленную, но беспощадную».

Последние слова прокламации недвусмысленно переключаются со знаменитым пушкинским предупреждением о «русском бунте — бессмысленном и беспощадном». Однако после отмены крепостного права и спада революционной борьбы Бакунин не видит в России иной силы, способной поднять на дыбы народ, впавший в летаргический сон. Русские рабочие малочисленны и разрознены, крестьяне инертны, офицеры и солдаты — верные слуги царя, студенты — сплошной треп и вспышкопускательство. А вот разбойники да босяки ни собственностью не обременены, ни верноподданническими клятвами и обязательствами перед кем бы то ни было. Не колеблясь, бросает Бакунин вызов не только всему общественному мнению тогдашней России, не только либерально-филистерскому лагерю, выступавшему за постепенное проведение косметических реформ и смягчение полицейского режима, но и своим ближайшим друзьям и сподвижникам. Даже Нечаева, как ни странно, покоробили пассажи о «разбойнике-революционере», и Бакунин в пись-

ме к своему молодому другу вынужден был подробно комментировать собственную мысль:

«<...> Первая обязанность, назначение и цель тайной организации: пробудить во всех общинах сознание их неотвратимой солидарности и тем самым возбудить в русском народе сознание могущества — одним словом, соединить множество частных крестьянских бунтов в один общий, все-народный бунт. Одним из главных средств к достижению этой последней цели, по моему глубокому убеждению, может и должно служить наше вольное всенародное казачество, бесчисленное множество наших святых и несвятых бродяг, богомоллов, бегунов, воров и разбойников — весь этот широкий и многочисленный подземельный мир, искони протестовавший против государства и государственности и против немецко-кнutowой цивилизации. Это было высказано в безымянном листке “Постановка революционного вопроса” и вызвало у всех наших порядочников и тщеславных болтунов, принимающих свою доктринерскую византийскую болтовню за дело, вопль негодования. А между тем это совершенно справедливо и подтверждается всею нашею историею. Казачий воровско-разбойнический и бродяжнический мир играл именно эту роль совокупителя и соединителя частных общинных бунтов и при Стеньке Разине и Пугачеве; народные бродяги — лучшие и самые верные проводники народной революции, приурочиватели общих народных волнений, этих предтеч всенародного восстания, а кому не известно, что бродяги при случае легко обращаются в воров и разбойников. Да кто же у нас не разбойник и не вор? Уж не правительство ли? Или наши казенные и частные спекуляторы и дельцы? Или наши помещики, наши купцы? Я, со своей стороны, ни разбоя, ни воровства, ни вообще никакого противочеловеческого насилия не терплю, но признаюсь, что если мне приходится выбирать между разбойничеством и воровством восседающих на престоле или пользующихся всеми привилегиями и между народным воровством и разбоем, то я без малейшего колебания принимаю сторону последнего, нахожу его естественным, необходимым и даже в некотором смысле законным. Народно-разбойничий мир, признаюсь, с точки зрения истинно человеческой, далеко, далеко не красив. Да что же красиво в России? Разве может быть что-нибудь грязнее нашего порядочного чиновно- или мещанско-цивилизованного и чистоплотного мира, скрывающего под своими западно-гладкими формами самый страшный разврат мысли, чувства, отношений и действий! Или, в самых лучших слу-

чаях, безотрадную и безвыходную пустоту. В народном развороте есть, напротив, природа, сила, жизнь, есть, наконец, право многовековой исторической жертвы; есть могучий протест против коренного начала всякого разворота, против Государства — есть, поэтому, возможность будущего. Вот почему я беру сторону народного развора и вижу в нем одно из самых существенных средств для будущей народной революции в России.

Я понимаю, что это может привести в негодование чистоплотных или даже нечистоплотных идеалистов наших — идеалистов всякого цвета, от Утина до Лопатина, воображающих, что они могут насильственным образом, посредством искусственной тайной организации навязать народу свою мысль, свою волю, свой образ действий. Я в эту возможность не верю, а убежден, напротив, что при первом разгроме всероссийского государства, откуда бы он ни произошел, народ подыметься не по утинскому, не по лопатинскому и даже не по вашему идеалу, а по своему, что никакая искусственная конспирационная сила не будет в состоянии воздержать или даже видоизменить его самородного движения, — ибо никакая плотина не в состоянии воздержать бунтующего океана. Вы все, мои милые друзья, полетите как щепки, если не сумеете плыть по народному направлению, — уверен, что при первом крупном народном восстании бродяжнически-воровской и разбойнический мир, глубоко вкорененный в нашу народную жизнь и составляющий одно из ее существенных проявлений, тронется, и тронется могущественно, а не слабо.

Хорошо ли это или дурно, это факт несомненный и неотвратимый, и кто хочет действительно русской народной революции, кто хочет служить ей, помогать ей, организовать ее не на бумаге только, а на деле, тот должен знать этот факт; мало того, тот должен считаться с ним, не стараясь его обходить, и встать к нему в сознательно-практическое отношение, уметь употребить его как могучее средство для торжества революции. Тут чистоплотничать нечего. Кто хочет сохранить свою идеальную и девственную чистоту, тот оставайся в кабинете, мечтай, мысли, пиши рассуждения или стихи. Кто же хочет быть настоящим революционным деятелем в России, тот должен сбросить перчатки; потому что никакие перчатки его не спасут от несметной и всесторонней русской грязи. Русский мир, государственно-привилегированный и всенародный мир, — ужасный мир. Русская революция будет несомненно ужасная революция. Кто ужасов или грязи боится, тот отойди и от этого мира, и от этой ре-

волюции; кто же хочет служить последней, тот, зная на что он идет, укрепи свои нервы и будь готов ко всему.

Употребить разбойничий мир как орудие народной революции, как средство для совокупления и для разобшения частных общинных бунтов — дело нелегкое; я признаю его необходимость, но вместе с тем вполне сознаю свою полнейшую неспособность к нему. Для того чтобы его предпринять и довести его до конца, надо быть самому вооруженным крепкими нервами, богатырскою силою, страстным убеждением и железною волею. В ваших рядах могут найтись такие люди. Но люди нашего поколения и нашего воспитания к нему не способны. Идти к разбойникам — не значит самому сделаться разбойником и только разбойником, не значит делить с ними все их неспо[койные] страсти, бедствия, часто гнусные цели, чувства, действия — но значит дать им новую душу и возбудить в них другую, всенародную цель — у этих диких и до жестокости грубых людей натура свежая, сильная, непочатая и неистощенная и, следовательно, открыта для живой пропаганды, если пропаганда, разумеется, живая, а не доктринерская, посмеет и сумеет подойти к ним. Об этом предмете я готов сказать еще много, если только придется мне продолжать с Вами эту переписку...»

Тем же летом из-под пера Нечаева вышел еще более одиозный документ — пресловутый «Катехизис революционера». Написан он рукой Сергея, но, безусловно, не без влияния Бакунина. «Катехизис» публиковался неоднократно (и размещен на многих интернет-сайтах). Написан он настолько емким и лапидарным языком, что приводить его фрагментарно почти не представляется возможным. Тем более что с композиционной точки зрения в нем нет ничего лишнего и изъятие какой-нибудь одной части сразу же нарушает логику всех остальных. Поэтому считаем уместным привести полностью все его 26 пунктов.

Катехизис революционера

Отношение революционера к самому себе

1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью — революцией.

2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условностями и нравственностью этого мира. Он для него враг беспощадный, и если бы он продолжал жить в нем, то для того только, чтобы его вернее разрушить.

3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказывается от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку — науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого изучает денно и ночью живую науку — людей, характер, положения и все условия настоящего общественного строя во всех возможных слоях. Цель же одна — наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя.

4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему.

5. Революционер — человек обреченный, беспощаден для Государства и вообще для всякого сословно-образованного общества, он не должен ждать для себя никакой пощады. Между ним и обществом существует тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь или на смерть. Он должен приучить себя выдерживать пытки.

6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Денно и ночью должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть, и погубить своими руками все, что мешает ее достижению.

7. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение; она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционная страсть, став в нем обыденностью, ежеминутностью, должна соединяться с холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес революции.

Отношения революционера к товарищам по революции

8. Другом и милым человеком для революционера может быть только человек, заявивший себя на деле таким же революционным делом, как и он сам. Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется единственно степенью его полезности в деле всеразрушительной практической революции.

9. О солидарности революционеров и говорить нечего: в ней вся сила революционного дела. Товарищи-революционеры, стоящие на одинаковой степени революционного понимания и страсти, должны, по возможности, обсуждать все крупные дела вместе и решать их единодушно. В исполнении, таким образом, решенного плана каждый должен рассчитывать, по возможности, на себя. В выполнении ряда разрушительных действий каждый должен делать сам и прибегать к совету и помощи товарищей только тогда, когда это для успеха необходимо.

10. У каждого товарища должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных. На них он должен смотреть как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу. На себя он смотрит как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела, только как на такой капитал, которым он сам и один без согласия всего товарищества вполне посвященных распоряжаться не может.

11. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос, спасти его или нет, революционер должен сообразиться не с какими-нибудь личными чувствами, но только с пользой революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем, с одной стороны, а с другой — трату революционных сил, потребных на избавление, и на которую сторону перетянет, так и должен решить.

Отношение революционера к обществу

12. Принятие нового члена, заявившего себя не на словах, а на деле, в товарищество не может быть решено иначе, как единодушно.

13. Революционер вступает в государственный, сословный, так называемый образованный мир и живет в нем только с верою в его полнейшее скорейшее разрушение. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Он

не должен останавливаться перед истреблением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащих к этому миру. Все и вся должны быть ему равно ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные отношения; он не революционер, если они могут остановить его руку.

14. С целью беспощадного разрушения революционер может, и даже часто должен, жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер должен проникнуть всюду, во все высшие и средние классы, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в 3-е отделение и даже в императорский дворец (данный тезис почти дословно повторяет уже приводившуюся выше мысль Бакунина. — *В. Д.*).

15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий: первая категория неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных, по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих.

16. При составлении таких списков и для установления вышереченного порядка должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в товариществе или в народе. Это злодейство и эта ненависть могут быть отчасти и полезными, способствуя к возбуждению народного бунта. Должно руководствоваться мерой пользы, которая должна произойти от смерти известного человека для революционного дела. Итак, прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации, а также внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его умных и энергичных людей, потрясти его силу.

17. Вторая категория должна состоять из таких людей, которым даруют только временно жизнь для того, чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта.

18. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом, ни энергией, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием, силой. Надо их эксплуатировать возможными путями; опутать их, сбить с толку и, по возможности, овладев их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Их власть, влияние, связи, богатства и сила сделаются, таким образом, неистошмой сокровищницей и сильной помощью для разных предприятий.

19. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибирать их к рукам, овладев их тайнами, скомпрометировать их донельзя, так чтобы возврат для них был невозможен, и их руками мутить Государство.

20. Пятая категория — доктринеры, конспираторы, революционеры, все праздноглаголящие в кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практические, головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих.

21. Шестая и важная категория — женщины, которых должно разделить на три главных разряда: один — пустые, бессмысленные, бездушные, которыми можно пользоваться, как третьей и четвертой категориями мужчин; другие — горячие, преданные, способные, но не наши, потому что не доработались еще до настоящего бесфразного и фактического революционного понимания. Их должно употреблять, как мужчин пятой категории; наконец, женщины совсем наши, то есть вполне посвященные и признавшие всецело нашу программу. Мы должны смотреть на них как на драгоценнейшее сокровище наше, без помощи которых нам обойтись невозможно.

Отношение товарищества к народу

22. У товарищества нет другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть чернорабочего люда. Но убежденное в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможны только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию.

23. Под революцией народной товарищество понимает нерегламентированное движение по западному классическому образцу — движение, которое всегда, останавливаясь перед собственностью и перед традициями общественных порядков так называемой цивилизации и нравственности, до сих пор ограничивалось везде низвержением одной политической формы для замещения ее другой и стремилось создать так называемое революционное государство. Спасительной

для народа может быть только та революция, которая уничтожает в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции порядка и классы России.

24. Товарищество поэтому не намерено навязывать народу какую бы то ни было организацию сверху. Будущая организация, без сомнения, выработается из народного движения и жизни. Но это — дело будущих поколений. Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение.

25. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания Московского государства не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с Государством; против дворянства, против чиновничества, против попов, против торгового мира и против кулака-миroeда. Мы соединимся с лихим разбойничьим миром: этим истинным и единственным революционером в России.

26. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всеокрушающую силу — вот вся наша организация, конспирация, задача.

Интересно, под какими пунктами нечаевского «Катехизиса» подписался бы Бакунин, а под какими нет. Думается, что под наиболее одиозными вряд ли бы подписался. Однако, хотя по своему личному складу Бакунин был исключительно добрым и доверчивым человеком, во имя революции он всегда готов был идти на крайние меры и согласиться со многим, что предлагал Нечаев. Но о терроре Бакунин не говорил (хотя и почитался многими будущими террористами — от народовольцев до эсеров). О терроре говорил Нечаев — да так, что и сегодня от его слов дрожь берет: «Данное поколение должно начать настоящую революцию... <...> должно разрушить все существующее сплеча, без разбора, с единым соображением “скорее и больше”. <...> Яд, нож, петля и т. п.! Революция все равно освящает в этой борьбе. <...> Это назовут терроризмом! Этому дадут громкую кличку! Пусть! Нам все равно!»

Прямо скажем, странно-превратное представление было у Сергея Нечаева о революции, сводившейся, по существу, к глубоко законспирированному заговору и беспощадному индивидуальному террору. Народу же — главной движущей силе любой революции — отводится лишь роль зрителя, пассивно наблюдающего за разворачиванием кровавой драмы. Одновременно Нечаев бросал вызов всему старому миру, о котором говорил с нескрываемой ненавистью и безо всяких

нравственных обязательств: «Мы из народа, со шкурой, прохваченной зубами современного устройства, руководимые ненавистью ко всему ненародному, не имеющие понятия о нравственных обязанностях и чести по отношению к тому миру, который ненавидим и от которого ничего не ждем, кроме зла». Одним словом, трепещите, тираны...

Помимо всего прочего, Нечаев был прирожденным авантюристом и политическим мистификатором. За границей он уверял, что представляет несуществующий Всероссийский революционный комитет, за которым стоят сотни и тысячи не менее мифических последователей. В России же на малочисленных собраниях и сходках он, напротив, утверждал, что является полномочным представителем Русского отдела Всемирного революционного союза, филиалы которого разбросаны по всем континентам и способны в любое время призвать к революционному выступлению широчайшие народные массы. Каждому желающему Нечаев демонстрировал мандат, написанный от руки Бакуниным и скрепленный его личной подписью, что производило магическое воздействие в любой молодежной (и не только молодежной) среде: «Как же — сам Бакунин, чье имя в России произносилось не иначе как шепотом!» Мандат был не фальшивым, а подлинным: в последний момент Бакунин по рекомендации Огарева сочинил означенную «бумагу» и вручил ее молодому другу.

Дабы опробовать на практике свои террористические методы борьбы, Сергей Нечаев в конце августа 1869 года под чужим именем отбыл из Швейцарии в Россию. 3 сентября он уже был в Москве, где вскоре организовал глубоко законспирированную подпольную группу под названием «Народная расправа». Расправа, однако, началась не с ненавистных царских сатрапов и церберов монархического режима, а с убийства собственного соратника, заподозренного в измене. Первой (и, по счастью, последней) жертвой нечаевской группы стал студент Земледельческой академии И. Иванов, коллективно задушенный в глухом углу академического парка. Замученного товарища добились из револьвера — выстрелом в голову — и утопили в неглубоком пруду.

Зверская сцена почти с фотографической точностью описана Ф. М. Достоевским в романе «Бесы». Труп обнаружили через четыре дня, завели уголовное дело и вскоре арестовали всех соучастников дикого преступления — за исключением Нечаева. Сергею вновь удалось ускользнуть от полиции и благополучно добраться до Швейцарии. Здесь за ним, как за опасным *уголовным преступником*, началась настоящая

охота со стороны швейцарских сыщиков и русских тайных агентов. На политическое убежище рассчитывать не приходилось. Началась жизнь в условиях глубокой конспирации. Бакунин, проживавший в то время с семьей в Локарно, по-прежнему готов был предоставить молодому соратнику кровать, стол и тайное убежище, хотя Антося со дня на день ждала рождения ребенка.

Нечаев быстро освоился в новой обстановке и вскоре приступил к прежней пропагандистско-издательской деятельности. Материальных трудностей Сергей не испытывал, так как за неделю до смерти Герцена ему удалось с помощью Огарева получить вторую половину «бахметьевского фонда». После смерти Герцена пределом нечаевских мечтаний стало возобновление издания герценовского «Колокола» и привлечение к редакционной работе Огарева, Бакунина, а для преемственности — членов семьи Александра Ивановича. Последние, как и Бакунин, категорически отказались, Огарев согласие дал. В марте 1870 года тысячным тиражом вышел первый номер возобновленной самой знаменитой русской нелегальной газеты. На титуле значилось: «Орган русского освобождения, основанный А. И. Герценом (Искандером). (Под редакцией агентов русского дела.)». От прежнего «Колокола» он отличался как небо от земли. Всего вышло шесть номеров, никакого влияния на общественное мнение ни в России, ни за ее пределами они не оказали.

О деталях убийства петербургского студента Иванова русская эмиграция поначалу ничего не знала. Считалось, что его настигло справедливое революционное возмездие, а за Нечаевым закрепился ореол мученика. Истина открылась через полгода, когда четверо «нечаевцев» сели на скамью подсудимых и против них начался открытый судебный процесс, широко освещавшийся в русской и зарубежной прессе. У Бакунина наконец-таки открылись глаза; в своем дневнике он лаконично записал: «Процесс Нечаева. Какой мерзавец!» (Однако позже он скорректировал свое мнение.) Той же позиции придерживалось большинство русских эмигрантов. Но относительно выдачи беглеца в Россию мнение было не столь однозначным. По этому поводу состоялось даже специальное собрание эмигрантской общественности под председательством Огарева, к какому-то определенному решению оно не пришло. Бакунин же переживал подлинную внутреннюю драму. Полный и окончательный разрыв с недавним другом давался ему нелегко. Слишком много надежд возлагалось на этого человека. По существу, сам он был сплошная, не оправдавшая себя надежда.

В конце концов Бакунин также простил Нечаева, как его самого простил отец. Он и на самом деле чувствовал к своему ученику отеческую привязанность, она легко прочитывается между строк в прощальном письме Сергею: «На Вас я не сержусь и не делаю Вам упреков, зная, что, если Вы лжете или скрываете, умалчиваете правду, Вы делаете это помимо всех личных целей, только потому, что Вы считаете это полезным для дела. Я и *мы все* горячо любим и уважаем Вас именно потому, что никогда еще не встречали человека, столь отреченного от себя и так всецело преданного делу, как Вы. <...> Я признавал и признаю в Вас огромную и, можно сказать, абсолютно чистую силу — чистую от всякой себялюбивой и тщеславной примеси, силу, подобную которой я не встречал еще в других русских людях...»

Подчеркнутые в письме Бакунина слова «мы все» не случайны. Он имел в виду не только Огарева, но и развертывавшийся на его глазах роман между Нечаевым и старшей дочерью покойного А. И. Герцена Натальей Александровной (или, как все ее звали, Татой) (1844—1936). Впечатлительное, отзывчивое, утонченно воспитанное и вместе с тем легко ранимое существо (к тому же страдавшее нервным заболеванием), она после смерти отца стала подлинной наследницей его дела: именно в ее руках оказалось теперь решение многих финансовых, издательских и организационных вопросов. Бакунин с Огаревым (как, впрочем, и многие другие) души в ней не чаяли, а последний просто называл ее своей дочерью. С беззаветной самоотверженностью, на какую способны только русские женщины, Тата попыталась отдаться делу революционной борьбы, считая это к тому же и прямым дочерним долгом. Возможно, со временем она могла бы сделаться непреклонной революционеркой, одной из тех, кто не колеблясь бросались с револьвером и бомбой на царских сатрапов и заканчивали свою жизнь на виселице или в бессрочном заключении. Возможно... если бы на ее пути не встретился Нечаев.

Сначала их связывали только эпизодические деловые отношения. Тата была на три года старше двадцатидвухлетнего Сергея. Вполне естественно, что у молодых людей возник интерес друг к другу. Хотя впоследствии Наталья Герцен, прожившая после описываемых событий еще шестьдесят шесть (!) лет, категорически отрицала какую-либо симпатию к Нечаеву, а после ее смерти существование неформальной переписки с Сергеем еще долго скрывалось наследниками, — факты свидетельствуют о другом. Во второй половине XX века — сначала на французском, а затем и на русском язы-

ке — были опубликованы интимный дневник Натальи Александровны Герцен и письма Нечаева, в которых теоретик всемирного терроризма трогательно и настойчиво объяснялся в обыкновенной земной любви к дочери самого известного русского эмигранта*. Нельзя утверждать, что Тата отвечала горячей взаимностью, но само количество писем и подробные дневниковые записи свидетельствуют о том, что ее интерес к пылкому влюбленному сохранялся достаточно продолжительное время. В 25—26-летнем возрасте девушка просто не может не задумываться о своей будущей семейной жизни, а Сергей Нечаев обладал не только импозантной внешностью, но и способностью гипнотически воздействовать на окружающих (в отношении противоположного пола это вполне объяснимое с научной точки зрения качество академик В. М. Бехтерев именовал «сексуальным гипнозом»).

События развивались своим чередом, пока их естествен-

* Вот отрывок из одного письма, написанного скрывавшимся в горной деревне Нечаевым 27 мая 1870 года: «Из головы не выходите вы: что-то думает она теперь? Что у ней в голове? Что будет отвечать? Припоминаю все наши разговоры и чем более вдумываюсь в них, тем более и более недоволен собой. Да, я был слишком крут, слишком резок с вами; я именно запутал вас, никогда не встречавшую ничего подобного. Вас многое удивляло во мне, многое возмущало. Вы слишком нежное и молодое растение, еще только начинающее распускаться. Надо было бережно обходиться с вами, а я поступал с открытой искренностью, с несдерживаемой прямоотой. Вы так привыкли к салонной искусственности, к светской натянутости отношений, что вас, на первых порах, отталкивало от меня только потому, что я заходил за пределы приличий (которые и вы сами в теории признаете глупыми).

Но теперь, кажется, вы привыкли ко мне, вы уже менее стесняетесь свободной речью и не оскорбляетесь проявлениями глубокой, разумной привязанности. Вы понимаете сущность вопроса, имеющего такую громадную важность для меня и для вас. Вы находитесь накануне разрешения жизненной задачи. И я верю теперь, больше чем когда-либо, что вы не останетесь в спячке, не останетесь в детской зависимости, а выступите на свободную, разумную жизнь. Я верю в истину своих убеждений, верю в то, что они возьмут верх. Уверенность в вас у меня так глубока, что я не колебался даже в те минуты, когда вы (от непониманий и необдуманности или под влиянием окружающего), казалось, не увидели меня, когда вы готовы были оторваться от меня.

Повторяю, я был бы слишком слаб, слишком бесхарактерен, если бы сомневался в возможности для вас выхода из вашего зависимого положения, из бессельного жизненного прозябания. Не думаю, чтоб нужно было пояснять мои желания, мои стремления видеть вас *настоящей женщиной*. Причина страстной неотступности для вас ясна. *Я вас люблю...*» (выделено мной. — В. Д.). Между прочим, перед тем как перебраться в удаленный горный район, откуда он слал свои письма, Нечаев около недели скрывался в пансионе, где проживали Тата и ее мачеха Н. А. Тучкова-Огарева: видя безвыходное положение Сергея, они предоставили ему одну из занимаемых комнат.

ное и вполне предсказуемое течение не было остановлено появлением в Женеве молодого русского революционера Германа Александровича Лопатина (1845—1918). Нет, он явился не за тем, чтобы стать третьим элементом классического любовного треугольника. Его появление означало нечто более серьезное: Лопатин привез в Швейцарию разоблачения Нечаева, окончательно сделавшие его изгоем в глазах бывших друзей и соратников. Именно Лопатин раскрыл глаза Бакунину и русской эмигрантской общественности на систематическую и отнюдь не безвинную ложь Нечаева, касающуюся собственной биографии (например, мифического побега из Петропавловской крепости) и, главное, существования в России мощной и разветвленной революционной организации*. Именно Лопатин рассказал Бакунину, в какую некрасивую историю тот попал в связи с шантажом — вплоть до угроз физической расправы — русского издателя перевода первого тома Марксова «Капитала», с которым Бакунин в свое время подписал контракт. Наконец, именно Лопатин поведал всем о той гнусной роли, которую сыграл лично Нечаев в зверском убийстве студента Иванова. И привел доказательство: у Сергея фаланга одного из пальцев была глубоко прокушена до кости, когда умиравшая жертва в смертельной конвульсии сжала зубы на душившей ее руке.

Последний факт поразил Наталью Герцен в самое сердце: она еще в первую встречу с Сергеем обратила внимание на эти шрамы и получила какое-то неправдоподобное объяснение. Теперь же, узнав истинное лицо Нечаева, Тата не только прекратила с ним всякие отношения, но и вообще

* Свое потрясение и разочарование Бакунин выразил в письме к Нечаеву: «Я не могу вам выразить, мой милый друг, как мне было тяжело за вас и за самого себя. Я не мог более сомневаться в истине слов Лопатина. Значит, вы нам систематически лгали. Значит, все ваше дело проникло протухшей ложью, было основано на песке. Значит, ваш комитет — это вы, вы, по крайней мере, на три четверти, с хвостом, состоящим из двух, трех-четырёх человек, вам подчиненных или действующих, по крайней мере, под вашим преобладающим влиянием. Значит, все дело, которому вы так всецело отдали свою жизнь, лопнуло, рассеялось, как дым, вследствие ложного глупого направления, вследствие вашей иезуитской системы, развратившей вас самих и еще больше ваших друзей. Я вас глубоко любил и до сих пор люблю, Нечаев, я крепко, слишком крепко в вас верил, и видеть вас в таком положении, в таком унижении перед говоруном Лопатиным было для меня невыразимо горько. <...> Увлеченный верую в вас, я отдал вам свое имя и публично связал себя с вашим делом. <...> Веря в вас безусловно в то время, как вы меня систематически надували, я оказался круглым дураком — это горько и стыдно для человека моей опытности и моих лет — хуже этого, я испортил свое положение в отношении к русскому и интернациональному делу».

решила выйти из революционной борьбы. Бакунину, одному из немногих, кому она доверяла и с кем была предельно откровенна, Наталья Герцен писала: «Надеюсь, что вы мне не будете больше делать упреков за то, что я с недоверием относилась к нашему *protege* и всем его делам, Михаил Александрович? Вам должно казаться естественно то, что не было для меня *неясно* в наших делах, что я так долго колебалась, стараясь добиться до правды, до ясного понимания, и убедившись, что это почти невозможно, решила отстраниться и не иметь ничего общего с этими *неясными* русскими делами — несмотря на бесконечные разговоры и споры и на все усилия ваши, Огарева и Нечаева убедить меня в том, что я погибну, если *не буду* участвовать в них.

Я помогла себе вообразить, что кто бы то ни было, в самом деле, может увлечься этой отвратительной иезуитской системой, быть ей верен до такой возмутительно-бесчеловечной степени, как Нечаев, — ведь последовательность доходит у него до уродства! Как вы можете еще думать о возможности работать с ним после всего того, что произошло между вами — после всего того, что вы сами рассказывали в вашем письме? На чем же будет основано ваше доверие? А если его нет — как же вы будете с ним работать? Почему вы знаете, что если Нечаев и примет, да, пожалуй, еще подпишет Ваши условия (своим настоящим или каким-нибудь выдуманном именем), что он тайком не будет точно так же надувать Вас, как он это делал в продолжение всего вашего знакомства? Для меня это было бы решительно невозможно. Он хотя и не магнетизировал меня никогда, как вы думаете, кажется (судя по всему, Бакунин оказался все-таки прав! — В. Д.), но он сделал хуже — он отравил и парализовал (так!) меня тем, что он развил во мне такое недоверие, от которого я долго не отделаюсь. *Теперь я ни в каких русских делах участвовать не могу и не хочу...*» (выделено мной. — В. Д.).

Удрученный сложившейся ситуацией, Бакунин немедленно отреагировал, как он сам выразился, «соборным посланием», обращенным не к одной только Тате, но и еще к четырем доверенным лицам — к Огареву, Озерову, Серебренникову и Жуковскому (такие письма обычно именуют циркулярными). В обширном письме Михаил Александрович попытался взять под защиту не столько самого Нечаева как заблудшую личность, сколько тезис о необходимости иметь во главе революционного движения в России именно такого вожака и организатора, каким являлся Нечаев. Однако общетеоретические соображения быстро отодвинулись на задний план и превратились в настоящую апологию преступ-

ника, обращенную прежде всего к Наталье Герцен, дабы попытаться разубедить ее в поспешных категорических выводах.

Бакунин по-прежнему называет Сергея другом и поясняет, что употребляет это слово не в ироническом, а в самом серьезном смысле, ибо несмотря ни на что не перестал смотреть на него как на самого драгоценного (даже — святого!) для русского дела человека — в смысле всецелостной преданности делу и совершеннейшего самоотречения, к тому же одаренного такою энергией, постоянством воли и неутомимую деятельностью, каких никто, никогда и нигде не встречал. Никто не может отрицать в нем этих качеств. Значит, Нечаев — «золотой человек, а золотых людей не бросают». Следовательно, и усилия друзей должны быть устремлены на сохранение его для общего дела.

Безусловно, утверждает Бакунин, в этом золотом, страстно преданном человеке много значительных недостатков, чему удивляться не следует: чем сильнее и страстнее натура, тем ярче выступают ее недостатки. Добродетелен, в смысле отсутствия недостатков, только ноль. Нечаев отнюдь не добродетелен и не гладок, напротив, он очень шероховат, и возиться с ним нелегко. Но зато у него есть огромное преимущество: «...он предается и весь отдается там, где другие дилетантствуют; он — чернорабочий, другие — белоперчаточники; он делает, другие болтают; он есть, других нет; его можно ухватить и крепко держать за какой-нибудь угол, другие так гладки, что непременно выскользнут из ваших рук». Эти другие люди в высшей степени приятны, а он человек совсем не приятный. Несмотря на это, заключает Бакунин, он предпочитает Сергея всем другим, любит и уважает его больше, чем многих других соратников.

Затем учитель переходит к характеристике недостатков своего ученика и выяснению причин, их обусловивших. Бакунин категорически отвергает, как он выражается, «ложную систему иезуитских приемов и лжи», избранную Нечаевым для осуществления своих революционных замыслов. Но почему же, спрашивает судья-обличитель и адвокат в одном лице, подсудимый выбрал такую систему? Разве вследствие ли какого-нибудь порока, гнездящегося в его существе: эгоизма, самолюбия, честолюбия, славолубия, или корыстолюбия, или властолюбия? И отвечает — самому себе и своим адресатам: нет — кто знает хоть сколько-нибудь Сергея, тот поклянется не в том, чтоб у него не было ни малейшего зародыша этих пороков (во всяком нормальном человеке, и особенно в натурах сильных, есть зародыш всех

возможных пороков), — а в том, что жизнь его была такого рода, что большая часть ее не могла в нем развиться, и потому, что в нем все другие страсти подавлялись высшею, революционною или народно-освободительною страстью. Он — высокий фанатик и имеет все качества, а также и все недостатки фанатика. Такие люди бывают часто способны на страшные ошибки.

«Пусть Огарев вам расскажет историю, — пишет Бакунин, — о том, как наш общий друг, покойный Белинский, вдруг сделался яростным поклонником и проповедником царской власти, к ужасу всех друзей. Вот до таких пароксизмов нелепости могут иногда доходить в развитии своем натуры искренние, святые и страстные. А ведь [Нечаев] еще очень молод, и развитие его далеко не кончилось. В основе всего нравственного и умственного существа его — я говорю и утверждаю это с полною уверенностью и по праву, потому что в прошедшем году в продолжение четырех месяцев сряду я жил с ним вместе, можно сказать, в одной комнате, и проводил почти каждую ночь в разговорах о всевозможных вопросах. <...> Итак, я повторяю, в основе всего существа и всех стремлений его лежит страсть к народу, негодование за народ и дикая ненависть ко всему, что давит его, а следовательно, прежде всего к правительству, к государству. Я не встречал еще другого такого искреннего и последовательного революционера, как он. [Нечаев] умен, очень умен, но ум его дик, как его страсть, как его природа, и развился далеко не всесторонне, хотя и не лишен развития значительного. Но в нем все: и ум, и сердце, и воля — а сердца и воли в нем много — все подчинено главной страсти разрушения настоящего порядка вещей; а, следовательно, его ранней мыслью должно было быть создание организации или коллективной силы, способной исполнить это великое дело разрушения — составление заговора».

Призвав на помощь все свое мастерство агитатора, Бакунин пытался убедить ближайших друзей и соратников, что России и мировой революции еще будут нужны такие люди, как Нечаев: «Мысль и цель его ясны: он видел и слишком сильно чувствовал и понимал, с одной стороны, громадность государственной силы, которую надо разрушить; видел с отчаянием, с другой стороны, историческую неразвитость, апатичность, разбросанность, бесконечную терпеливость и тяжелопоподъемность нашего православного народа, который, если б понял и захотел, одним махом своей могучей руки мог бы свалить всю эту государственную постройку, но который, кажется, еще спит сном непробудным, — и, наконец,

видел, с третьей стороны, дряблость нашей молодежи, теряющей всю энергию в нескончаемом и бесцельном резонировании и болтании. В таком виде явилась перед ним русская действительность. Как сломать ее? Где та Архимедова точка, на которую могло бы дело поставить рычаг для того, чтоб поднять этот мир и поставить его вверх ногами? Точка — общая русская беда; рычаг — молодежь. Но в своем настоящем виде эта молодежь далеко еще не рычаг, а паршивое, развратно и бессмысленно доктринерствующее и болтающее стадо. Значит, надо прежде всего преобразовать ее, переменить ее нравы и обычаи.

Что развращает ее пуще всего? Влияние общественной среды. Значит, надо ее оторвать от этой среды. Она привязана к ней двумя нитями: 1-я — карьера; 2-я — семейные связи, сердечные привязанности и тщеславно-общественные отношения. Поэтому надо было... <...> сделать возврат к обществу невозможным — точно так же надо было разбить все семейные связи, все сердечные и тщеславные связи с обществом — и таким способом образовать фалангу суровых абреков, у которых бы сохранилась одна страсть: страсть *государственно-общественного разрушения*. Согласитесь, что это фантазия не маленького ума и не маленького сердца и что в этой фантазии, увы! много законного и много истинного».

Некоторые пассажи обширного бакунинского эпистолярного послания предназначались исключительно для Таты и, по существу, являлись ответом на ее заявление об окончательном разрыве с Сергеем. Однако на правах старшего друга и наставника, близкого по возрасту покойному отцу, Бакунин пытался внушить Наталье Герцен совсем иное видение Нечаева: «Этот человек полон любви, да иначе и быть не может: у кого нет любви, тот не мог бы действовать с таким полным самоотречением, с таким полным забвением не только своих удобств, выгоды, личных желаний, стремлений и чувств, но даже своей репутации и своего имени, — он готов обречь себя на бесчестье, на общее презрение, даже на совершенное забвение о нем для освобождения народа. В этом состоит его *глубокая, высоко-доблестная и девственно-чистая правда* — и силою этой чистоты и правды он давит всех нас: хотим не хотим; если мы хотим быть честными перед самими собою, мы должны перед ним преклониться. Он глубоко любящий человек, он привязывается к людям страстно и все готов отдать своим друзьям, и никак уж нельзя причислить его к тем холодным умам и натурам, которые для достижения своих целей играют людьми, как манекенами. Он не самолюбивый эгоист и не интриган, мои милые друзья, потому что

он не преследует *своих* целей и не только не пожертвует ни одним человеком для *своей* выгоды, для *своей* славы или для удовлетворения *своего* честолюбия, но скорее готов пожертвовать собою для всякого. В этом человеке нежное сердце...»

Да, Бакунин продолжал искренне верить, что только люди, подобные Нечаеву, способны создать в России дееспособную организацию и пробудить народ ко всеобщему бунту. А поскольку в среде русской эмиграции (не говоря уже о ситуации в родном отечестве) похожих людей не было и в помине, постольку оставалось одно — закрыть глаза на вопиющие недостатки Сергея и принять его интерпретацию убийства студента Иванова. В конце концов с предателями беспощадно расправлялись во все времена, в любой общественной формации и в массовом масштабе. И что — за это тоже должен отвечать Нечаев? Лучше не громоздить против него все новые и новые обвинения. Попытаться помочь вновь встать в строй борцов за освобождение человечества.

Возврат Сергея в сообщество честных революционеров, пишет Бакунин в заключение своего «соборного послания», «труден, но не невозможен. А так как он человек драгоценный, и лучше, и чище, и преданнее, и деятельнее, и полезнее нас всех, вместе взятых, — то, оставив все мелкие и самолюбивые движения своей души, все личные чувства и обиды свои в стороне, — я говорю это особенно для Вас, Та-та, — мы должны дружно соединить свои силы для того, чтоб помочь ему выкарабкаться из омута и дать ему возможность на основании взаимной правды, веры и совершенной прозрачности стать в наши ряды, впереди наших рядов — потому что он все-таки будет самым неутомимо и беспощадно деятельным между нами.

Для этого мы должны:

во-первых, уговорившись между собою, без всякого личного самолюбия и без всякой личной обиды для него, поставить ему твердо, определенно и ясно наши условия;

а во-вторых, мы должны, разумеется с его помощью, употребить все усилия для того, чтоб защитить его против злобно-сплетнической болтовни милых и немилых бездельников, спасти его честь и по возможности очистить его имя».

* * *

Швейцарская полиция и русские тайные агенты шли по следу Нечаева, как собаки-ищейки. В конечном счете по наводке провокатора он был выслежен, арестован и выдан русской полиции. Бакунин тотчас же откликнулся на это

событие в письме Огареву от 2 ноября 1872 года: «Итак, старый друг, неслыханное совершилось. Несчастливого Нечаева республика (Швейцарская. — В. Д.) выдала. Что грустнее всего, это то, что по этому случаю наше правительство без сомнения возобновит нечаевский процесс, и будут новые жертвы. Впрочем, какой-то внутренний голос мне говорит, что Нечаев, который погиб безвозвратно и без сомнения знает, что он погиб, на этот раз вызовет из глубины своего существа, запутавшегося, загрязнившегося, но далеко не пошлого, всю свою первобытную энергию и доблесть. Он погибнет героем, и на этот раз ничему и никому не изменит. Такова моя вера. Увидим скоро, прав ли я. Не знаю, как тебе, а мне страшно жаль его. Никто не сделал мне, и сделал намеренно, столько зла, как он, а все-таки мне его жаль. Он был человек редкой энергии, и, когда мы с тобою его встретили, в нем горело яркое пламя любви к нашему бедному забитому народу, в нем была настоящая боль по нашей исторической народной беде. Он тогда был еще неопрятен снаружи, но внутри не был грязен. Генеральствование, самодурство, встретившиеся в нем самым несчастным образом и — благодаря его невежеству — с методою так называемого макиавеллизма и иезуитизма, повергли ее окончательно в грязь...»

В этих в основном доброжелательных словах весь Бакунин с его большим, открытым и, к сожалению, уже очень больным сердцем... Что до Нечаева, то суд приговорил его к пожизненному заключению. Его поместили в одиночную камеру Алексеевского равелина, где ему суждено было провести почти десять лет. По иронии судьбы поначалу он оказался в той же самой одиночке, где когда-то сидел Бакунин. После бурных событий, едва не завершившихся восстанием в Петропавловской крепости, и суда над «перевербованными» им солдатами-охранниками, приговоренными к различным тюремным срокам, условия содержания Нечаева в одиночной камере ужесточились до предела. Он был лишен всего, что обычно еще полагалось даже самым злостным государственным преступникам, — чтения, прогулок, бани, теплой зимней одежды, покупки дополнительных продуктов. Рацион казенного питания урезали настолько, что, по существу, он означал медленную смерть от голода. Цинга и водянка ускорили трагический конец. Узник перестал передвигаться и через какой-нибудь год скончался от истощения сил и неизлечимых болезней. Труп закопали в неизвестном месте, все написанное заключенным за время пребывания в крепости сожгли...

С недавнего времени вошло в моду не только отождествлять Бакунина с Нечаевым, но и сравнивать то с одним, то с другим героем романа Ф. М. Достоевского «Бесы»* (как и вообще поминать этот классический шедевр к месту и не к месту). Чаще всего Бакунина называют прототипом Николая Ставрогина. В действительности между двумя этими личностями — реально-исторической и литературно-вымышленной — нет практически ничего общего, за исключением разве что армейского прошлого: оба служили в неохоту и рано вышли в отставку. Безусловно, в романе Достоевского есть носители бакунинских идей, а также налицо попытка персонифицировать и окарикатурить некоторые мысли, традиционно приписываемые Бакунину.

Наиболее характерным в данном плане является Петр Верховенский, идейным вдохновителем и образцом для подражания которого в романе выступает Николай Ставрогин. Главная цель («хрустальная мечта») Петруши Верховенского — устроить такую смуту на Руси, чтобы «все поехало с основ». «Весь... шаг пока в том, чтобы все рушилось: и государство, и его нравственность, — разглагольствует Верховенский-младший. — Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти: умных приобщим к себе, а на глупцах поедем верхом. <...> Мы провозгласим разрушение. <...> Надо косточки поразмять. Мы пустим пожары. Мы пустим легенды. <...> И начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видел... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам». Затем предлагается «пустить самозванца (Ивана-царевича)», что будет лучше всякого социализма. Для всего этого хороши любые средства — пьянство, разврат, а всякого гения желательно «потушить в младенчестве». Два поколения разврата, «и человек превращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь». Разве это Бакунин? Это, скорее, реалии России конца XX — начала XXI века, гениально предвиденные великим русским писателем!

У Достоевского, разочаровавшегося в идеях утопического социализма фурыеристского типа, еще на каторге сложилось стойкое убеждение о пагубности революционного дви-

* Между прочим, в первые годы заключения в Петропавловской крепости, когда условия содержания были еще достаточно сносными и узнику разрешалось чтение беллетристики, Нечаев познакомился с романом Достоевского, лучше всякого суда разоблачавшим «нечаевщину». Реакция Сергея неизвестна, так как все его записи и заметки после смерти были уничтожены.

жения для России. В романе «Бесы» это представление приобрело пародийно-гротескную форму и зажило своей особой литературной жизнью, не имеющей никакого отношения ни к биографии, ни к мировоззрению Бакунина. Так, в эпизоде обсуждения бредовой концепции Шигалева теория всеобщего разрушения превращается в тезис о необходимости «срезать 100 миллионов голов». Ничего подобного ни Бакунин, ни даже Нечаевым никогда не предлагалось. Напротив, выше приводилось бакунинское высказывание, диаметрально противоположное приведенному. Что касается сопряженности бакунизма с нечаевщиной, то реальное положение дел также было уже рассмотрено выше. Казалось бы, убийство группой Верховенского — Ставрогина порвавшего с ними Ивана Шатова детально списано с реального факта убийства «пятеркой» Нечаева студента Иванова. Безусловно, Достоевский пристально следил за нечаевским процессом, и у него были веские (хотя и субъективные) основания связывать нечаевщину с идеями и влиянием Бакунина. В романе же «Бесы» всё смешалось — реальность и домыслы. В результате бакунинские идеи (которых Достоевский досконально не знал) претерпели в художественном произведении значительную трансформацию.

Бакунин поминается в «Бесах» косвенно, в связи с замечанием второстепенного персонажа — демагога Липутина — о взглядах Алексея Кириллова, четыре года проведенного за границей: дескать, он является приверженцем «новейшего принципа всеобщего разрушения». Действительно, Алексея Ниловича Кириллова можно считать анархистом чистой воды, хотя его пессимистическая философия смерти к идеям Бакунина никакого отношения не имеет. Зато некоторые пункты бакунинской политической философии и атеизма обнаруживаются в тексте прокламаций, что некогда в Петербурге распространял молодой Лебядкин: «Закройте церкви, уничтожайте Бога, нарушайте браки, уничтожайте права наследства, берите ножи». (Достоевский, кстати, делает знаменательное замечание: атеист вообще не может быть русским человеком.)

Одним словом, считать Бакунина прообразом каких-либо персонажей романа «Бесы» — это более чем натяжка. Бакунин — это не висельник Ставрогин и не политический шулер Верховенский-младший. Бакунин — это Бакунин и никто другой, личность титаническая, колоритная и неповторимая, чуждая ставрогинскому имморализму и беспринципности Петруши Верховенского. Монументальная личность «апостола свободы» попросту не может иметь что-либо об-

щее с суетливым болтуном Верховенским или утонченным развратником и насильником Ставрогиным: имеется в виду не только обольщение трех главных женских персонажей романа — Марии Лебядкиной, Лизы Дроздовой и Дарьи Шатовой, — но и надругательство над десятилетней девочкой Матрешей, повесившейся, не перенеся позора (глава «У Тихона», отклоненная при первопубликации романа по цензурным соображениям).

Достоевский блестяще воссоздал и разоблачил им же придуманную бесовщину русской интеллигенции. Что касается вечно мятущейся и ищущей русской души, насквозь сотканной из противоречий, то здесь позиция писателя намного сложнее. Более того, как бы парадоксально сие ни прозвучало, она сродни бакунинской, еще в годы далекой молодости сложившейся под влиянием классической немецкой диалектики. Противоречивость русской души самого Достоевского, пожалуй, лучше всего иллюстрирует эволюция образа одного из самых праведных и наиболее близких писателю героев — Алеши Карамазова.

Как известно, последний роман Достоевского «Братья Карамазовы» должен был завершиться самым непредсказуемым и парадоксальным образом. По воспоминаниям друзей Федора Михайловича и его вдовы, Алеша Карамазов, полностью и окончательно разочаровавшись в гнусностях повседневной жизни и произволе властей, становится *революционером* (по некоторым данным — народовольцем-террористом) и участвует в подготовке царевубийства. Что это — все та же бесовщина? Ничуть! Это закономерное развитие человека, который, как и другие его два брата, не приемлет жуткую действительность, обусловленную существующим общественным строем. Чтобы что-то изменить, требуется прежде всего сломать, взорвать, уничтожить существующую систему общественных отношений и поражающий их базис. Не бакунинская ли это мысль? Не напоминает ли Алеша Карамазов в этой своей нереализованной ипостаси молодого бунтаря Мишеля Бакунина?

Глава 11

АГОНИЯ ТИТАНА

Последние годы жизни Бакунин провел в Швейцарии, предпочитая южную ее часть со значительной долей италоговорящего населения. Здесь, в Локарно, недалеко от границы с Италией, в окружении молодых итальянских друзей и прозелитов, его часто навещали отовсюду приезжавшие гости. Жизнь по-прежнему была трудной, семью содержать было не на что. Антония Ксаверьевна, едва сводившая концы с концами, в начале 1872 года обратилась как-то в отчаянии и втайне от мужа к старому другу Огареву с письмом, дающим представление о их жизни в Локарно: «Николай Платонович. Нужда теснит нас. Хозяйка отказала б нам в квартире, если б мы не выплатили к 8 февраля (срок месячный найма квартиры) 317 фр[анков]. Мы были принуждены сделать [краткосрочный заем] в 300 фр[анков], и в конце февраля мы должны выплатить эту сумму в здешний национальный банк, иначе у нас опишут все наши вещи. Николай Платонович, вы легко поймете мое отчаяние, мой ужас, не из страха потери наших вещей, но нам после этого нельзя будет даже оставаться в Локарно. Я все средства уже истощила, я не знаю, что делать. Семья моя далеко, Мишель не имеет никаких средств, у меня двое маленьких детей. Николай Платонович, вы старый друг Мишеля, постарайтесь помочь нам, спасите нас от горького стыда описания нашего бедного имущества. Отвечайте, отвечайте скорее ради всего, что есть для вас святого. Простите беспорядок моего письма, но мне так тяжело, что и голова неясна. Пишу без ведома Мишеля, который был бы против моего письма...»

По какой-то неизвестной причине Огарев, ранее много раз выручавший Бакунина, на сей раз помочь не сумел (или не успел). И Антося спустя десять дней пишет новое, исполненное такого же отчаяния, письмо: «Николай Платонович. Не сейчас отвечала вам потому, что мне грустно было; не знаю как, но я имела надежду, что вы успеете помочь нам.

Ошиблась. Простите беспокойство, бесполезную тревогу, причиненную вам моим письмом. Ничего не пишите о моем письме Мишелю. К чему! <...> Не нам первым, не нам последним познакомиться близко с настоящей нуждой. До этих пор мы как-то счастливо ее избегали, а теперь, а теперь, вероятно, придется и нам заплатить ей дань. Что касается Герценов, мне почти неизвестны Мишеля отношения с ними; я так чужда всей остальной жизни, кроме моих детей...»

Чуть позже Бакунину все же удалось раздобыть денег для поездки жены в Россию, откуда она намеревалась вывезти старого и больного отца. Но сам он, после того как Антося надолго уехала, оставил обжитую квартиру и поселился в таверне, где одновременно и столовался. Его нищенский быт описан в воспоминаниях бежавшего из России студента-медика Земфирия Константиновича Ралли-Арборе (1849—1933), навестившего Бакунина в Локарно. Почти все средства из его архискудного бюджета уходили на оплату почтовых расходов: вождь мирового анархизма вел непрерывную и обширнейшую переписку со всей Европой. На чай, кофе, табак денег (разумеется, когда они были) не жалел. В остальном — как придется. О своем распорядке дня поведал сам. В 11 часов утра — скромный завтрак, через полтора часа — обязательный визит в кафе — исключительно для чтения свежих газет и ранее назначенных встреч. После непродолжительной прогулки — сон с 16 до 20 часов. Далее до 22 часов — чай и деловые встречи. И, наконец, ночь — самая активная часть каждодневной жизни, работа за столом над статьями и письмами. Он был любимцем местной детворы, и, когда выходил из дома, ватаги мальчишек хором приветствовали его: «Да здравствует Мишель!»

Иногда навещался в Цюрих, мог прожить там до двух месяцев, ежедневно общаясь со своими соратниками. Его мощная, издалека заметная фигура в особенности привлекала обучавшихся здесь русских студентов. Часть из них обедала в одном с ним кафе. Для молодежи (независимо от конкретных политических убеждений) Бакунин был живой легендой, вызывавшей неподдельное восхищение. Одна бывшая русская студентка опубликовала на основе своего девичьего дневника под псевдонимом Е. Ель воспоминания о пребывании в Цюрихе «отца анархии» спустя двадцать лет после его смерти. Непритязательная, но точная зарисовка позволяет почти воочию представить Бакунина тех дней:

«<...> Дверь широко распахнулась, и в ней показалась громадная фигура Михаила Александровича Бакунина. Все мгновенно замолкли, глаза всех невольно устремились на

Бакунина. Но Михаилу Александровичу обращать на себя внимание было делом таким привычным, что он, не смущаясь вызывающими взглядами, своей ровной, легкой и свободной походкой прошел через всю комнату к своему месту. Так как внимание всех присутствующих сосредоточилось на нем, то за ним прошла незамеченною вся его многочисленная свита, состоявшая из французов, испанцев, итальянцев, русских и сербов. Заметили, впрочем, еще высокую полную даму, так сильно задевшую стол, что на нем загремели стаканы. “Эка ты, матушка!” — сказал ей Бакунин и тем заставил ее покраснеть, а других засмеяться.

Бакунин уселся так близко от меня, что я, несмотря на свою близорукость, могла хорошо рассмотреть его огромную голову с львиной гривой густых волос, благообразное, хотя и неправильное, чисто русское лицо с неопределенным носом и широкими скулами, с грубым румянцем пожилого человека. Ему, сколько мне известно, пятьдесят девять лет, но он смотрится моложе; серые глаза его в одно и то же время как-то наивны и зорки; они выражают попеременно и добродушие, и русское “себе на уме”. Одет он в какую-то неопределенного покроя серую пару, пожелтевшую от времени. Однако он нисколько не имеет вида человека, дурно одетого, вполне оправдывая пословицу: человек красит платье.

Прислуживать за бакунинским столом пришлось Берте, и я видела, с каким страхом в глазах подносила она ему кушанья, не подходя к нему близко и вытягивая руки с блюдом. Ее локоны так и дрожали. А Бакунин, оживленно разговаривая со своим интернационалом, не только не замечал внушаемого им страха, но поглядывал на Берту в высшей степени добродушно. Обращаясь то к одному, то к другому из присутствующих, он говорил то по-немецки, то по-итальянски, то по-французски, то по-испански, нисколько не стесняясь, но в конце концов русская речь взяла перевес. Как видно, он был сегодня в ударе; вспоминал свою молодость, Москву, дружбу с Белинским; все слушали его свободную, прекрасную речь не только за его столом, но и за нашим. Никто не решался говорить в присутствии такого оратора, но за столом Бакунина царствовало восторженное, несколько подобострастное молчание, а за нашим все молчали, внутренне досадуя на себя, что нет смелости заговорить. После обеда Бакунин не собирался тотчас же уходить, спросил у кого-то папиросу и обратился ко мне с просьбою разрешить ему курить. Это возмутило всех его дам; они закричали было: “Вот еще!” Но он остановил их жестом своей мощной руки и прибавил: “Кажется, я не вас спрашиваю”...»

Спустя месяц студентка встретила Бакунина на улице в широкополой шляпе, украшенной красной лентой. За ним следовала толпа зевак всех национальностей, исключая швейцарцев, и автору мемуаров вспомнилась строка из басни Крылова: «По улице слона водили»... Особенно выделялись в разношерстной толпе русские эмансипированные женщины, наслаждавшиеся воздухом относительной швейцарской свободы. Они повсюду сопровождали Бакунина, если он только позволял, готовили ему еду на спиртовке, чинили одежду, где только можно занимали для него деньги и звали «стариком». Некоторые докучали неумными вопросами и получали на них язвительные ответы, сарказм которых до бесцеремонных особ, как правило, не доходил. Одна такая назойливо выпытывала: «Михаил Александрович, скажи, пожалуйста, если бы ты добился исполнения всех своих планов: разрушил бы все до основания, а на развалинах построил задуманное, что бы ты стал делать на другой день?» На это Бакунин с хитровой улыбкой русского мужика ответил: «Начал бы разрушать всё заново!»...

Между тем активная пропагандистская и конспиративная деятельность Бакунина стала изрядно раздражать швейцарские власти. На повестку дня встал вопрос о его насильственной высылке за пределы республики. Официальное решение на сей счет уже подготавливалось; единственное, что могло ему помешать — обзаведение солидной недвижимостью. Согласно швейцарским законам, иностранец — собственник земли в любом из кантонов — выселению не подлежал. В данной связи друзья-анархисты задумали оригинальную комбинацию: приобрести на имя Бакунина имение (желательно у самой границы с Италией), тем самым превратив его в собственника и сделав неуязвимым для возможных репрессий. Сам же купленный дом превратить в штаб-квартиру «Альянса социалистической демократии» и других организаций, возглавляемых «апостолом грядущих революций», а заодно приспособить для размещения типографии, тайного склада оружия и убежища для лиц, скрывающихся от преследования полиции.

Сыскался и человек, готовый финансировать затейный проект. Молодого итальянского аристократа, восторженного поклонника Бакунина, звали Карло Кафиеро. Он только что получил наследство и мечтал использовать его для революционной борьбы, а тут как раз и представился прекрасный случай. Быстро подыскали подходящую виллу, имевшую по традиции собственное имя — «Бароната», и Бакунин в глазах местных властей сразу же превратился в почтенного буржуа. Ему и самому нравилось новое владение.

М. П. Сажин, одним из первых навестивший своего учителя, оставил подробное описание виллы «Бароната». «Весь участок земли составлял не больше одной трети десятины и был расположен по склону горы, у подошвы которой вдоль озера Лаго-Маджоре шло шоссе на Локарно, служившее границей “Баронаты”. На этом участке был виноградник в 20—25 квадратных саженей, несколько грядок с овощами, цистерна для воды и старый двухэтажный дом, оштукатуренный снаружи и внутри. В нижнем этаже помещались кухня, столовая и две комнаты для приезжих гостей, а в верхнем — еще две комнаты и соединяющая их крытая веранда. В одной из верхних комнат жил Бакунин, в другой — Кафиеро с женою. Все комнаты были небольшие, закоптелые и довольно грязные, — итальянцы живут вообще грязновато. Меблировка была прямо убогая: в столовой — простые белые табуретки, скамейки и колченогие стулья, в нашей комнате стоял диван с продавленным сиденьем, на котором спали приезжающие, и стол с двумя очень древними стульями. Передний фасад дома обращен был на озеро, и перед ним по склону вниз посажено было много самых обыкновенных цветов; сзади дома была площадка, на которую был выход из дома. С этой площадки зигзагом вниз к озеру тянулась дорога шириною аршина в 3—4. Остальная местность представляла собою голый камень, и только кое-где виднелся кустик или какое-либо дерево. Зато вид на озеро и противоположные горы был великолепный. Бакунин занимал одну комнату, в которой в углу стояла большая кровать с мочальным матрасом, посередине комнаты — большой простой белый стол, заваленный газетами, книгами, бумагами и табаком, 4—5 стульев, простые белые полки с книгами, комод для белья, да на стене висели пара платья, пальто и шляпа. Было также бедно и грязновато, как и прежде. В доме жила одна прислуга, простая крестьянская женщина, стряпуха, довольно уже пожилая; она убирала комнаты и стряпала обед».

Запущенная вилла требовала капитального ремонта и расширения за счет разного рода пристроек. Бакунин и Кафиеро затеяли грандиозную реконструкцию, наняли архитектора и бригаду строителей. Однако в хозяйственных и финансовых вопросах оба разбирались очень плохо, поэтому быстро стали жертвами нечестных подрядчиков. Деньги у спонсора закончились, когда строительные работы были в самом разгаре. Между недавними друзьями начались трения, приведшие вскоре к охлаждению деловых и всех остальных отношений. В это же время из России вернулась Антония Ксаверьевна с детьми и старым отцом. Она не зна-

ла деталей имущественных и договорных отношений мужа с малознакомыми ей компаньонами, посчитала, что в общем-то понравившаяся вилла принадлежит целиком и полностью ее семье и потребовала (в отсутствие Бакунина), чтобы Кафiero с женой освободили занимаемые помещения. Разразившийся скандал привел к полному разрыву между недавними друзьями.

Бакунин вынужден был отказаться от прав на виллу «Бароната» и вернулся на частную квартиру. Как-то во время поездки в Берн для консультации с врачами он столкнулся с давним знакомым — П. В. Анненковым, рассказавшим об этой встрече в письме И. С. Тургеневу: «Громадная масса жира, с головой пьяного Юпитера, растрепанной, точно она ночь в русском кабаке провела, — вот что предстало мне в Берне под именем Бакунина. Это грандиозно, и это жалко, как вид колоссального здания после пожара. Но когда эта руина заговорила, и преимущественно о России и что с ней будет, то опять явился старый добрейший фантаст, оратор-романтик, милейший и увлекательный сомнамбул, ничего не знающий и только показывающий, как он умеет ходить по перекладинам, крышам и карнизам».

* * *

Естественно, вовсе не семейные заботы и хозяйственные вопросы были у Бакунина на переднем плане. Он по-прежнему грезил революциями — на сей раз в Испании и Италии. В Испании после провозглашения кортесами 11 февраля 1873 года республики назревала революционная ситуация. Бакунисты оказывали здесь определенное воздействие на общественное мнение народных масс, но, для того чтобы довести дело до всеобщего восстания, не хватало вождя, который смог бы направить разрозненные выступления в единое русло. Бакунин, как всегда, рвался в бой, намереваясь личным примером вдохновить горячих испанцев, но неожиданно встретил противодействие — на сей раз не со стороны врагов, а со стороны друзей. Его итальянские соратники денег на дорогу не дали, заявив в категорической форме, что в связи с проблемами со здоровьем «старик» следует сосредоточить внимание не на Испании, а на Италии.

Здоровье его действительно становилось все хуже и хуже. Иногда после сна из-за болей в пояснице он без посторонней помощи не мог даже встать с постели. А ведь это была совсем не главная болезнь. Постоянно беспокоили боли в сердце, астма, простатит, водянка, постепенно отказывали

почки, прогрессирующая глухота. Оптимизм и боевитость, отродясь присущие Бакунину, все чаще сменялись пессимизмом и упадническим настроением. Идеейные и житейские размолвки с соратниками не прибавляли радостей жизни. Не прекращались нападки Маркса и его друзей. После очередного выпада со стороны Генерального совета Интернационала, подкрепленного печатным и разосланным по всей Европе и Америке документом, Михаил Александрович, наконец, решил: пора уходить на покой. Решение свое тотчас же подкрепил опубликованным в женеvской газете открытым письмом, обращенным ко всем друзьям и недругам. В начале он посчитал нужным дать отповедь Карлу Марксу, обвинив его в прямой клевете. Затем заявил о своем глубоком отвращении к дальнейшей политической деятельности: «<...> С меня этого довольно, и я, проведший всю жизнь в борьбе, от нее устал. Мне больше шестидесяти лет, и болезнь сердца, ухудшающаяся с годами, делает мне жизнь все труднее. Пусть возьмутся за работу другие, более молодые, я же не чувствую в себе уже нужных сил, а может, и нужной веры, чтобы продолжать катить Сизифов камень против повсюду торжествующей реакции. Поэтому я удаляюсь с арены борьбы и требую у моих милых современников только одного — забвения. Отныне я не нарушу ничего покоя, пусть же и меня оставят в покое».

Одновременно в закрытом письме он обратился к своим сподвижникам по «Альянсу» и Анархистскому интернационалу. Здесь — те же аргументы, но значительно больше политических акцентов и нюансов: «Дорогие товарищи! Я не могу и не должен покинуть политическую жизнь без того, чтобы не адресовать вам последнее слово признательности и симпатии. Почти четыре года с половиной, что мы знаем друг друга, и, несмотря на все происки и клеветы общих врагов, обрушившиеся на меня, вы сохранили мне ваше уважение, вашу дружбу и ваше доверие. Вы не позволили даже запугать себя названием “бакунистов”, которое было брошено вам в лицо. <...> Вы так поступили, и именно потому, что вы имели мужество и стойкость так поступить, мы сегодня победили вполне честолюбивую интригу марксистов во имя свободы пролетариата и будущего Международного товарищества рабочих. Поддержанные стойко нашими братьями в Италии, Испании, Франции, Бельгии, Голландии, Англии и Америке, вы снова направили великое общество Интернационала на путь, с которого диктаторские поползновения г-на Маркса едва не заставили свернуть. <...>

Прошу вас принять мою отставку как... члена Междуна-

родного товарищества рабочих. Поступая так, я имею на то много оснований. Не думайте, что это главным образом потому, что лично я в последнее время был целью клеветнических нападок. Не говорю, что я остался к ним не чувствителен. Все же я нашел бы еще достаточно сил и терпения, если бы я думал, что мое участие в вашей работе, в вашей борьбе, могло бы быть полезным для пролетариата. Но я не думаю так. По рождению своему и по личному положению, но не по симпатиям и стремлениям, я не что иное, как буржуа, и как таковой между вами я не могу делать ничего иного, кроме теоретической пропаганды. Я убежден, однако, что время больших теоретических речей — печатных или произносимых, прошло. Последние девять лет в недрах Интернационала было развито более идей, нежели надобно для спасения мира, если бы одни идеи могли [его] спасти.

Теперь — время не идей, а действий и фактов. Теперь важнее всего — организовать силы пролетариата. Но эта организация должна быть делом самого пролетариата. Если бы я был молод, я бы вошел в рабочую среду и, разделяя трудовую жизнь моих собратьев, я вместе с ними принял бы также участие по этой необходимой организации. Но мой возраст и мое здоровье не позволяют мне сделать это. Они требуют, напротив, одиночества и покоя. Малейшее усилие — одним путешествием больше или меньше — для меня уже большое дело. Морально я чувствую себя еще достаточно сильным, но физически я сейчас же устаю и не чувствую в себе уже нужных сил для борьбы. Поэтому в лагере пролетариата я был бы только лишним грузом, а не помощником. <...>

Я ухожу, дорогие товарищи, полный благодарности к вам и симпатии к вашему святому великому делу — делу человечества. Я буду продолжать следить с братской тревогой за всеми вашими шагами и преклонюсь с радостью перед всякой вашей новой победой. Вплоть до смерти, я ваш». На прощание Бакунин еще раз напомнил о высшей человеческой ценности — СВОБОДЕ, которую свято завещал беречь как зеницу ока и во имя которой только и возможна грядущая революция: «Твердо держитесь принципа большой и широкой свободы, без которой даже равенство и солидарность — только ложь».

Однако «время действий» для «вечного бунтаря» еще не прошло, и, как оказалось, порох в пороховницах совсем не иссяк. Неожиданный поворот событий отодвинул прощание с революцией на задний план. В общем-то, для Бакунина никогда не являлось секретом, что окружавшие его молодые итальянцы во главе с двадцатилетним студентом Андреа Ко-

ста готовили вооруженные восстания в ряде крупных городов Италии с перспективой распространения революции на всю страну. Закупалось оружие, взрывчатка, печатались листовки, велись переговоры с гарибальдийцами, создавались подпольные ячейки, готовые в любое время превратиться в отряды инсургентов. Начать решили с Болоньи, затем к ней должны были присоединиться Флоренция, Неаполь, Равенна и Кремона. Бакунину отводилась особая роль. В случае успеха выступления ему предстояло возглавить временное правительство. В случае же поражения восстания «старика» было рекомендовано *погибнуть на баррикаде (!)*. По мнению итальянских анархистов, гибель в бою всемирно известного революционера вызовет политическое потрясение не только в Италии, но и во всей Европе, а сам Бакунин превратится в символ и знамя всеевропейской революции. Ничего не скажешь — циничная логика, вполне достойная молодых итальянских наследников дела Нечаева!

Самое интересное в этой истории, что Бакунин тоже знал об уготовленной ему участи. Поэтому в Италию из Швейцарии он ехал, охваченный бурей противоречивых чувств. Нет, смерти он не боялся. Он презирал ее всегда и потому никогда не страшился. Во имя революции он был готов стать жертвой и погибнуть на баррикаде с оружием в руках. Еще лучше — с красным знаменем, подобно тургеневскому Рудину. Кто бы мог подумать, что Иван Сергеевич (Ваня, как он его запросто звал во время совместной жизни в Берлине в 40-х годах) смог предвидеть в герое своего романа, списанного с Бакунина, трагическую и вместе с тем героическую смерть своего давнего друга. Но вот что никак не вмещалось в его сознание, это антигуманный цинизм его ближайших (как он до недавнего времени полагал) итальянских друзей, которые недрогнувшей рукой собирались принести своего старого и больного вождя в жертву на алтарь революции.

Восстание в Болонье должно было начаться в ночь на 7 августа 1874 года. Накануне сюда привезли больного Бакунина и поселили на конспиративной квартире. К восставшим ему предстояло присоединиться после захвата арсенала и городской ратуши. Но за ним так никто и не пришел — восстание провалилось, даже не успев начаться. Даже сигнала к выступлению не последовало, так как руководителей восстания по доносу предателей арестовали. Правда, на пустыре близ города собралось около трехсот человек — в десять раз меньше необходимого количества. Оружие им раздали неукomплектованное и устарелое, заряжавшееся с дула, а пули оказались большего калибра. Еще один отряд

окужили поднятые по тревоге войска, рассеяв собравшихся. В городе начались повальные аресты.

Бакунин быстро сообразил, что восстание провалено, что означало окончательное крушение всех его надежд. Впереди он не видел ничего, кроме абсолютной пустоты. Непрерывно мучили боли. Нервы стали сдавать. Душила обида на недавних друзей, сознательно отправивших его на смерть. Отрывочно-лихорадочные строки, оставленные той страшной ночью в дневнике (его вернее было бы назвать нерегулярными хронологическими заметками), свидетельствуют о нахлынувшем отчаянии. Бакунин решил навсегда покончить счеты с жизнью — револьвер был под рукой. Определил даже крайний срок — 4 часа утра. Только внезапное появление связного уберегло его от рокового шага. Ему сбрили бороду, нарядили в длинную сутану священника, нахлобучили широкополую шляпу, надели большие очки, а в руки дали массивную палку и корзину с яйцами. Необходимо было добраться до вокзала, не вызывая подозрений многочисленных патрулей. В последний момент мнимого священника усадили в общий вагон, и поезд тронулся в сторону итало-швейцарской границы.

* * *

Вот теперь Бакунин действительно решил прекратить политическую деятельность. Старому верному другу Огареву он писал: «Я также, мой старый друг, удалился, и на этот раз удалился решительно и окончательно, от всякой практической деятельности, от всякой связи для практических предприятий. Во-первых, потому, что настоящее время для таких предприятий решительно неудобно; бисмаркианизм, то есть военщина, полиция и финансовая монополия, совокупленные в одну систему, носящую имя новейшего государства, торжествуют повсюду. <...> Не говори, чтобы в настоящее время нечего было делать; но это новое дело требует нового метода, а главное — свежих молодых сил, и я чувствую, что я для новой борьбы не гожусь, а потому и подал в отставку... Здоровье мое становится все плоше и плоше, так что к новым революционным попыткам и передрягам я стал решительно не способен».

Пессимистические мысли, отчасти объясняющие настроение отказавшегося от борьбы старого революционера, можно найти в письме от 15 февраля 1875 года к верному сподвижнику — всемирно знаменитому географу Элизе Реклю: «Я согласен с тобою, что время революции прошло не по

причине ужасных катастроф, свидетелями которых мы были, и страшных поражений, жертвами которых мы оказались, но потому, что я, к моему великому отчаянию, констатировал и каждый день снова констатирую, что в массах решительно нет революционной мысли, надежды и страсти, а когда их нет, то можно хлопотать сколько угодно, а толку никакого не будет. <...> Я окончательно отказался от борьбы и проведу остаток дней моих в созерцании — не праздном, а, напротив, умственно очень действенном, которое, как я надеюсь, даст что-нибудь полезное. Одна из страстей, владеющих мной в данное время, это колоссальная любовательность. Раз вынужденный признать, что зло восторжествовало и что я не в силах помешать этому, я принялся изучать его эволюцию и развитие с почти научною, совершенно объективною страстью».

Бакунин всячески пытался вписаться в спокойную размеренную жизнь человека, отошедшего от политики. Читал философскую литературу, особенно пристрастился к недавно скончавшемуся Артуру Шопенгауэру (1788—1860), чей классический труд «Мир как воля и представление» сделался теперь настольной книгой старого гегельянца. Особенно нравилось ему в заголовке слово «воля», означающее в русском языке не только «воление» как таковое (что, собственно, и имел в виду Шопенгауэр), но и во все времена драгоценную для Михаила СВОБОДУ, отсутствие насилия и принуждения. Однако на переднем плане вновь оказались бытовые и хозяйственные заботы. Дабы застраховать себя и семью от всяких случайностей, он решил купить в кредит небольшую (но со значительным участком земли) виллу в окрестности Локарно. Подходящий вариант нашелся в местечке Лугано, куда Бакунин и перебрался в октябре 1874 года вместе со всеми домочадцами.

О жизни Бакунина в его последнем пристанище сохранился ряд подробных воспоминаний многих посещавших его людей, в том числе и незнакомых. Среди них бывший член Парижской коммуны прудонист Артур Арну (1833—1895), скрывавшийся от преследований в Швейцарии и случайно оказавшийся в Лугано. Вот несколько отрывков из его обширных воспоминаний о Бакунине:

«Это был гигант, огромный, могучий и тяжелый, который с трудом прошел бы, не согнувшись, в дверь обыкновенной квартиры. На нем была мягкая серая фетровая шляпа, которую при мне он ни разу не поднял и не снял. <...> Все в нем было пропорционально, бюст, члены, и все в колоссальных размерах, так что, когда он подвигался своей спокойной,

размеренной, твердой и скорее медлительной поступью, шаги его были так широки, что спутник его принужден был почти бежать, чтобы от него не отставать. Огромная голова, покрытая целым лесом длинных всклокоченных волос, не знавших гребенки, и борода, обрамлявшая нижнюю часть лица и часть щек, удачно дополняли общий монументальный вид. У него была калмыцкая внешность с приплюснутыми, широкими чертами и выдающимися скулами. Лоб был высокий, глаза, небольшие, но сверкающие и подвижные, быстро меняли выражение, вспыхивали огнем и грозвыми молниями и выражали дикую суровость. Рот имел ироническое или угрожающее выражение, но временами освещался женской улыбкой. Он шагал прямо, но опустил голову, подобно всем людям слишком высокого роста. <...>

Зимой и летом он носил все тот же костюм, никогда не сменявшийся и состоявший из тяжелых стоптанных сапог, в голенища которых опущены были панталоны, поддерживавшиеся только нетуго затянутым ремнем, из серой развевающейся накидки необычной формы, без талии, застегнутой на одну верхнюю пуговицу. Бычью шею окутывал свободный, плохо повязанный кусок материи, из-за которого местами выглядывал ненакрахмаленный, поношенный воротник, просившийся в стирку. На голове знаменитая мягкая серая фетровая шляпа, имевшая такой вид, точно она никогда не была новой. Этих сапог, этих панталон, этой накидки, этого фуляра, этой шляпы Михаил Бакунин никогда не снимал, даже ночью, так как он спал нераздетый на доске, положенной на низкие козлы и покрытой тюфяком. Эти сапоги, эти панталоны и эта накидка хранили на себе следы грязи всех пережитых зим и пыли всех пережитых лет (а в общем это представляло нечто серьезное), точно так же и запущенная борода часто могла служить обеденным меню прошедшей недели. И при всем том, смею вас уверить, внешность настоящего барина, и никто при виде его не помышлял о смехе или о критике. <...>

Он был ласков, как овечка, и непреодолимый обольститель, если нуждался в вас. Часто он, когда не был печален и мрачен, проявлял тощую и благодушную веселость; он обнаруживал хороший тон и хороший вкус, а также чисто французское остроумие, которое заставляло чувствовать в нем за версту настоящего барина и образованного человека. Этот мастодонт, о существовании у которого бивней можно было догадываться, не испытывая особого желания познакомиться с ними поближе, был утонченным интеллигентом, который знал назубок своих любимых авторов, особенно

французских, и вдруг начинал напевать арию из “Прекрасной Елены” или преподносил вам пассаж из Мейляка и Галеви, словцо Лабиша либо каламбур любого из водевиллистов 1830—1870 годов. Этот русский заимствовал многое от французов.

Узнав о том, что я нахожусь в Лугано, он немедленно явился ко мне, протянул мне свою огромную руку, в которую я вложил свою не без некоторого опасения, и сказал мне: “Мы здесь единственные два иностранца, оба изгнанники. Мы будем братьями. Когда у вас будут деньги, вы дадите мне. Когда у меня будут, я дам вам”. Однако у Бакунина никогда не было денег, что, впрочем, мало его смущало и не мешало ему “много тратить”. <...> Это была не лень, не расчет, не эксплуатация и не желание разорить вас. Нисколько. Если бы у него были деньги, он бы вам дал их, не считая, с самым искренним чувством, но беда в том, что у него их не было, а он в них нуждался. <...>

Жизнь Бакунина в Лугано была очень регулярной. Он вставал около 8 часов, отправлялся на Театральную площадь и усаживался в кафе Террени. Здесь он прочитывал газеты, завтракал, принимал знакомых, писал письма. Около двух часов дня он уходил домой. В кафе он тратил на себя одного столько, сколько тратят вместе 20 тессинцев, отличающихся чисто итальянской трезвостью. <...> Не имея денег или имея их очень мало, Бакунин никогда не платил по счету. Он сумел внушить содержательнице кафе неограниченное доверие и даже занимал у нее деньги, так что в конце концов задолжал ей большую сумму. <...>

Выйдя из кафе, он заходил в кондитерскую напротив, где набивал свои карманы пирожками для «детिशек». В 2 часа он вторично садился за стол, в этот раз дома; затем в 4 часа он ложился, на его языке «ложился», то есть бросался в одежде и сапогах на тощий тюфячок, покрывавший поставленную на козлы доску. Он вставал между 8 и 9 часами и шел в гостиную, где Антония угощала чаем своих друзей. Здесь он вмешивался в разговор, раскрывал все чары своего ума и очаровывал слушателей в течение всего вечера своей разносторонней эрудицией тонкого знатока литературы, своими неожиданными замечаниями, самыми едкими выпадами против той или иной знаменитости; он говорил о своем пребывании во Франции во время революции 1848 года, еще полный того обольстительного впечатления, которое произвел на него Париж; он говорил также о Германии, которую хорошо знал и терпеть не мог; рассказывал о своем кругосветном путешествии после побега из Сибири, распро-

странаясь при этом об Японии, которая его поразила и которую он сильно хвалил. <...> Когда в 11 или 12 часов все расходились, Бакунин удалялся в свою комнату и работал всю остальную часть ночи; затем утром снова бросался на свою походную кровать на часок-другой...»

Не менее обширные мемуары оставила русская социалистка А. В. Вебер-Баулер (Гольштейн), приехавшая весной 1876 года из Петербурга в Лугано, не зная, что там поселился Бакунин. Поначалу тот принял любознательную девушку за подосланного агента царской охранки, но постепенно убедился, что ошибся. Гостью привел к знаменитому революционеру ее пожилой учитель итальянского языка И. Педерцолли, хорошо знакомый с самым знаменитым местным эмигрантом и называвший его «*величайшим русским*». Цепкий и внимательный взгляд зафиксировал множество таких деталей, которые наверняка ускользнули бы от других:

«Мы вошли в ворота и попали в отгороженное пространство, которое, верно, было когда-то садом. Теперь все было перерыто. Кое-где торчали деревья, в других местах виднелись гряды, всюду были кучи желто-бурой земли и ямы, налившиеся дождевой водой. Вдали какие-то люди копались в земле. Около них спиной к нам стоял гигант. Длинное пальто с пелериной падало прямыми складками почти до земли; из-под шляпы с широчайшими полями выбивались кудри седых волос. Что-то монументальное и гордое исходило от этой пышной фигуры, резко черневшей на рыжем фоне вырытой земли.

— Michel, я привел своего русского друга! — закричал Педерцолли.

Бакунин быстро обернулся, как-то засуетился, почему-то смешно распахнул пальто, точно собирался сделать реверанс (как потом выяснилось, таким образом он пытался скрыть от посторонних находившегося у него в это время гостя-незаконника. — В. Д.), отдал шепотом какое-то приказание рабочим, копавшим землю, и только потом пошел нам навстречу, шлепая калошами по вязкой грязи сада. Он был так высок, а я так мала, что могла видеть только его протянутую руку, большую и породистую, да низ толстой вязаной фуфайки сомнительной чистоты.

На громкий зов: «Антося!» из дому вышла сухенькая, гибкая женщина, совсем еще молодая. Она была одета как итальянские работницы: с головы, окутывая стан, спускалась черная вязаная шаль, из-под юбки виднелись тонкие ноги в «цоколях» (род деревянных сандалий на высоких каблуках), надетых на толстые черные чулки с белыми нос-

ками. То была Антония Ксаверьевна Бакунина. Она показала мне незначительной и некрасивой. Педерцолли представил меня ей чрезвычайно церемонно. Мы пошли к дому, обходя ямы, шагая по доскам, пробираясь в ущельях щепня и мусора.

По довольно темной лестнице мы вошли в большую узловую комнату, светлую, заставленную, но неудобную. В одном углу ее помещалась резная кровать, покрытая большим шерстяным платком вместо одеяла; у двери стоял длинный стол, на котором был подан чай, и на нем же лежала груда табаку, стояла чернильница на развернутой газете, валялись обломки игрушек, куски шоколада; другие столы и большая конторка тонули под бумагами, среди которых высовывались аптечные склянки. Полочка книг ютилась у стола. Книг было мало, зато всюду — на полу, на стульях, на кровати — разбросаны были газеты разных стран, форматов и политических оттенков. То была спальня, вместе с тем приемная, столовая и рабочий кабинет Михаила Александровича.

Бакунин с изысканной старческой простотой и приветливостью усадил меня легким прикосновением к плечу и сам, как мне показалось, с тихим стоном опустился на стул рядом со мной. Большая седая голова была теперь на моем уровне. Из-под высокого лба прямо мне в лицо глядели зеленые, черствые, злые глаза, глядели пристально. Мне стало жутко, и где-то глубоко шевельнулась неприязнь. (Напомню, что первоначально Бакунин принял незнакомую гостью за русскую шпионку, подосланную охранкой. — *В. Д.*)

<...> Пили чай, курили, курили много, говорили о саде, о доме, о том, как М[ихаил] А[лександрович] будет сеять огурцы и непременно укроп, какие он посадит деревья.

— Зачем у вас столько ям в саду? — спросила я.

— Ничего никогда не будет в этом саду, кроме ям, — подхватила на бойком и гладком, но несколько вульгарном французском языке Антония Ксаверьевна.

Французский язык Бакунина был прост и широк, как все в его личности; фразы выливались сразу в округленные законченные формы; легкий русский акцент придавал им особенную музыкальность.

— Ямы специально для лягушек, — сказал Бакунин. — До смерти люблю их кваканье. Удивительно музыкальное животное. Жили в русской деревне? Что может быть лучше русского летнего вечера, когда в прудах лягушки задают свой концерт?

Он опустил голову; злой огонек потух в глазах, печаль подернула лицо и тенью легла вокруг губ.

Педерцолли с пафосом рассказывал А[нтонио] [К]саверьевне о смерти одного их общего знакомого.

— Что ни говори, — закончил он, — смерть страшна для всех, даже нам, хотя, конечно, мы ада не боимся.

Бакунин точно восторженно вскрикнул.

— Смерть? Она мне улыбается, очень улыбается, — сказал он по-французски. — Знаете, у меня была сестра. Умирая, она сказала мне: “Ах, Мишель, как хорошо умирать! Так хорошо можно вытянуться”... Не правда ли, это самое лучшее, что можно сказать про смерть?

В этих словах было столько простого, искреннего желания отдыха и покоя. Они прозвучали диссонансом самодовольной пошлости Педерцолли и суете, которой веяло от Антонио Ксаверьевны. Бакунин мешал ложечкой чай и (от боли. — *В. Д.*) весь точно осел на локти, лежавшие на столе.

В моем представлении в ту минуту исчез великий революционер, неустанный борец, призывавший к разрушению. Передо мной очутился утомленный жизнью старик. Он мне казался таким одиноким, далеким от всего, что его окружало непосредственно. Его русские слова, сказанные именно мне, прозвучали как призыв издали близкого, всегда любимого друга. <...>

Этим первым моим свиданием с Бакуниным определились наши с ним дальнейшие отношения. Я не знала Бакунина в разгар его политической деятельности. Для меня он до своей смерти оставался просто человеком, больным, престарелым и подчас капризным другом, всегда страдавшим физически, но в котором еще жила сила ума, блеск трибуна, железная воля, помогавшая ему со смирением святого выносить лютейший недуг».

Мемуаристка, не имевшая в Лугано никаких знакомых, стала приходить к Бакунину почти ежедневно и оставаться зачастую до конца дня. Подозрения об ее «шпионстве» рассеялись сами собой, и она быстро сделалась своим человеком в семье, выполняя, по существу, функции секретаря Бакунина и до самой смерти оставаясь его доверенным лицом. Он как раз намеревался в очередной раз засесть за собственные мемуары, и безвозмездная помощь А. В. Вебер-Баулер оказалась как нельзя кстати. Можно даже сказать: ее сам Бог послал. Окружавшие его итальянцы для этого совсем не подходили, тем более что в соответствии с предварительной договоренностью свои воспоминания Бакунин должен был представить на французском языке. Из-за нерешенных бытовых неурядиц и ухудшения самочувствия до конкретной работы дело так и не дошло, договорились только о поряд-

ке: Бакунин наговаривает текст, секретарь записывает его, обрабатывает его у себя дома, утром приносит все уже переписанное набело, зачитывает автору, с его слов вносит необходимую правку, и только после этого они переходят к следующему фрагменту. По счастью, наблюдательная и литературно одаренная девушка сама оставила воспоминания о последних месяцах жизни «великого бунтаря», давая в своих «зарисовках», как правило, точные, обстоятельные и вполне объективные характеристики:

«Многие упрекали его в неблагоприятном отношении к деньгам, у меня же сложилось убеждение, что отношение его к денежным делам было легкомысленное, а не предосудительное. Не могу представить себе, чтобы он когда-либо вымогал деньги сознательно и притом лично для себя. Его потребности во время моего знакомства с ним были в буквальном смысле слова ничтожны, жизнь его была скудная до бедности, несмотря на владение виллой. Одет он был всегда в одно и то же весьма истасканное платье, ел едва достаточную пищу, даже постели у него удобной не было: на его узенькой железной кровати с трудом умещалось его громадное тело. Она была ему коротка, вся шаталась и скрипела при малейшем движении, а большой старый платок, служивший одеялом, покрывал его еле-еле. Единственной его роскошью были табак и чай. Курил он целый день, не переставая, и целую ночь с небольшими перерывами сна, когда боли давали спать. Чай пил, пока курил. Табак покупался чуть не пудами и лежал грудками на всех столах. То был какой-то особенный, совсем черный и крупной резки табак, из которого Бакунин крутил запасы необыкновенно толстых папирос. “Если буду при тебе умирать, — часто говаривал он, зажигая папиросу, — ты смотри не забудь сунуть мне в рот папироску, чтобы я перед самой смертью затянулся”».

Мемуаристка не разделяла идейных взглядов Бакунина, однако с первого дня знакомства попала под его обаяние. Точно такое же впечатление производили глубина, заразительность, тонкая диалектика и железная логика его речи на всех остальных. А. В. Вебер-Баулер попыталась небезуспешно и со стенографической точностью воспроизвести, как все происходило:

«<...> Я помню, как иногда в воскресный день в комнату Бакунина приходили двое, трое и больше рабочих. Сантандреа сидел недвижимо и, положив локти на стол, а свою голову римского патриция на скрещенные руки, смотрел большими черными экстатическими глазами прямо в рот

Бакунина. Маццоти, более экспансивный, живой и наивный, улыбался, поддакивал, качал головой и с грустью поглядывал на меня, жалея, очевидно, что я не понимаю великих слов, не могу разделить его восторга. А Бакунин, куря папироску за папироской, отпивал глотками чай из огромной чашки и говорил долго и много. Иногда кто-нибудь из других присутствовавших что-нибудь возражал, и тогда, перебивая друг друга или говоря зараз, Сантандреа и Маццоти принимались объяснять и убеждать, а Бакунин слушал, одобрительно кивал головой или вставлял несколько слов. Вначале я не понимала даже общего смысла разговора, но, глядя на лица собеседников, мне казалось, что около меня происходит нечто необыкновенно важное и торжественное. Атмосфера этих бесед охватывала меня, создавала во мне — я бы хотела сказать, за неимением другого выражения — молитвенное настроение. Крепла вера, стусевывались сомнения. Значение личности Бакунина определялось для меня, фигура его росла. Я понимала, что сила его заключается в умении завладевать душами людей. Для меня не подлежало сомнению, что все эти люди, слушавшие его, были готовы на все по одному его слову. Он владел ими. Я могла перенести эти впечатления в другую обстановку, менее интимную, представить себе толпу и понимала, что влияние будет такое же. Только настроение энтузиазма, тихого и внутреннего здесь, станет неизмеримо сильнее, атмосфера сделается грознее от взаимного заражения в толпе. <...>

Наблюдая отношение Михаила Александровича к простым людям, я все более удивлялась ему. Часто в длинных беседах вдвоем, излагая свои философские взгляды и как бы ретроспективно развивая свое мирозерцание, он говорил о гегельянизме и оспаривал его посылку за посылкой. Я только с большим усилием мысли могла следовать за ходом его логики. Тогда он удивлял меня яркостью своей оригинальной мысли, смелостью выводов. Когда же я видела, с какой легкостью он входил в умственное общение с людьми еле грамотными, с людьми другого класса, другой расы, — удивление мое еще усиливалось. Ведь, несмотря на упрощенность жизни и обстановки, Бакунин оставался настоящим русским барином с головы до ног, а между тем стоял с рабочими на равной ноге.

В отношениях коммунаров, живших в Лугано, к рабочим мне все чувствовалось или заискивание, или снисходительство. У Бакунина выходила органически, без малейшего усилия простая дружба. Он мог кричать на Филиппо или на

Андреа как на мальчишек, мог держать их под гипнозом своих идей и мог подолгу рассуждать с ними об их и своих ежедневных делах, выслушивать и сообщать партийные и городские сплетни, шутить, острить, хохотать их шуткам. Тогда меня это поражало, потому что противоречило моей теории, по которой выходило, что нельзя быть услышанным народом, не став в его ряды. Потом, думая об этом часто и много, я пришла к заключению, что именно его свойства настоящего русского барина и помогали ему в этих отношениях: в наших крепостных нравах на практике было много патриархально-демократического...»

Окружавшие Бакунина итальянские рабочие старались отплатить добром за добро. Доктор, по рассказу А. В. Вебер-Баулер, определил у Бакунина болезнь мочевого пузыря, и больному утром и вечером надо было делать какие-то втирания, прибирать его комнату, а иногда, когда у него бывали сильные боли, надо было помочь ему одеться и раздеться. «...Все это делали по очереди итальянские рабочие-анархисты, жившие тогда в Лугано, спасаясь от преследования властей на родине. Так велико было обаяние его удивительной личности до последнего часа его жизни, что в небольшой группе итальянских анархистов-изгнанников, простых сапожников, угольщиков и цирюльников Бакунин имел не только друзей, но и воистину обожавших его сыновей. Ежедневно сапожник Андреа Сантандреа после тяжелой дневной работы приходил на виллу укладывать Михаила Александровича в постель и, сделав все нужные манипуляции, сидел с ним до глубокой ночи. Утром приходил Филиппо Маццоти. Были и другие сидельцы-добровольцы, но Бакунин не любил их услуг: малейшая неловкость раздражала его, хотя раздражение свое он ничем не выражал, кроме глухого стона, а бедный доброволец при этом львином стоном терял последний признак уместности. Все эти люди, едва жившие на свои ничтожные гроши, не только не получали никакой платы от Бакунина, но часто на собственные деньги покупали для него какие-нибудь лакомства. И если бы Бакунин вздумал отказаться принять от кого-нибудь из них услуги или подарок, он причинил бы им величайшее горе и оскорбление. Я никогда не видела ни раньше, ни позже такой восторженной, бескорыстной преданности. То было любовное романтическое чувство учеников к учителю, чувство, где преданность идее сливается с преданностью личности, несущей идею. Так, вероятно, некогда складывались отношения между великими художниками и их учениками, между основателями религий и их ближайшими последователя-

ми». Автор воспоминаний о последних месяцах жизни Бакунина задается вопросом: в чем собственно состояли чары Бакунина? По ее мнению, точно этого определить невозможно, потому что самое верное определение будет не вполне ясная формула: *во всем его существе!*

Революция по-прежнему оставалась его главной и единственной любовью, несмотря на недавние глубокие разочарования и неверие в ее ближайшие перспективы. Менее чем за год до смерти он писал: «Оглядываясь на окружающие нас события и явления момента, в который мы живем, на подлость, мелкоту, трусость, бездушные характеры; на полное отсутствие честных стремлений (в большинстве), на тупость, эгоизм, на буржуазность и беспомощность пролетариата, на стадность, на самолюбишки [так!] и проч[ее], на весь современный склад нравственной личности, на социалистическую развращенность рабочего, испорченного болтовней и утратившего даже инстинкт, — я ничего не жду от современного поколения. Знаю только один способ, которым еще можно служить делу революции, — это срыванием масок с так называемых революционеров. Разве вы не знаете, что в революционной партии на 100 человек, наверно, 90 подлецов и негодяев, вредящих делу. Это между интеллигенцией, а в народе? Вот с каких пор я наблюдаю и вдумываюсь в народ, после Парижа, Лиона, после французской войны и Коммуны, везде вижу одно — лишь полное отсутствие человечности, одну лишь цивилизационную гангрену буржуазных стремлений. Исключения редки и даже, по-моему, необъяснимы. Что же делать? Ждать. Ждать, что, может быть, обстоятельства европейские сложатся круче, то есть совокупность экономических и политических условий. Индивидуальная же деятельность, организаторская, агитаторская не приблизит, не изменит ничего. Наш час не пришел...»

Самое теплое и нежное отношение у Бакунина было к детям, жившим с ним под одной крышей и носившим его фамилию. У Антоси их было уже трое: старший мальчик — Карлучио и две девочки — Софья и Мария. Первую он звал Бомбой, вторую — Маруськой и баловал больше остальных. Для детей у него всегда были припасены плитки шоколада, в саду он устраивал для них игры «в дикарей», разжигал большие костры и рассказывал увлекательные истории. Иногда Бакунин, опираясь на плечо своего секретаря, совершал прогулки в окрестностях виллы, называя себя Эдипом, а ее Антигоной. Передвигался с большим трудом, часто останавливаясь, пережидая боль...

Деньги (3 тысячи франков) на первый взнос за виллу Бакунин, как обычно, одолжил, остальные (еще 27 тысяч франков) рассчитывал получить за счет выделенной наконец-таки доли наследства. За деньгами в Россию и для оформления всех сделок поехала сестра Антонии Софья (Зося), вышедшая к тому времени замуж и носившая фамилию Лозовская. В ожидании ее возвращения Бакунин пребывал в приподнятом настроении, полный самых радужных надежд и воистину маниловских прожектов. Он решил воссоздать в швейцарском Лугано, насколько это возможно, родное Прямухино. На помощь и вообще хотя бы для временного воссоединения звал братьев и единственную оставшуюся в живых сестру Александру (самая близкая и любимая Татьяна скончалась в 1871 году — через пять лет после Варвары). 1 марта 1875 года он напомнил братьям из Лугано о «древней прямухинской дружбе»:

«<...> Может быть, один из Вас, а может быть, и все, один за другим или с другим решитесь сделать последнее путешествие к старому брату, перед его последним путешествием в гроб. Очень желал бы я встретиться хоть раз с Николаем и попробовать с ним последнее теоретическое и практическое взаимное объяснение. Может быть, мы и столковались бы. И тебя, милую сестру Сашу, горячо желаю видеть. — Ведь мы с тобою два последние могикана из самого первоначального прямухинского мира, начиная с той поры, как мы бегали вокруг висящих ламп и как я с Татьяною уходил на остров. Много, много воспоминаний возникло бы между нами при встрече, — неужели же мы никогда не встретимся? Да, я желаю видеть всех, всех с горячею братскою радостью обниму — приезжайте только. Теперь Вам будет это легко: в политическом отношении безопасно, так как я живу отныне вне всякой политики, а в финансовом также удобно: Вам будет стоить только дорога в Лугано и обратно, здесь же, в нашем доме, разумеется, не издержите ни копейки. А какие прогулки отсюда... Милан в двух шагах. Не только всех Вас, приглашаю незнакомых мне племянников и племянниц, сеux qui voudrons venir, serons les bienvenus. (Все, кто захочет приехать, будут желанными гостями. — В. Д.) Но главным образом Вы все приезжайте — Павел и Алексей, да и ты, Николай; Вы мне поможете советом в устройстве дома, а главное сада и огорода, — я хочу устроить здесь маленькое царство небесное, знаешь, и климат и почва, все удобно — будет масса фруктов, овощей и цветов, — воскресим память отца...»

Это — последнее из дошедших до нас писем, отправленных в Прямухино. Особенно трогает в нем память об отце и далеких-предалеких впечатлениях детства. Но суровая реальность, как это нередко случается, опрокинула все сладкие мечты о возрождении «прямухинского рая». Денег, выделенных братьями и вырученных от продажи недвижимости (в общей сложности 7 тысяч рублей), оказалось совершенно недостаточно для выплаты неотложных долгов и выкупа так полюбившегося Михаилу дома и сада. Над Бакуниным и его семьей в очередной раз нависла угроза полного разорения. Кредиторы сообща предъявили трехмесячный ультиматум. Заложить виллу не удалось, оставалось одно — отдать ее кредиторам в счет уплаты долга, а самому уехать из Лугано в Италию.

Однако въезд туда для Бакунина представлялся проблематичным: он числился среди зачинщиков неудавшегося Болонского восстания и в любой момент мог подвергнуться аресту. К счастью, итальянское министерство внутренних дел в то время возглавлял придерживавшийся «левых» взглядов Никотера, некогда лично знавший Бакунина. Он заверил старого революционера, что никакие преследования ему при переезде в Италию не угрожают. Для выбора и окончательного определения места жительства Антония Ксавьеревна выехала 13 июня 1876 года в Италию, а Михаил Александрович в сопровождении друга, рабочего Сантандреа — в Берн, чтобы проконсультироваться и подлечиться у своего давнего приятеля профессора А. Фохта. Чувствовал он себя все хуже и хуже, не спал по нескольку ночей кряду, днем дремал, положив туловище на стол.

По прибытии в Берн Бакунина прямо с вокзала отвезли в клинику, где его сразу же навестили давние и преданные друзья — супруги Рейхель, опекавшие Михаила еще со времени заключения в Кенигштейнской крепости. Это ведь он, друг Адольф, тогда, четверть века назад, на свои последние деньги покупал для Михаила фундаментальные математические трактаты, дабы хоть как-то скрасить жизнь русского узника. Жене Рейхеля, русской по происхождению, Бакунин шепнул на ухо: «Маша, я приехал сюда умирать». Он знал, о чем говорит, и понимал, что назад домой не вернется (собственно, и дома как такового уже не было). Однако на другой день больной попросился на квартиру к Рейхелям послушать музыку. Адольф, профессиональный музыкант, стал играть на фортепьяно заказанные Михаилом сонаты Бетховена. Бакунин слушал, прислонясь спиной к круглой железной печке (сидеть ему было затруднительно), но вскоре

почувствовал себя плохо и вынужден был вернуться в больницу — больше он оттуда не выходил.

Рейхели ежедневно навещали его в клинике. Мария Каспаровна варила Мишелю кашу (достать гречку в Швейцарии оказалось крайне затруднительно — пришлось обегать всю столицу). С Адольфом Михаил вспоминал прошлое, Дрезденское восстание, молодого Рихарда Вагнера — в то время демократа до мозга костей, а ныне аристократа духа и знаменитейшего композитора, новую музыку которого они понимали плохо. Зато о Бетховене — любимом композиторе обоих — могли говорить до бесконечности. Бакунин рассказывал, как в долгие годы тюремного заключения научился мысленно проигрывать его сонаты и симфонии (то, что мог вспомнить), а о Девятой симфонии с шиллеровской «Одой к радости» в финале сказал с афористической четкостью: «Всё пройдет, и мир погибнет, а Девятая симфония останется». (Нечто подобное он говорил и Рихарду Вагнеру при их первой встрече в Дрездене весной 1849 года.)

Сошлись старые друзья также и на Шопенгауэре, чья знаменитая книга «Мир как воля и представление» по-прежнему была вместе с Михаилом — лежала на прикроватном табурете. Но чаще всего умирающий вспоминал Прямухино, поименно называл сестер, ближе которых у него когда-то не было никого, и маленьких братьев, бегавших за старшим, как собачонки. Рассказывал о любимой книге их детства и отрочества — зачитанном до дыр «Швейцарском Робинзоне», его они долгими зимними вечерами, собравшись в гостиной, по очереди читали вслух. О политике не говорили совсем. Лишь однажды Бакунин попытался поточнее воспроизвести сказанные про него, как всегда, оригинальные герценовские слова: «Русский Дантон, которому не досталось революции...»

Тем временем всеразрушающая болезнь (точнее — совокупность таковых) быстро брала свое. Первыми отказали почки, началась уремия, постепенно угасало сознание. Последнее, что предстало перед его затухающим взором, — мудрое, доброе, но полное грусти и скептической укоризны лицо отца и одиннадцать лип в аллее прямухинского парка, посаженных в честь каждого родившегося на этой земле ребенка... Смерть наступила 1 июля 1876 года около полудня. По Берну среди многочисленной русской колонии быстро разнеслась скорбная весть. Но и швейцарцы, обычно равнодушные к чужим проблемам — особенно эмигрантским, говорили: «Сегодня великого Бакунина не стало». Тело перенесли в покойницкую, куда вскоре потянулись люди,

независимо от их политической ориентации, они несли цветы и венки. В прошлое уходила целая эпоха.

Одному из очевидцев мертвый Бакунин напомнил почерневший дуб, сраженный грозой. Другой писал: «Вот он, революционный гигант, перед которым трепетали повелители народов! Неумолимый агитатор, который до последних лет не мог жить, не борясь с шарлатанами власти на земле, с идолами власти на небе! Тот, одно присутствие которого на границе страны считалось опасностью! Он мало изменился. Отек лица сгладил морщины. Казалось, вот блеснет его взгляд; вот затрещит его пламенная речь! Но около глаз и рта была уже кровавая пена. Тот, кого не раздавили темницы Саксонии, Австрии, России, кто из Сибири вернулся через 15 лет все таким же неукротимым борцом, был, наконец, сломан болезнью в мирном Берне...»

Через день несколько десятков соратников (те, кто успел добраться до Берна за сутки) хоронили своего вождя. Лошади еле дотащили до кладбища невиданно большой гроб. Жена отсутствовала: ее с трудом разыскали в Италии, и на похороны она опоздала; когда увидела могилу, упала в обморок; дети остались в Лугано под присмотром сестры. Среди провожавших в последний путь великого **БОРЦА ЗА СВОБОДУ** было много представителей нескольких европейских стран, преимущественно рабочих-интернационалистов. Надгробные речи прозвучали на нескольких языках. Газета «Вперед», издававшаяся в Лондоне крупнейшим деятелем русского освободительного движения Петром Лавровичем Лавровым (1823—1900), откликнулась на смерть своего вообще-то идейного оппонента сочувственным некрологом:

«Михаил Александрович Бакунин записал свое имя в истории революционного периода слишком глубокими чертами, чтобы оно могло быть забыто или пройдено молчанием. Оценка его исторического значения принадлежит будущему. В настоящем его имя возбуждает еще слишком страстное отношение, чтобы допустить вполне верное суждение о его деятельности. Личность в высшей степени даровитая, имевшая чарующее действие на большинство лиц, с которыми он сближался, М. А. Бакунин играл всегда первую роль во всяком движении, в котором участвовал. Личность, в высшей степени увлекающаяся и увлекающая других, он слишком часто был окружен людьми, его недостойными и компрометировавшими его своею близостью. Он не раз менял свои программы и свое направление, пытался придать первым более ширины, последнему более целесообразности и каждый

раз предавался вполне той программе и тому направлению, которому принадлежал в данную минуту. <...> Он всегда готов был положить свою жизнь за дело, которому служил... Я не буду говорить об его деятельности в Интернационале за последние годы: она хорошо памятна и друзьям, и врагам его; позволю себе надеяться, что он и тут с обычной страстностью своей натуры неуклонно стремился к тому, что ему казалось лучшим. <...> Каково бы ни было различие во взглядах между нами, каковы бы ни были наши личные отношения, ни один русский социалист-революционер не может узнать о смерти Михаила Александровича без того, чтобы сказать, одна из самых крупных сил в рядах русского и всемирного рабочего социализма сошла со сцены в настоящую минуту.<...>

Если бы хотели известить все страны и местности, по которым Бакунин оставил след своей жизни, своего влияния, пришлось бы сзывать целый мир. Дрезден, Прага, Париж, Лион, Лондон, Стокгольм, Италия, Испания должны бы явиться на похороны того, кто вошел в их историю, не говоря уже о нашей родине, где столько друзей и врагов, столько хвалителей и порицателей было пробуждено к общественной жизни или вызвано к деятельности словом и делом, истинами и парадоксами этого всемирного агитатора.

В действительности успела собраться небольшая кучка, человек в 50. Тут были друзья, подавленные горем. Тут были люди, делившие с Бакуниным опасности в разное время, в разных местностях. Была и молодежь, для которой это был учитель. Были люди, не разделявшие его мнений, стоявшие в противном лагере. <...> Но в эту минуту... все это было неразлично. Была лишь одна группа людей, которая хоронила историческую силу, представителя полувекового революционного движения».

На бернском кладбище в Швейцарии и сегодня внимание посетителей привлекает простая, грубо обработанная гранитная стела, на ней выбиты всего два слова — *MICHEL BAKUNINE* и даты — 1814—1876. Здесь, вдали от родины, похоронен один из титанов мировой революции — великий русский бунтарь, изгнанник и скиталец, которому оказался тесен целый мир...

ЗАВЕТ БУДУЩЕМУ

(вместо эпилога)

...Костер догорал, и постепенно остывал чайник. Шалаш окутывали первые клубы тумана. Владимир Ильич закрыл синюю тетрадь и вместе с исписанными листками завернул в клеенку. Зиновьев облегченно вздохнул — он устал звать товарища к ужину. Впрочем, нехитрая еда — вареные яйца и печеная картошка — могла ждать сколько угодно.

— Вот ведь парадокс, Григорий, — Ленин набросил на плечи пальтецо (по вечерам здесь становилось не столько прохладно, сколько сыро), — анархисты с пеной у рта обвиняют нас в стремлении во что бы то ни стоило сохранить в будущем «государственную машину», а ведь по существу наши представления на сей счет мало чем отличаются от их собственных взглядов и кредо их вождя, нашего соотечественника Михаила Бакунина. Разве Маркс не провозглашал слом той же самой проклятушей «государственной машины»? Весь вопрос: когда, как скоро и до каких пределов ломать и разрушать государственные структуры?! Для нас сей сугубо теоретический вопрос очень скоро превратится в более чем практический. Революция-то не за горами...

Скрываясь в Разливе под Петроградом от рыскавших повсюду агентов Временного правительства, Ленин дописывал очередной труд, для которого уже подобрал название — «Государство и революция». Бакунин в нем поминался неоднократно, а проблема государства и его ближайшего и отдаленного будущего стояла на переднем плане. То, что государство — монстр, чье существование выгодно исключительно власти предержавшим, понимал еще великий философ XVII века Томас Гоббс, назвав его именем библейского чудовища — Левиафан. Но и без государства нельзя, особенно в эпоху смут и революций. Анархисты хотят отменить его немедленно — ничего не выйдет. Государство долго еще будет сдерживать стихию и направлять развитие общества по заранее спланированному пути, а потом постепенно отомрет само собой.

Сегодня Ленин написал: «Только в коммунистическом обществе, когда сопротивление капиталистов уже окончательно сломлено, когда капиталисты исчезли, когда нет классов (то есть нет различия между членами общества по их отношению к общественным средствам производства), — *только* тогда “исчезает государство и можно говорить о свободе”. Только тогда возможна и будет осуществлена демократия действительно полная, действительно без всяких изъятий. И только тогда демократия начнет *отмирать* в силу того простого обстоятельства, что, избавленные от капиталистического рабства, от бесчисленных ужасов, дикостей, нелепостей, гнусностей капиталистической эксплуатации, люди постепенно *привыкнут* к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях, правил общежития, к соблюдению их без насилия, без принуждения, без подчинения, *без особого аппарата* для принуждения, который называется государством».

Если бы Бакунин был еще жив, он бы тоже мог немедленно возразить: «Ничего не получится, Владимир Ильич! Даже если вам удастся преобразовать сознание людей, воспитать их по абстрактным канонам и заставить действовать по сомнительным шаблонам, — природа человека останется неизменной. На смену “обученному” поколению придет новое “необученное”, его вновь придется воспитывать с нуля. Но воспитатели уже будут другие — идеалы революции и интересы народа для них уйдут на задний план, если вовсе не исчезнут. Затем появится еще одно поколение, коему будут в высшей степени безразличны идеалы отцов и дедов. Далее последуют следующие поколение — сыновей и внуков. И так до тех пор, пока, как говаривал еще мой друг, покойный Герцен, социализм не превратится *в собственную противоположность*. Общественное бытие вовсе не автоматически определяет общественное сознание — в особенности индивидуальное. Создание нового общества представляется вам наподобие строительства многоэтажного дома: одно поколение возводит первый этаж, другое — второй, третье — следующий, и так далее. В действительности строить нужно не только воображаемый утопический дом, но и самих людей — *каждое поколение заново*. Иначе в итоге для отмирания государства время не наступит никогда. Ибо государство и его церберы по-прежнему будут востребованы для подавления инакомыслия и создания “одномерного человека”. Так не лучше ли сразу, раз и навсегда покончить с чудовищным Левиафаном и больше вообще не возвращаться к вопросу о его существовании».

Когда-то Бакунин написал: «Не существует ужаса, жестокости, святотатства, клятвопреступления, обмана, низкой сделки, цинического воровства, бесстыдного грабежа и грязной измены, которые бы не продолжали быть ежегодно совершаемыми представителями государств, без другого извинения, кроме эластичного, столь удобного и вместе с тем столь страшного слова: *государственный интерес*. Истинно ужасное слово! Оно развратило и обесчестило большее число лиц в официальных сферах и правящих классах общества, чем само Христианство. Как только это слово произнесено, все замолкает, все исчезает: добросовестность, честь, справедливость, право, само сострадание, и вместе с ним логика и здравый смысл; черное становится белым, а белое черным, отвратительное — человеческим, а самые подлые обманы, самые ужасные преступления становятся достойными поступками».

Знал ли Ленин эти пророческие слова? Вероятнее всего — нет! Но жизнь и суровая действительность лучше всяких теоретических споров подтвердили правоту «русского Дантона», не дожившего до настоящей революции у себя на родине. О самой же грядущей революции и ее возможных последствиях он также прозорливо предупреждал: «Кровавые революции иногда необходимы по причине людской глупости; но они всегда зло, громадное зло и большое несчастье, не только с точки зрения жертв, но также ввиду чистоты и совершенства той цели, во имя которой они совершаются».

В середине XX века французский экзистенциалист Альбер Камю высказал парадоксальную мысль; ее, однако, никто до сих пор не опроверг: в России Бакунин явился прямым предтечей Ленина и Сталина. Вот дословно этот нетривиальный пассаж из программного трактата «Бунтующий человек»: «Бакунин в той же мере, что и его противник Маркс, способствовал выработке ленинского учения. Кстати сказать, мечта о революционной славянской империи в том виде, в каком Бакунин изложил ее царю, была — вплоть до таких деталей, как границы — осуществлена Сталиным». К этому можно добавить, что большевистская линия, направленная на захват власти, мало чем отличалась от бакунинской революционной тактики.

Вообще же Бакунин давно осознал: с помощью одних лишь абстракций ничего и никогда не решишь. Жизнь всегда окажется гораздо богаче, непредсказуемой и не попадающей ни под одну из абстракций или же комбинацию таковых. Нужно не понятиями жонглировать, а исходить из конкретных потребностей живых людей, с учетом всех их достоинств и

недостатков. Хотя бы такой неискоренимой никогда и никем естественной человеческой потребности, как СВОБОДА, для ее подавления не в последнюю очередь и была придумана существующая и поныне «государственная машина».

Здесь Бакунин предсказывал совершенно точно: никакие благие пожелания не приведут к позитивным сдвигам в развитии государственного «механизма». Скоро сто лет, как в разных странах с переменным успехом пытаются осуществить различные модели социалистического преобразования общества. Но нигде и ни разу даже намек не появилось на «отмирание» государства, напротив, реализованные модели, как бы ни старались и чего бы ни говорили их творцы, более всего напоминали различные модификации приснопаятного «казарменного коммунизма». А бюрократическое жульё, порожденное государством-монстром, вместе с так называемыми работодателями по-прежнему жирует за счет нищего и бесправного народа, который убаюкивают сладкими и никогда не выполняемыми обещаниями различные политические фокусники.

В результате эксперимент с построением государственного социализма завершился тем, чем он только и мог завершиться: «бюрократическая машина» и ее уродливый придаток — колоссальный и исключительно непродуктивный идеологический, психологический, цензурный пресс, не говоря уж о прочих чисто репрессивных процедурах, — заржавели и перестали эффективно выполнять традиционные функции. Зато в геометрической прогрессии увеличивалась армия сначала советских, а затем и постсоветских чиновников, прокормить коих не способно ни одно нормальное государство. Они сами, как саранча, могут сожрать кого угодно. Новая административная, партийная, профсоюзная, научная, военная и прочая номенклатура — не что иное, как многоглавая гидра, умеющая приспособиться к каким угодно новым реалиям и оправдывать собственное существование правильными на первый взгляд лозунгами, за коими, однако, нет ничего, кроме обмана. Чинодралы любых мастей — непреодолимый тормоз на пути всякого развития, они душат хозяйственное процветание, останавливают движение вперед, превращают здоровый общественный организм в неизлечимо больной. Сначала они устраивают себе все новые и новые привилегии. Затем бюрократическая ржавчина разъедает «государственную машину» изнутри, приводит ее к параличу, но не к самоликвидации. На месте одного монстра рождается другой — еще более ужасный, ненасытный и бесперспективный.

А бакунинское разоблачение коррупции и блестящий анализ этого социального зла, присущего, как оказалось, любой формации! Выводы Бакунина остаются актуальными и по сей день! Они просты, как все гениальное: *пока существует государство, будет процветать и коррупция*. «Коррупция... — писал он, — возникла с появлением первого в истории политического государства, но именно в наши дни стала политическим институтом государства. Впрочем, никогда не было государства, которое в той или иной мере не прибегало бы к коррупции как к средству управления».

Конечно, Бакунин во многом перегибал палку. Он сумел поставить диагноз, но не смог предложить эффективного способа лечения, кроме одного — вивисекции умирающего организма. В его прогнозах немало пробелов и просчетов. Провозгласив курс на создание федерации свободных самоуправляющихся общин, которая после революции (желательно мировой!) должна прийти на смену отжившему свой век государству, — «отец анархии», похоже, даже не задумался, каким образом будет осуществляться управление объединением подобных «безвластных» ячеек хотя бы в масштабах отдельно взятой страны или содружества стран, освободившихся от гнета эксплуататоров, как наладится обратная связь между «безгосударственными» верховными и низовыми структурами управления, каким образом на огромной территории страны будет организовываться нормальная работа железных дорог, других видов транспорта, почты и прочих систем связи, как будет финансироваться крупномасштабная хозяйственная деятельность (зато деньги вообще предполагалось отменить или заменить прудоновскими «народными деньгами»), кто будет принимать конституцию, следить за ее осуществлением и совершенствовать законы, как будет функционировать армия — не отдельные отряды самообороны, а совокупность всех вооруженных сил, призванных защитить завоевания революции.

Мировая история в XIX и XX веках лишь отчасти пошла по Бакунину. И хотя государство нигде не было «отменено», тем не менее революции в Китае, Вьетнаме, Лаосе, Анголе, Мозамбике, на Кубе, поначалу носившие *партизанский характер*, соответствовали в большей степени сценариям, предложенным Бакуниным, нежели прогнозам Маркса. Однако реализованная в России и ряде стран Восточной Европы марксистская модель революции не смогла полностью подтвердить тезиса о *государственном социализме* и коммунизме как высших и закономерных этапах в *естественно-историческом процессе* развития общества. Напротив, это ка-

питализм лишний раз подтвердил свою «естественность», опирающуюся на частнособственнический инстинкт, почти автоматически возрождающийся в каждом новом поколении, как Феникс из пепла. В результате именно капитализм не только не сошел с беговой дорожки цивилизационного развития, но и обрел второе дыхание в бывших странах «победившего социализма».

А первое в мире социалистическое государство СССР — наследник тысячелетней Российской империи, просуществовав неполных 74 года, вопреки всем догмам «научного коммунизма», в одночасье рухнуло само собой, подобно карточному домику, и распалось на 15 самостоятельных государств на глазах изумленных теоретиков и практиков «социалистического строительства», а также властителей и простолюдинов, партийцев и беспартийных, ученых мужей и простецов. (Кстати, Бакунин такой вариант распада не только предвидел, но и желал.) Не нашлось силы, могущей воспрепятствовать этому трагическому, но, как оказалось, неизбежному концу. Запланированной к 80-м годам XX столетия *победы коммунизма*, торжественно провозглашенной в программе КПСС, так и не произошло. Вразумительных теоретических объяснений этому факту дано не было и практических выводов не сделано. Неудивительно, что партия, отказывающаяся отвечать по собственным обязательствам, быстро утратила доверие народа. Результаты общеизвестны... И все-таки иного пути для достижения всеобщего счастья, процветания и благоденствия нет и быть не может. Золотой век достигим, но только на гуманистической, эгалитарной и коллективистской основе! Не следует, однако, забывать и бакунинский завет, давно ставший крылатой фразой: «Свобода без социализма — это привилегия и несправедливость, а социализм без свободы — это рабство и животное состояние».

Колоссальная по своим масштабам и значимости фигура Бакунина сегодня, как и всегда, продолжает привлекать людей разных возрастов, независимо от их политической ориентации. Его идеи по-прежнему являются объектом пристального и равнодушного внимания не только социологов и политиков, но будоражат также воображение деятелей литературы и искусства. В начале XX века в русской поэзии (правда, ненадолго) сложилось целое направление — «*мистический анархизм*». Неспроста также, по-видимому, слова о *безвластии как идеале общественного устройства* Михаил Булгаков вложил в уста Иешуа (Иисуса) — одной из центральных фигур своего провидческого романа «Мастер и Маргарита»: «<...> Всякая власть является насилием над людьми,

<...> настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть». Так в чем же все-таки Бакунин оказался прав? Да мало ли в чем! Разве можно оспорить такие, к примеру, выводы-предупреждения:

Нельзя на месте одного командно-бюрократического монстра создавать другой.

Нельзя действительную социальную справедливость заменять ее суррогатами и пустой болтовней о постепенном ее достижении (к тому же в весьма отдаленном и по существу недостижимом будущем).

Так называемый «переходный период» (понятие это, кстати, было введено в широкий обиход Бакуниным) необходим, но он ни при каких условиях не может быть продолжительным и должен укладываться в неполную жизнь одного поколения, ибо для каждого из следующего за ним неизбежно будет свой «переходный период» и все придется начинать сначала.

Нужно все силы бросить на то, чтобы создать такие условия человеческого общежития, при которых у людей вообще никогда не возникало бы стремления к неблагоприятным деяниям, а реальные общественные отношения превратились бы в образец подлинной гармонии, взаимопомощи, товарищества и братства.

Необходимо понять, что *без широчайшей, полной и всесторонней свободы личности и общества подлинный социальный прогресс невозможен ни в настоящем, ни в будущем!*

И, наконец, последнее: куда бы ни забрасывала судьба «апостола абсолютной свободы», что бы он ни делал, о чем бы ни говорил, он всегда оставался сыном своего отечества. В самые мрачные и тяжелые времена своей жизни (впрочем, были ли в ней когда-нибудь времена не тяжелые?) русский изгой писал: «Невозможно создать себе новое отечество, и я не буду давать себе этого напрасного труда, тем более что, как я чувствую, чем дальше я отхожу от своего, тем сильнее я его люблю и тем глубже я убеждаюсь в том, что оно призвано сыграть великую роль на священном поприще демократии. В этом я твердо убежден, и только под этим условием я его люблю».

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. А. БАКУНИНА

- 1814, 18 мая — В усадьбе Прямухино Новоторжского уезда Тверской губернии в семье потомственного дворянина Александра Михайловича Бакунина и его жены Варвары Александровны Бакуниной (урожденной Муравьевой) родился сын Михаил.
- 1828 — Михаил Бакунин поступает в Михайловское артиллерийское училище в Петербурге.
- 1833—1835 — Служит в чине прапорщика в артиллерийской бригаде — сначала в Минской, затем в Гродненской губернии.
- 1835 — Выходит в отставку.
- 1836—1840 — Живет в Москве, регулярно навещая родных в Прямухино. Знакомится с Чаадаевым, дружит с Белинским, Герценом, Огаревым, Грановским, Боткиным, Станкевичем. В кружке последнего углубленно изучает немецкую философию.
- 1839, июль — ноябрь — Поездка в Петербург.
- 1840, 4 октября — Отправляется в Германию.
- 1840—1843 — Изучает философию в Берлинском университете. Знакомится с Шеллингом. Дружит с Иваном Тургеневым — вольнослушателем того же университета. Сближается с младогегельянцами.
- 1842, октябрь — Публикует статью «О реакции в Германии» — первый «анархический манифест» — под псевдонимом Жюль Элизар.
- 1843, январь — Переезжает в Швейцарию, в Цюрих. Сближается с Вейтлингом, Гервегом, другими деятелями социалистического движения, участвует в коммунистической пропаганде.
- 1844, февраль — Царское правительство в категорической форме требует возвращения Бакунина в Россию. Он отказывается подчиниться ультиматуму.
Декабрь — Палата уголовного суда, а затем и Правительствующий сенат лишают Бакунина чина и дворянства и объясняют, что в случае появления в России он должен быть этапирован в Сибирь на вечное поселение.
- 1844—1847 — Бакунин переезжает в Париж, знакомится с Жорж Санд, сближается с Прудоном, общается с Карлом Марксом.
- 1847, 18 ноября — Выступает на митинге в годовщину польского восстания 1831 года с речью, содержащей резкую критику царского правительства и призывающей к общеславянской революции.
Декабрь — По требованию русского посла Бакунин высылается из Парижа и переезжает в Брюссель.
- 1848, февраль — Победа буржуазно-демократической революции во Франции и ее дальнейшее распространение в других европейских странах. Бакунин возвращается в Париж для участия в революционных событиях.
Март — Уезжает в Германию с целью революционной пропаганды и организации восстания славянских народов, находящихся под властью монархических режимов Австро-Венгрии и Германии. Пишет серию статей, писем и прокламаций, призывающих к общеславянскому единству и славянской революции.
Июнь — Участвует в славянском съезде в Праге и становится одним из руководителей вспыхнувшего там восстания.
Июль — Редактируемая К. Марксом «Новая Рейнская газета», ссылаясь на Жорд Санд, обвиняет Бакунина в том, что он явля-

- ется агентом царского правительства; газета публикует опровержение и приносит официальные извинения после вмешательства Жорж Санд.
- 1849, *февраль* — Продолжается травля Бакунина в «Новой Рейнской газете» за его панславистские убеждения (программная статья Ф. Энгельса «Демократический панславизм»).
- Май* — Бакунин участвует в Дрезденском восстании в качестве одного из его руководителей. Дружит с Рихардом Вагнером. После разгрома инсургентов Бакунина заключают в тюрьму.
- Июль* — Бакунина переводят в саксонскую крепость Кенигштейн.
- 1850, *14 января* — Саксонский суд первой инстанции приговаривает Бакунина к расстрелу.
- 6 апреля* — Утверждение приговора высшим апелляционным судом Саксонии. Бакунин отказывается подписать прошение о помиловании.
- 12 июня* — Король Саксонии заменяет Бакунину смертную казнь на пожизненное заключение.
- 13—14 июня* — Бакунина выдают австрийским властям и заключают в тюрьму в Праге.
- 1851, *март* — Бакунина переводят в крепость Ольмюц (современный чешский город Оломоуц), где содержат на цепи прикованным к стене.
- 15 мая* — Австрийский суд приговаривает Бакунина к смертной казни через повешение.
- 17 мая* — Бакунина передают российским властям. Его доставляют в Петербург и заключают в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости.
- Июль-август* — По предложению царя Николая I Бакунин пишет «Исповедь».
- 1854, *март* — Бакунина переводят в одиночную камеру Шлиссельбургской крепости.
- 1857, *февраль* — Царь Александр II заменяет Бакунину пожизненное заключение вечной ссылкой в Сибирь.
- 1857—1859 — Бакунин живет в Томске. Сближается с генерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым-Амурским — дальним своим родственником по материнской линии.
- 1858, *5 октября* — Женится на Антонии Ксаверьевне Квятковской.
- 1859, *весна* — Переезжает в Иркутск. Работает в губернской канцелярии и частных компаниях. Возобновляет нелегальную переписку с Герценом.
- 1861, *июнь* — Совершает побег из сибирской ссылки.
- Декабрь* — Приезжает в Лондон.
- 1862—1863 — Участвует вместе с Герценом и Огаревым в революционной пропаганде.
- 1863, *февраль — октябрь* — В Швеции налаживает связи с революционными организациями России и Польши.
- Март* — Участвует в неудачной морской экспедиции, пытавшейся оказать помощь польскому восстанию.
- 1864, *январь* — Переезжает вместе с женой на жительство в Италию.
- 1864—1865 — Живет во Флоренции. Сближается с итальянскими масонами и Гарибальди. Создает тайное революционное общество «Интернациональное братство». Знакомится с художником Николаем Ге.
- 1865—1867 — Живет в Неаполе.
- 1867 — Живет в Женеве. Участвует в организации пацифистской Лиги

- мира и свободы. Выступает с речью на ее 1-м конгрессе (10 сентября). Вновь сближается с Карлом Марксом.
- 1868, июль — Вступает в Женевскую секцию Первого интернационала. Октябрь — Организует «Альянс социалистической демократии». Развертывает борьбу с Карлом Марксом за лидерство в Интернационале.
- 1869, март — Знакомится с Сергеем Нечаевым и ведет совместно с ним пропагандистскую деятельность. Сентябрь — Выступает на Базельском конгрессе Интернационала. Октябрь — Переезжает с семьей из Женевы в Локарно.
- 1870, июнь-июль — Бакунин разрывает отношения с Нечаевым. Сентябрь — Участвует в Лионском восстании.
- 1872, сентябрь — Бакунин исключен из Интернационала решением Гаагского конгресса. Он создает Анархический интернационал под тем же названием — «Международное товарищество рабочих».
- 1872—1873 — Активизация анархического движения в Европе и Америке. Тотальная борьба К. Маркса и Ф. Энгельса с идеологией и практикой бакунизма.
- 1873, август — 1874, июль — Бакунин живет на вилле «Бароната».
- 1874, август — Участвует в Болонском восстании.
- 1874—1876 — Живет на вилле в Лугано.
- 1876, июнь — Обострение болезни вынуждает его поехать в Берн для лечения.
- 1 июля — Бакунин умер в больнице для бедных.

БИБЛИОГРАФИЯ

Агамалян Л. История России в изложении А. М. Бакунина // Новый журнал. 1997. № 2.

Амфитеатров А. В. Бакунин М. А. // Святые отцы революции. Вып. 1. СПб., 1906.

Анненков П. В. Замечательное десятилетие // Литературные воспоминания. М., 1960.

Бакунин А. М. Собрание стихотворений. Тверь, 2001.

Бакунин А. М. Анархия и Порядок. М., 2000.

Он же. Избранные сочинения. Т. 1—5. Пг.; М., 1919—1921.

Он же. Избранные философские сочинения и письма. М., 1987.

Он же. Коррупция. — О Макиавелли. — Развитие государственности // Вопросы философии. 1990. № 12.

Он же. Мои личные отношения с Марксом // Материалы для биографии М. Бакунина. Т. 3. М.; Л., 1933.

Он же. Незданные материалы и статьи. М., 1926.

Он же. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906.

Он же. Письмо Н. И. Тургеневу 31/19 декабря 1861 г. // Встречи с прошлым. М., 1976.

Он же. Собрание сочинений и писем. Т. 1—4. М., 1934—1935. (Издание не завершено. Планировалось 12 томов.)

Он же. Философия. Социология. Политика. («Из истории отечественной философской мысли») М., 1989.

Бакунинский сборник. Вып. 1. Тверь, 2004.

Баулер А. В. М. А. Бакунин накануне смерти // Былое. 1907. № 7.

Блок А. А. Михаил Александрович Бакунин // Собр. соч. В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962.

Борисенок Ю. А. Михаил Бакунин и «польская интрига»: 1840-е годы. М., 2001.

Борисенок Н. А., Олейников Д. И. Михаил Александрович Бакунин // Вопросы истории. 1994. № 3.

В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977.

Вагнер Р. Моя жизнь. М., 2003.

Восемнадцать писем М. А. Бакунина // Былое. 1906. № 7.

Вырубов Г. Н. Революционные воспоминания // Вестник Европы. 1913. № 1—2.

Герцен А. И. Былое и думы // Собр. соч. В 30 т. Т. IX—XI. М., 1956—1957.

Он же. К старому товарищу // Собр. соч. В 30 т. Т. XX. Кн. 2. М., 1960.

Он же. М. А. Бакунин // Собр. соч. В 30 т. Т. XVI. М., 1960.

Он же. Михаил Бакунин // Собр. соч. В 30 т. Т. VII. М., 1956.

Он же. О социализме: Избранное. М., 1974.

Герцен и его письма «К старому товарищу» // Литературное наследство. Т. 61. М., 1953.

Гильом Дж. Интернационал. Т. 1—2. Пг.; М., 1922.

Он же. К истории исключения Бакунина из Интернационала // Минувшие годы. 1908. № 4.

Он же. Михаил Александрович Бакунин (биографический очерк) // Былое. 1906. № 8.

Горев Б. И. Михаил Александрович Бакунин. М.; Л., 1927.

Графский В. Г. Бакунин. («Из истории политической и правовой мысли».) М., 1985.

Гуль Р. Б. Бакунин. Нью-Йорк, 1974.

Должигов В. А. М. А. Бакунин в национально-региональном политическом процессе эпохи «оттепели» (рубеж 1850—1860 гг.). Барнаул, 2000.

Он же. Михаил Александрович Бакунин и Сибирь. Новосибирск, 1993.

Драгоманов М. П. Михаил Александрович Бакунин. Казань, 1906.

Дюкло Ж. Бакунин и Маркс: Тень и свет. М., 1975.

Житомирская С. В., Пирумова Н. М. Огарев, Бакунин и Н. А. Герцен-дочь в «нечаевской истории» (1870) // Литературное наследство. Т. 96. М., 1985.

Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1—2. М., 1991.

Казаринов С. А. Побег Бакунина из Сибири // Исторический вестник. 1907. Т. 110.

Карелин А. А. Жизнь и деятельность Михаила Бакунина. М., 1919.

Он же. Так говорил Бакунин. Буэнос-Айрес, 1921.

Каренин В. Герцен, Бакунин и Жорж Санд // Русская мысль. 1910. № 3.

Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. М., 1915.

Он же. Годы странствий Михаила Бакунина. Л.; М., 1925.

Кропоткин П. А. Анархия. М., 2002.

Он же. Анархия, ее философия и идеал. М., 2004.

Он же. Записки революционера. М., 1988.

Он же. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. («Из истории отечественной философской мысли».) М., 1990.

Кубалов Б. Г. Страницы из жизни М. А. Бакунина и его семьи в Сибири. Иркутск, 1923.

Мечников Л. И. М. А. Бакунин в Италии в 1864 г. // Исторический вестник. 1897. № 3.

Ленин В. И. Государство и революция // Полное собрание сочинений. Т. 33. М., 1969.

Лурье С. Я. Предтечи анархизма в древнем мире. М., 1926.

Лурье Ф. М. Нечаев. («Жизнь замечательных людей».) М., 2001.

Малинин И. Комплекс Эдипа и судьба Михаила Бакунина. Белград, 1934.

Мапельман В. М. Опыт прочтения работы М. А. Бакунина «Государственность и анархия». М., 1991.

Маркс К. Конспект книги Бакунина «Государственность и анархия» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 18. М., 1961.

Маркс К., Энгельс Ф. Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 18. М., 1961.

Материалы для биографии М. Бакунина. Т. 1—3. М.; Пг.; Л., 1923—1933.

Махно Н. И. Азбука анархиста. М., 2005.

Меринг Ф. Карл Маркс: История его жизни. М., 1957.

Мечников Л. И. Бакунин в Италии в 1864 г. // Исторический вестник. 1897. № 3.

Михаил Бакунин. 1876—1926. Неизданные материалы и статьи. М., 1926.

Модестов В. И. Заграничные воспоминания // Исторический вестник. 1883. Т. 12.

Неизвестная статья Бакунина о России // Былое. 1924. № 27—28.

- Неттлау М.* Жизнь и деятельность Бакунина. Пг.; М., 1922.
Он же. Очерки по истории анархических идей. Детройт, 1951.
Николаевский Б. Бакунин эпохи его первой эмиграции в воспоминаниях немцев-современников // Каторга и ссылка. 1930. № 8—9.
Новые письма М. А. Бакунина // Былое. 1925. № 3.
Олейников Д. И. Александр Бакунин и его поэма «Осуга» // Наше наследие. 1994. № 29—30.
Памяти М. А. Бакунина. М., 2000.
Пирумова Н. М. Бакунин. («Жизнь замечательных людей».) М., 1970.
Она же. М. Бакунин или С. Нечаев? // Прометей. 1968. № 5.
Она же. Социальная доктрина М. А. Бакунина. М., 1990.
Письма жены М. А. Бакунина // Каторга и ссылка. 1932. № 3.
Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906.
Письма М. А. Бакунина к графине Е. В. Салиас // Летописи марксизма. 1927. № 3.
Письмо Бакунина к Чельсо Черретти // Наша страна. 1907. № 1.
Полонский В. Михаил Александрович Бакунин: Жизнь, деятельность, мышление. Т. 1. М.; Л., 1925.
Прудон П. Ж. Что такое собственность? М., 1998.
Прямухинские чтения. 2001—2003. Прямухино, 2004.
Ралли-Арборе З. К. Бакунин // Минувшие годы. 1908. № 10.
Он же. Из моих воспоминаний о Бакунине // О минувшем. М., 1909.
Рябов П. В. Человек бунтующий — философия бунта у Михаила Бакунина и Альбера Камю // Возрождение России: проблема ценностей в диалоге культур. Материалы 2-й Всероссийской научной конференции. Ч.1. Нижний Новгород, 1994. С. 74—76.
Сажин М. П. (Арман Росс). Воспоминания: 1860—1880. М., 1925.
Сорокин Е. А. Прямухинские романы. М., 1988.
Спор о Бакунине и Достоевском. (Статьи *Л. П. Гроссмана* и *Вяч. Полонского*.) Л., 1926.
Станкевич Н. В. Избранное. М., 1982.
Стеклов Ю. М. Бакунин в Лиге мира и свободы // Звезда. 1926. № 3, 4.
Он же. Михаил Александрович Бакунин: Его жизнь и деятельность. Т. 1—4. М.; Л., 1926—1927.
Сысоев В. И. Бакунины. Тверь, 2001.
Утопический социализм в России. (Хрестоматия.) М., 1985.
Федин К. А. Бакунин в Дрездене // Собр. соч. В 10 т. Т. 2. М., 1970.
Фостер У. История трех Интернационалов. М., 1959.
Эльцбахер П. Сущность анархизма. Минск; М., 2001.
Энгельс Ф. Бакунисты за работой // *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. 2-е изд. Т. 18. М., 1961.
Ямамото К. Политическая философия Бакунина. М., 2001.
Archives Bakounine. International instituut voor sociale geschiedenis. Amsterdam, I, II, III, IV. Leiden, 1961—1968. (Имеется электронная версия, выпущенная на четырех компакт-дисках.)

Автор и издательство выражают искреннюю признательность Владимиру Ивановичу Сысоеву за разрешение использовать иллюстрации из его книги «Бакунины» (Тверь, 2001). На первой странице переплета портрет М. А. Бакунина, написанный Николаем Ге.

СОДЕРЖАНИЕ

Титан (<i>вместо пролога</i>)	5
<i>Глава 1.</i> ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО	8
<i>Глава 2.</i> КОГОРТА ЛЮБОМУДРОВ	32
<i>Глава 3.</i> ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ	78
<i>Глава 4.</i> ОБЩЕСЛАВЯНСКАЯ ИДЕЯ	116
<i>Глава 5.</i> РУССКИЙ ЗИГФРИД	133
<i>Глава 6.</i> УЗНИК ЕВРОПЕЙСКИХ МОНАРХОВ	143
<i>Глава 7.</i> СИБИРСКИЙ ПРОМЕТЕЙ	167
<i>Глава 8.</i> АПОСТОЛ СВОБОДЫ	185
<i>Глава 9.</i> «ВСТАВАЙ, ПРОКЛЯТЫМ ЗАКЛЕЙМЕННЫЙ...» ..	233
<i>Глава 10.</i> ШИВА-РАЗРУШИТЕЛЬ	277
<i>Глава 11.</i> АГОНИЯ ТИТАНА	311
Завет будущему (<i>вместо эпилога</i>)	336
Основные даты жизни и деятельности М. А. Бакунина	343
Библиография	346